КОНТИНЕНТ

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ
74

Человек все более перестает быть для себя самого объектом по мере того, как сферой его интересов становится личность (своя или чужая). Религия знает это изначально в терминологии нераздельности и нераздельности Божественной и человеческой реальностей. Бога нельзя искать только как объект!

Игумен Вениамин

И все-таки хорошо было бы преодолеть традицию и приблизить русского читателя не только к русской же "Псалтири", но и к древнееврейским теһилим. Тогда, независимо от того, наделен ли он даром веры или нет, он лучше, совершеннее, полнее осознает и прочувствует, что значат слова псалмопевца.

Шимон Маркиш

Все по правде, государи мои, все по правде —
Нижеследующее, современнички, имело место.
Заверяю, что чего-нибудь да ради
Я не выбрала в данном случае темпа presto.

Марина Кудимова

Знакомство с древнерусским городом начинается обычно в тот момент, когда подъезжаешь к нему издалека. Каждый старый город открывается своеобразным пейзажем-вступлением, отражающим в себе, как в зеркале, основные элементы архитектурного облика этого города.

Савелий Ямщиков

Очнулся я в каком-то грязном клубящемся облаке, со свистом рассекающем окружающее материальное пространство, режущем глаза сухой пылью, душащем рот, уши, нос. Я немедленно вступил в схватку со стихией, и вскоре моя борьба увенчалась успехом.

Евгений Попов

Главный редактор: Игорь Виноградов
Зам. главного редактора: Игорь Тарасевич
Ответственный секретарь: Сергей Юров
Зав. редакцией: Вячеслав Лютый
Зав. отделом распространения: Эля Басманова

Редакционная коллегия:
Василий Аксенов • Виктор Астафьев • Ценко Барев •
Николас Бетелл • Александр Блок • Иосиф Бродский •
Владимир Буковский • Армандо Вальядарес •
Галина Вишневская • Георгий Владимов •
Ежи Гедройц • Густав Герлинг-Грудзинский •
Пауль Гома • Милован Джилас • Пьер Дэкс •
Эжен Ионеско • Фазиль Искандер • Оливье Клеман •
Роберт Конквест • Наум Коржавин • Эдуард Кузнецов •
Николаус Лобковиц • Эдуард Лозанский •
Эрнст Неизвестный • Амос Оз • Булат Окуджава •
Ярослав Пеленский • Норман Подгорец • Андрей Седых •
Виктор Спарре • Витторио Страда • Юзеф Чапский •
Карл-Густав Штрем • Юлиу Эдлис •

Корреспонденты «Континента»

Италия
Сергей Рапетти
Sergio Rapetti
via C. Hajech 10
20129, Milano, Italia

США
Эдуард Лозанский
Edward D. Lozansky
3001 Veazey Terrace, N. W.
Washington, D. C. 20008 USA

Япония
Госуке Утимура
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10–7
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.
Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.
При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент» обязательна.

Название журнала «Континент» – © В. Е. Максимова

КОНТИНЕНТ

Литературный, публицистический
и религиозный журнал

Выходит четыре раза в год

МОСКВА – ПАРИЖ

74

Издательство «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

КОНТИНЕНТ – CONTINENT

Совместное издание

Редакции журнала «Континент»,
Ассоциации друзей журнала «Континент»
(Париж, Президент Ассоциации и основатель-учредитель журнала «Континент» ВЛАДИМИР МАКСИМОВ),
Издательства «Московский рабочий»

СОДЕРЖАНИЕ

Марина Кудимова
Забор. Эпистолярная быль 7

Евгений Попов
А что все это значит? Происшествия последних лет 26

Владимир Салимон
Восемь стихотворений 68

Руслан Киреев
Из поздней прозы 74

Литературный дебют
Наталья Ванханен
Во тьму синь-морей. Стихотворения 104

РОССИЯ

Дмитрий Орешкин
География духа и пространство России 108

Юрий Каграманов
Экономика ± Икономия *127*

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Иван Беллюстин
Русь православная
Публикация Е. Буртиной 141

Письма Варлама Шаламова
Публикация Б. Лесняка 159

РЕЛИГИЯ

Христос Яннарас
Вера Церкви. Главы из книги «Азбука веры».
Перевод с новогреческого Галины Вдовиной 180

Церковь: образ существования, побеждающий смерть.
Выступление в Марселе 15 марта 1992 года *194*

Игумен Вениамин (Новик)
По образу и подобию 202

Георгий Федотов
Древо на камне.
Послесловие А. Кырлежева 218

ГНОЗИС

Андрей Зубов
Воскресение или развоплощение? 238

Шимон Маркиш
«Господь – сила моя и песнь...» 255

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Елена Степанян
Понятный смысл правдивых разговоров 268

З. Миркина, Г. Померанц
Выход в пространство свободы 283

ИСКУССТВО

Савелий Ямщиков
Записки художника-реставратора 312

ПИСЬМА В «КОНТИНЕНТ» 339

РАЗНОЕ

«Континент» в 1993 году 346

От редакции 349

ЗАБОР

Эпистолярная быль

Все по правде, государи мои, по правде –
Нижеследующее, современнички, имело место.
Заверяю, что чего-нибудь да ради
Я не выбрала в данном случае темпа presto.

Дело было о прошлом годе...
Я заметить не премину, однако,
Что владельцу собаки юдоль подходит,
Если есть в ней, где погулять с собакой.
Раным-рано взнимешься при погоде всякой,
Выполняя постановление горсовета
(О! Тогда у меня была собака,
А теперь у меня собаки нету),
Кобеля затолкаешь в намордник
И волочишь, плотоядного такого,
Со двора, где бдит неусыпно дворник,
По вотчине участкового Гуськова.
Так и шествуешь, бывало, парадом,
С животиной впритирочку неразлучно,
Чтобы он, стервец, под красочным транспарантом
Не отправил надобности насущной.

Марина КУДИМОВА – родилась в Тамбове. Окончила Тамбовский педагогический институт. Автор книг стихов «Перечень причин» (1982), «Чуть что» (1988), «Стихотворения» (1988), «Арысь-поле» (1989), «Область» (1989).

Проживаю я, должна вам признаться,
Недалече от закрытого учрежденья,
Где изволят «элементы» содержаться,
С УК вступившие в расхожденье.
И забор его обстал чрезвычайный,
А поверху проволока под током,
Гарантирующая от инцидентов случайных
Мирных граждан тройным блоком.
Прилегает к забору кирпичный корпус,
Составляющий рабочую зону,
И патруль, под винтовкой не горбясь,
Взад-вперед дефилирует по оной.
Здесь отцы-отрядные в две смены
Обращают этих окаянных,
Разъясняя им высокую цену
Беспристрастности законов гуманных.

Мы сюда запохаживали часто
Со своей закадычною псиной.
Почивал близлежащий сектор частный,
А нам там хорошо, где пустынно.
Псина рыскать уважала под забором,
И валяться по травушке летней,
И вынюхивать по зазорам
Занимательные сведенья и сплетни.

«Элементы» вылезали на крышу –
Каким образом, кто их знает:
Бог один все видит и слышит,
А патруль – от тоже разный бывает.
Как обезголосевшие муэдзины,
Они ежились в х/б грязноватом
И тянули немотства резину,
не грозя неверным газаватом.
А начальники манкированье возбраняли,
Хоть и сами, «сачкам» на утеху,
Кирпичей в стене штук шесть разобрали
С целью озонирования цеха.
Вечно в дырке кто-нибудь маячил
Безволосою головою

(Между прочим, никак не иначе,
На плечах у кореша стоя).
Слов нет, с крыши оно способней
Созерцание воли окрестной,
По которой фрайер полусонный
Совершает маршрут неизвестный.
Препирание же с фрайерами
Не входило у «элементов» в обычай.
Поглодают молчком глазами –
Разве спросят когда, как собаку кличут.
А однажды неприятность вышла:
Размундиренный, в наколках по горло,
«Элемент» онанировал на крыше –
Видно, крепко сердешному подперло.
А другим разом пожилой, фиксатый
(Ну, уж так полагается, чтоб фиксатый)
Неуверенно крикнул мне: – Эй, касатка!
Письма бросишь в ящик? Ты слышь, касатка? –
Я кивнула, и он мне чего-то кинул
(А тогда стояло дождливое лето),
Ну а пес из лужи сверточек вынул,
Надорвав зубами газету.
Сверток был замотан изолентой
И для весу листочками стали стиснут...
Письма пишут преступные «элементы»
И желают, чтоб они доходили, письма.
Цензор, что ли, попался придира?..
И, споспешествуя нарушению режима,
Пса я шматом колбасы наградила,
Письма я в карман положила.
...Во лбу ящика щель зияла.
Я гляделась в буквы фамилий русских,
Адреса населенных пунктов читала
На конвертах, от слюны заскорузлых.
А одно письмо было наго
(Не случилось конверта, наверно),
И к нему была приложена бумага
С просьбою о покупке конверта.
Я в листок, ища адрес, заглянула –
Уж какие тут могут быть обиды –
И прочла: «Дорогая Нюра!
Береги детей, покуда я выйду.

Возраста учитывая молодого
И ндравность твоей натуры,
Если ты найдешь кого другого,
Я тебя убью, дорогая Нюра.
Обещаю тебе бросить пьянку
И трудиться в совхозе исправно...»
И приписка: «Деревня Дегтянка,
Протопоповой Анны Николавны».
Видно, двинул под пьяную руку Нюру,
Чтобы зенками зря не водила,
А она его, не будь дурой,
В одночасье взяла да посадила...

Как обычно, шла я с собакой в паре,
Наблюдая облако кучевое,
А на крыше сидел на корточках парень.
Он спросил меня: – Как там дела, на воле? –
Хорошо спросил меня, контактно,
Вроде нет между нами дистанций.
И в ответ абсолютно бестактно
Я сморозила: – Слезай, пошли на танцы! –
Улыбнулся на эту глупость парень:
– Погоди, – говорит, – когда-нибудь спляшем!
Оборвем, – говорит, – подметки и сварим
И скушаем вместе с кашей. –
А ко мне бежал прапорщик щекастый
Челноком, наподобье гончей,
И орал на бегу: – Ты кончишь тут шастать,
Или я кобеля твоего кончу! –
Парень дал, пригибаясь, драла,
Обозвав его легавым – не гончим.
– Да ошейник в траве потеряла, –
Соврала я как бы между прочим.
Мы с собакой на прапорщика не озлились –
Знать, работа у него не сахар –
И благоразумно удалились
Безо всякого, надо сказать, страха.
Я успела услышать, как азартно
Голос с крыши звучал мне в спину:
– Приходи сюда обратно завтра,

Поняла? Я письмо тебе скину! –
Мать-старушку я вообразила
И ее неутешное горе,
Поистратившее последние силы...

Но в письме было совсем другое.
Было там: «Дорогая незнакомка!
Если ты, конечно, захочешь,
То послание мое можешь скомкать
И порвать на мелкие клочья.
Только знай, что я такого шанса
Дожидался довольно долго
И с судьбой-индейкой якшался
В этом смысле без особого толка.
С ней по-крупному играл и проигрался,
И теперь вот доедаю свой пуд соли.
Увидал тебя и думаю: «Дождался!
Это мне вроде знак с воли».
Объясню тебе, кто я и что я
И зачем я здесь и о прочем,
Если это, конечно, стоит,
Если ты, конечно, захочешь.
Ни на что не надеюсь и не зарюсь,
Только буду ждать, как соловей лета.
Только ты проставь обратный адрес,
А иначе мне не отдадут ответа».

Я пришла в неописуемое раздраженье
И, согласно версии нахала,
Суетливым брезгливым движеньем
Эпистолу в мусор запихала,
Рассудивши, что впрок припасено
Шукшину и без меня эпигонов.
Я ж не баба, что купила поросенка
За лишними хлопотами в погоне.
Но, поскольку мы люди, пока живы,
Нас зануда совесть тревожит,
И нет-нет писательскую жилу
Человеческая и переможет.
А тогда уж словоблудие не мило...

Я эпистолу из мусора достала,
Руки вымыла цветочным мылом
И со тщанием перечитала.
И через орфографические кочи,
Сквозь аляпистый стиль «а-ля кутузка»
Развиднелся во весь крупный почерк
Бесноватый брательник мой русский,
Для которого нету патента
На противоядье от вопросов
У спецов по преступности латентной
И по инфантильности подростков.
Уркаган мой контактный! Понимаешь...
Оплошал ты в выборе ингредиента:
Ты меня за человека принимаешь,
А я эта... как там, бишь... интеллигентка.
Понимаешь, я к тебе не стану ближе
И в упор, как сквозь забор, право слово,
Хотя я одолела много книжек,
Среди них сочинения Льва Толстого.
Дань отдав и порожнему и пустому,
Я одно лишь знаю без сомненья:
Что писать тому же Льву Толстому
Было «Азбуку» трудней «Воскресения».
Чем же я облегчу, мой несуразный,
Жизнь твою при усиленном режиме?
На бумаге все не вельми сообразно,
Ну а вживе лишь непостижимей.
Предположим, разведу на полтетради
И тебе отошлю сие чтиво:
Что пишу я повесть о конокраде,
Пренебрегшем интересами коллектива,
Вопреки урбанизму в неоне;
Что искусство неподвластно тленью;
Что последний фильм Антониони
Производит двоякое впечатленье;
Что стираются классовые грани
При вращении кругов социальных...
И цитаты популярных изданий,
И названия брошюр специальных...

Что безнравственно жить, разуверясь,
И что люди добры изначально;
Что нельзя к концу не впасть, как в ересь...
Боже мой, как все это печально!

Села я к столу и зубы сцепила,
Друг о друга ими пристукнув,
И с великой натугой слепила
Опус на языке доступном.
Мол, имеется у меня избранник,
И, хотя он обретается не близко,
Тем не менее будет ранен
Самым фактом нашей переписки.
С массой пожеланий приятных
К этой пошлости я привязала,
Намекая об амнистии вероятной,
Фотографию местного вокзала.

Я ответ получила уже по почте
После длительного антракта.
Слово за слово по цепочке
Мне мой зэк изливался так-то:
«Романтическое было начало,
А конец так себе получился,
Но зато о тебе немало
Я узнал, как узнать и стремился.
Основная черта твоя – верность
И умение переносить разлуку.
Я завидую, прости за откровенность.
Твоему удачливому другу.
Нынче редкость девушка такая
И не каждому в жизни светит.
Я тебе духовных сил желаю
И скорее свою свадьбу встретить.
Ну а я? Я в большом конфузе...
Уходя от действительности мрачной,
Стал гонять я множество иллюзий,
Как какой-нибудь фрайер дачный.
Вероятно, здешняя обстановка

Заставляет меня искать выход.
Промелькнула надежда – и остановка,
И опять по-прежнему тихо.
Далеко мне пока до вокзала...
Только мысль одна меня мучит:
Может, ты все это написала,
Чтобы чувства мои понять лучше?
Об обиде не может быть и речи.
Да и ты на меня не будь в обиде.
Приходи на место нашей встречи.
Где я первый раз тебя увидел».

Не все игры дают такие сборы...
Но игру я не прекратила,
А опять подошла к забору
И очи горе обратила.
Он стоял в рубахе исподней,
И вода по крыше шкворчила.
Он навстречу мне руку поднял.
Чтобы я его различила.
Помаванье это было резонным,
Ибо вы посудите сами:
«Элементы» в платье казенном
Смотрят издали близнецами.
Этак впредь и со мной бывало:
Головам в кирпичных прорехах
Без разбора я помавала,
За него принимая всех их.
Точно в пику заводскому гуду,
Прокричал он, голоса не утиша:
– Все равно я писать тебе буду! –
И швырнул нечто розовое с крыши.
Я, с препятствиями подошедши
По великопотопной грязюке,
Подняла два цветка горшечных
И о джинсы вытерла руки.
Расстарался тюремный дизайнер,
Порадел он об эстетике цеха,
Чтобы мне достался плод притязаний

На всемерное облагораживание зэка.
Была связана флора ниткой,
А на нитку насажена гайка:
Дескать, цветики, летите прытко,
А ты, гайка, их утяжеляй-ка.
Мне цветы и прежде дарили,
Но лишь эти склонили к почитанью,
Как природы и тяжелой индустрии
Плодотворное сочетанье.

Наконец ветра осушили воду
И дороги коркою стянули.
Торопясь использовать ведро,
Мы со псом по грибы махнули.
Затемно и замертво ворочались
(И ни разу не вздорили по дороге).
У обоих желудки ворчали
И гудели лапы и ноги.
У забора я не появлялась,
Хотя письма об этом и просили.
(Повторяю: я грибами пробавлялась,
Пока солнце находилось в силе.)
Было там, что начинается день мой
Если не с крыши, то с окошка.
Жду тебя, как мимолетное виденье,
А тебя все нет, такая окрошка.
Напиши мне, мол. Ну что тебе стоит!
Все ж душа у тебя не из металла.
Пусть в письме содержанье не будет такое,
О каком сперва мне мечталось.
Я любви твоей не помешаю
И ничем не оскорблю нимало.
Если б знала, чего ты меня лишаешь,
То тогда бы, наверное, не молчала.
Я писала короткие отписки
О погоде, о занятости кромешной,
И что бабы не все одалиски,
И о торжестве добра, уж конечно.

И с каждой из этих фальшивок
Из меня уходило что-то, с каждой!
До того мне было паршиво,
Что сказать, государи мои, да не скажешь.
Учтено, казалось бы, все, как в святцах,
И – полнейшая необъяснимость.
Так истошно закомплексоваться
Мне доныне еще не снилось.
Я металась: «Господи, Твоя воля!
Не довольно, не полно с меня неужто?
Кто и спорит, что немочь я, мразь я, ноль я,
Что пусты мои пригоршни и суетны нужды!
Много проку ли взыскивать за робость
Брякнуть ближнему в его ниоткуда,
Что стянуть расторгнувшую нас пропасть
нет возможности за отсутствием кетгута.
Будь он хоть самим Аль-Капоне,
Окажись ординарнейшим вором,
Усредненным обитателем колоний –
Дело не в формулировке приговора.
Дело в том, что деклассированы мы оба,
Только нас не предусмотрено вскоре
По причине различной хворобы
Поместить в один лепрозорий.
Дело и не в вышине забора.
Непристойные, как грех содомский,
Мы в различных квадратах бора
Заблудились – аукаем, да не сойдемся.
Слышишь, Господи! Плачу и рыдаю
О заблудшем своем брате,
И люблю его, и сострадаю,
Но ни в жизнь не дотяну объятий.
И еще удастся ли по смерти
Пренебречь отчужденья законом?..»

А на очередном конверте
Почерк был чужой, незнакомый.
Сообщалось слогом пристойным.
Что-де пишет его товарищ...

(Вам стоналось ли таким стоном,
От которого год остываешь?)
Мы на крышу-де вылезли вместе
(Между прочим, зовут меня Слава),
Поджидая тебя на обычном месте,
А тут началась облава.
Я из этого омута выбрался чудом,
А его в изолятор упекли за здорово,
И сидит он под каменным спудом
На глубине трехметровой.
Мы с ним поровну все делим –
И жратву и весточку из дома.
Он меня за последние недели
Разговорами о тебе прямо донял.
Я тебя видал, но скажу, не скрывая,
Что не вынес бурного впечатленья.
Может, в женщинах я не понимаю
Или, может, у меня обман зренья.
Я прошу тебя, чтоб ты ему писала.
Он без писем как чокнутый ходит.
Если даже времени мало,
Для любви его все же находят.
Рисковать он будет, как и прежде,
Я уверен, ради встречи с тобою.
Вообще, человек он добрейший,
И сердце у него золотое.
А в конце прошу от себя лично –
Дай и я попытаю счастья:
Вышли адрес женщины приличной,
Разумеется, с ее согласья.
Как я вскинусь, как воскличу: – Брате милый!
Этот груз я с места не сдвину,
Не наполнюсь я такой силой,
Хоть твоей заберу половину... –
Долго не было ни слуха ни духа,
Долго не было ни щелочки в заборе.
Уж с небес слетела белая муха,
И все позже разгорались зори.
Успокоилась я и решила,
Что понял он, с кем связался.

Да не тут-то, государи мои, было,
Никуда не делся, сказался:
«Я в ШИЗО не досидел маленько –
Напала на меня простуда.
Оказался я слаб в коленках
На больничку загремел оттуда.
Вот попал в жир ногами, понимаешь...
Ну да ничего, вперед наука.
Уж теперь меня так просто не поймаешь.
А на койке лежать – сплошная мука.
Ты писала за груз неподъемный...
Знаешь что! Хоть много меня били,
Все равно я не очень-то скромный,
И я знаю, что его осилю.
И допру я его, куда надо,
Лишь покинуть бы это зданье,
Лишь бы ты шла со мною рядом.
Извини, я увлекся. До свиданья».

Вышло дом не ему, а мне покинуть
И пуститься в странствие большое
За писательской мздой-полтиной,
Ибо туго без гроша за душою.
Иронически смотрит издатель,
А бухгалтер смотрит исподлобья,
Но гордыню способна обуздать я
За единовременное пособье.
Но об этом рассусоливать не буду...

Забралась я опять в свою нору
И нашла на столе груду
Писем, писем из-за забора.
И они, прочитанные раптом,
Мне явили весьма просто
В диалектике методику брата
И проект моего переустройства.
Он пронять меня силился и тщился,
Арсенал используя разнообразный,
И с воловьим упорством тащился

В колее моей души непролазной.
Он местами вконец провирался,
Но, баланду хлебая из миски,
Насмерть он за меня дрался,
Изолированный от общества Сухомлинский.
Он и сам изобретал много,
И не брезговал опытом поколений,
На пути от острога к острогу
Редактирующих собрание сочинений.
Лейтмотивами неправедных наветов
Он сверлил пласты ошибок незрячих.
Сочетал он детективность сюжетов
С эпикою фабул бродячих.
Мол, не знал материнской любви он,
Но рос простодушным и веселым
И – о молодость! – в школьном ВИА
Колотил на гитаре-соло.
И что пал он жертвою доноса,
А за что, не ведает и поныне,
Но не раскололся на допросах
И вину чужую на себя принял.
Выверял он стилевую оболочку
В корчах творческих, вероятно,
И, ища уязвимости точку,
Раз от раза совершенствовал варианты.
Как, разделавшись с первым сроком,
Он почувствовал к романтике влеченье
И уехал работать на стройку
Всесоюзного и мирового значенья.
Там он встретил сероглазую такую
И разбитое сердце ей отдал,
Собираясь, от счастья ликуя,
На руках нести ее сквозь годы.
Целовал он ее в серые очи,
В рот не брал спиртного ни грамма,
И вручили ему однажды ночью
О смерти отца телеграмму.
И уехал он от глаз серых,
И пошел на кладбище с вокзала,

Где дюжина милиционеров
У могилы его повязала.
Ему грязное дело пришили,
А был он кругом неповинным,
И попутно с приговором сообщили
О рожденье наследника-сына.

Это надо ж каким обрасти забвеньем,
Чтобы впасть в подобную отрешенность,
И каким исполниться вдохновеньем,
Чтоб чужую игнорировать искушенность!..
Но когда прискучивал бравадой
И издерживал изобразительность до корки,
Прибегал он тогда к пытке правдой,
Как родитель, обессилев, к порке.
«Вышла в зоне небольшая стычка:
Чужаки на земляков поперли
И под лозунгом «сарынь на кичку!»
Обоюдно свели руки на горлах.
А когда им соответственно внушили,
Что тут не становище Стеньки,
Мировую распить положили –
Поддержать национальный дух в застенке.
Это проще пареной репы:
Наливается в грелку винище,
Грелку некто, завинтивши крепко,
Шурует через забор и свищет.
Трали-вали – и грелка пустая
(Как указывалось, патруль бывает разный)».
И о том, на ум меня наставя,
Зэк просил в манере куртуазной.

Но была там правда и иная –
Эта вот, которая пиявит,
И буквы, от тощищи линяя,
Разевали рты и вопияли:
«Двадцать семь мне стукнуло нынче,
Из них девять с половиной – мимо.
Не подумай только, что хнычу,
Но отлить с души необходимо.
Мы выходим отсюда жестяными,

Согреваемся и тут же остываем.
Нам чужие мерещатся родными,
Для опор мы свай не забиваем.
Мне догнать ровесников не в жилу.
Я живу, а жизни не касаюсь.
Как пружину судьба в меня вшила –
Гоношусь, что подстреленный заяц.
Со свободы ребята приходят,
И их даже страшно слушать:
Там у вас такое происходит –
От одних рассказов вянут уши.
Прижимают и спереди, и сзади –
Не ступи ни ногой, ни обоими.
Говорят, опасно и за дверь
Выходить с ограниченьями такими.
Да и тут, однако, не сладко:
До того оподлились люди
И усилились внутренние порядки...
Вот и думай, что дальше будет».

А в другом письме: «Помирился с мамой –
Надоело пороть дешевку.
Хоть и вредный я, да не самый –
Что-то жалко стало старушонку.
Я у ней не первый и не последний
И отвык в ее чувства верить.
Человек она так себе, средний,
Тут без надобности лицемерить.
Повидаться мы с ней решили.
Написал уж ей число и день я,
А свиданья меня лишили
За плохое мое поведенье.
А у матери с сердцем скверно,
И отрядный знает про это.
Мне никак не выкрутиться, наверно.
Ну, непруха, прямо конец света!»

Сверх всего нашла листок со стихами,
Чем-то движимыми, кроме конъюнктуры.
Изложу их – судите сами –
В сокращенье, хотя без редактуры:

«Любить нельзя вот так, с окошка,
Пробитом в стенке молотком.
Сидеть и думать понемножку
О чем-то нежном, небылом.
Когда же кончится, чтоб в полный рост подняться,
Расставить сети на свою любовь,
Но только так, чтоб ты могла попасться,
Чтоб не вылазить больше на окно».
«Любимая, простишь ли ты меня?
Я бы простил, да ты не провинишься.
Сижу один, в ночи горит камин,
И кончики огня, как будто глазки.
Начало пламени что волосы твои,
И только страх, что снова обожгешься.
А отвернусь – одна лишь тень моя.
Согреть, прижать ее к другой – да нету страсти.
И смотришь на нее, а в спину жгет камин,
И страшно, что тепло уж где-то сзади.
Попробуй, может, снова подожгешь –
Сгорим тогда дотла при нашем счастье».
Ознакомились, государи мои? Ну, то-то.
А итогом всей этой пытки
И финалом воспитательной работы
Деловая служила открытка:
«Бандероль ты на днях получишь –
Не изволь за беспокойство сердиться.
Ты ее сохраняй получше –
Напишу я, как ей распорядиться».
Но пришла не бандероль, а письмишко,
Сдалека, из черноземного затишья.
Почерк был разборчивый слишком –
Так учительши одни пишут.
Назидательно взывалось: «Ребята!
Неужели вы ожидали,
Что пришлю вам наркотические препараты!
Или вы последний стыд потеряли?
Да и нет у меня знакомств в аптеке...
А заместо организма отравленья

Лучше б взяли вы в библиотеке
Нашей классики произведенья.
В школе вас до сих пор вспоминают –
Было средств на вас затрачено немало –
И по-прежнему не понимают,
Как дошли вы до такого кошмара.
Вы на прошлое крест положите
И любуйтесь окружающей природой,
И трудом ударным заслужите
Прощенье государства и народа».
Я письмо, сумняся ничтоже,
Переслала по назначенью,
Разумея, что на зэков наложат
Отпечаток сии реченья.
Уж когда по программе фарисейской
Возрождают их облик человечий,
То дидактике учительницы сельской –
Честь и место. А мне и взять нечем.
От двоякости всего и вся немея,
Я запамятовала в этом изыске,
Что распространенья не имеет
За забором тайна переписки.
Встрепенулся работник оперчасти,
Зафиксировав термин «наркотик»,
И затеял страсти-мордасти,
Что в уставе отражение находят.
Мною преданный брат заклятый,
Уповавший на мое исцеленье,
Вдругорядь угодил в изолятор
Ради вящего вразумленья.
Но иному поцелуи Иуды
Проповедовать Иуде не мешают:
Он меня наущал и оттуда,
Кильку пряного посола вкушая.

На замызганном бумажном огрызке
Хоть бы полсловечка было матом.
О! Огрызок, от грязи склизкий,
Отзывал непротивленческим догматом.
Милый брат не кобенился надо мною,
Но и вкрадчиво, и наглядно

Говорил, как с душевнобольною,
Одержимой манией непонятной:
Писать, дескать, сюда не все возможно
По причине возможных перлюстраций.
А сидеть ему здесь бестревожно,
Так что я могу не волноваться.
Правда, все журналы и книжки
На чифир пожег его товарищ,
А теперь и полотенца выжег
(Иногда со скуки вместе заваришь).
Фотографию, мол, пришли, прошу я,
Размером двадцать семь на девятнадцать.
Приготовил он рамочку резную,
Чтобы вставить и любоваться.
...С той поры уже не пропускает
Забор информации скандальной
И на крыше никто не зубоскалит...
Боже мой, как все это печально!
Я не думаю, что смерть подкосила
Моего Абеляра. Имею мненье –
Это было бы слишком красиво
Или слишком прямолинейно.
Я не думаю, что сдался отщепенец,
Сломлен действием миссионерства вялым,
Ибо, как любой непротивленец,
Обходился и довольствовался малым.
И совсем немыслимо, тем паче,
Чтоб в исканиях моральных и амурных
Убедила его в неудаче
Разница уровней культурных.
Просто он колебал неимоверно
Глубину зазаборного кессона,
И его, как неисправимого чрезмерно,
Перебросили на другую зону.

А писатель должен быть в гуще жизни,
Набирая впечатлений беремя,
Подвергать недостатки укоризне
И смотреть регулярно программу «Время».
Да ведь так оно и поступает,
Основная масса членов Союза,

Непосредственным общением питая
И обогащая свою музу.
Не становится в избранничества позу
И закрытые учреждения посещает,
Декламируя там стихи и прозу.
И народ к ним снисходит и прощает.

Сентябрь, 1977

А ЧТО ЭТО ВСЕ ЗНАЧИТ?..

ПРОИСШЕСТВИЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

1. ОБЛАКО

– Прогресс, прогресс! Какой ты хороший, прогресс! Какой ты молодец, прогресс, что решил наконец разбудить нашу сонную землю! Повсюду тянутся необозримые башенные дома, упруго наполненные теплыми динамичными жильцами, и эти прыжки – через полпланеты ли или в космические сферы, и эта общность – стран, народов, рас; трогательное шествие под знаменами к сияющим целям и вершинам! Прогресс! Я люблю тебя, прогресс, и не стыжусь своих скупых слез...

Такую ликующую песнь мысленно пел я, идя по улице родного города, но не захватив с собой по рассеянности спичек.

Очнулся я в каком-то грязном клубящемся облаке, со свистом рассекающем окружающее материальное пространство, режущем глаза сухой пылью, душащем рот, уши, нос. Я немедленно вступил в схватку со стихией, и вскоре моя борьба увенчалась успехом. Я оказался у истоков облака.

– Товарищ! У вас не найдется спичек – прикурить? – спросил я одетого в скромную ватную телогрейку и серые полуботинки трясущегося мужчину, который, несмотря на

Евгений ПОПОВ – родился в 1946 г. в Красноярске. Окончил Московский геологоразведочный институт. Автор книг «Веселие Руси» (Ардис, США, 1980), «Жду любви не вероломной» (1989), «Прекрасность жизни» (1990), «Самолет на Кельн» (1991).

ясный белый день, с нечеловеческим воодушевлением мел пыльный асфальтовый тротуар, вздымая к небесам уже упомянутые клубы. – Товарищ, – вынужден был повторить я, ибо совсем не слышал меня этот простой человек, настолько он увлекся своим целенаправленным трудом. – Эй, мужик, да ты что, глухой, что ли? – вконец обозлился я.

При последних моих словах он немедленно отставил метлу, прислонив ее к бетонной поверхности нового дома, и почесался. Пыль улеглась, и он стал разговаривать.

– А вот это – другое дело, – сказал он.

– А что такое? – поинтересовался я.

– А то такое, что – «мужик». Мужик – это правильно, а товарищ – неправильно. Какой я вам, к свиньям, товарищ, когда вы меня видите первый раз в жизни?

– Но послушайте – ведь это же общеупотребительная форма обращения в нашей стране, – возразил я.

– Не знаю, что и в какой стране, – сухо ответствовал мужик. – А только знаю, что смысл должен соответствовать содержанию. Кабы мы с тобой поговорили, выпили чуток, то я тебе, может, и стал бы «товарищ», а может, и не стал. А пока ты мне «прохожий», я тебе – «метущий». Ты должен был мне сказать: «Эй, метущий, нету ли у тебя спичек?» И я б тогда тебе сразу ответил, что есть. На, прикури...

Я и прикурил от пылающего этого огня сигарету «Ту- 134».

– И меня угости, – сказал мужик.

Я и угостил. Мы в задумчивости пошли к отдыхающей метле.

– Я люблю «Ту», но у меня нету «Ту», – сказал мужик. – Видишь вот – мету вместо «Ту», – пошутил он. – А у меня ведь мягкое интеллигентное лицо. Видишь? – показал он.

– На вид вполне приличный человек, – одобрил я.

– Все из-за невыносимого характера, – сказал мужик.

– Совершенно верно, наверное, – сказал я.

– Точно, – подтвердил он. – Я, видишь ли, как-то раз задумался: А ЧТО ЭТО ВСЕ ЗНАЧИТ?

– Что «все»? – насторожился я.

– А вообще – все! – широко улыбнулся интеллигентный мужик. – Я, видишь ли, раз в газете прочитал: «*Подвергай все* (курсив мой) *сомнению*».

– Ну?..

– Вот и началось. Был я тогда, в незапамятные времена, исполняющий обязанности руководителя и, прочитав такую фразу, сразу же самочинно установил у нас трехчасовой рабочий день, потому что обнаружил – у них работы на три часа, а потом все равно никто ничего не делает. Я и с начальством вел все шито-крыто, но подчиненные не оправдали моего доверия, потому что из трех часов они стали работать пять минут, а это стало сильно отражаться на качестве выпускаемой продукции. Я был вынужден покинуть производство.

– Дальше?

– Дальше у меня была жена Анюта. Я сказал ей, что поскольку в наших отношениях не на сто процентов наличествует то, что называется «любовь», то я от нее ухожу и буду приходить ее любить по субботам, что будет вполне соответствовать проценту искренности любви в наших отношениях. Анютка подала на развод... Следующим номером моей программы была – проблема отдыха, где я был затейником-культмассовиком в парке культуры и отдыха имени не помню кого...

– Имени Горького, – сказал я.

– Правильно. Имени Горького. Там я заметил, что не очень-то кого интересует, чтоб ездить на качели вверх-вниз, а также чтоб соревноваться ударом молота. И я тогда взял – е-мое! – и поставил им там три киоска. Первый киоск – рассыпуха, второй киоск – рассыпуха, третий – тоже рассыпуха. Все остались очень довольные, а я тогда стал вот вынужден мести тротуар.

– Среди бела дня?

– Среди бела дня я мету тротуар. И в этом тоже есть основание. Понимаешь, когда тротуар выметается ранним утром, то человечество не ощущает суммы труда, затраченного в чистоту, воспринимая чистоту как нечто само собой разумеющееся. А когда вот так вот окунется оно в грязь, да понюхает, да поморщится, сколько ее, грязи, то и призадумается – ведь верно это? Ведь это же верно, товарищ?

– Призадумается, – сказал я. – Это оно точно – призадумается. Да ты, брат, я вижу, полный новатор и бунтарь? Все сразу перестроил?

– А чего там долго ждать, – сказал мужик, заканчивая курение. – И так долго ждали.

– Кто ждали?

– Все ждали. Человечество.

– Чего ждали?

– Всего ждали. Все-го. – Мужик широко развел свободные от метлы руки.

– Понятно, – сказал я.

– А ты сам-то кто будешь? – спросил он.

Я задумался.

– Журналист я, – сказал я.

– Это не ты написал «подвергай все сомнению»?

– Что ты, что ты, Господь с тобой, –испугался я.

– Ну и прощай тогда, – сказал мужик, сызнова принимаясь за работу.

– Но тебе в жизни еще повезет, – сказал я.

– А то как же иначе, – не удивился мужик. – Обязательно все должно быть...

И так махнул метлой, что я сначала подскочил, а потом, вновь ввинченный в грязное облако, со страшной силой куда-то полетел и вскоре оказался дома, где, сидя за зеленой лампой, все это и записываю неизвестно для чего. На стенах ряд произведений классиков: Шекспир, Достоевский, Большая Советская Энциклопедия. Жена в махровом халатике умильно бродит где-то рядом, временами окликая меня для вдохновения чарующим голоском чудного тембра. Думает, наверное, что гонорар большой ожидается, стерва! Я люблю ее и не стыжусь своих скупых слез. Она – как прогресс. Я люблю свою жену, и я люблю прогресс. А что – разве я не имею на это права? Нет, вы скажите мне, разве я не имею на это права? Разве зря гибли отцы? Разве я не имею на это права?

2. ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ЭФФЕКТ МНОГОМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА

Нет, ну бывают же такие наглецы! Как вот тот один сволочь, который нахально поступил к нам работать в книжный магазин «СВЕТОЧ» в качестве МОПа – младшего обслуживающего персонала, а попросту говоря – уборщицей.

Удивительно, что уборщицей? А? А мне не удивитель-

но? Мне тоже сначала стало удивительно. Лучше б я и сейчас все еще удивлялся, чем узнавать мне, старому израненному человеку, то, что я сейчас узнал.

А ведь вид его производил впечатление весьма, можно сказать, приличного молодого парня. Несмотря на молодость, не был он, к примеру, патлатый, как Тарзан. Напротив, голова его была гладенько обрита. Бородка, правда, тоже была. Я сначала чуть-чуть насторожился, увидев бородку, – не люблю я этого. Но потом разглядел, что и она – чистенькая такая, выступами. Да глядя на такую бородку, уверяю вас, никто бы в жизни не подумал, что этот человек способен лить воду на чью-либо мельницу. Вот и я ничего дурного не учуял. Совершенно на старости лет спятил я, бдительность потерял. Постарел я.

Я ему говорю: «Зарплата у нас вы сами знаете какая!» А он логично: «Я буду совмещать». Правильно, это законом предусмотрено. Ну и потом – у нас же книжечки. «Дефьсит», как говорил товарищ Райкин. Я его официально и строго предупреждаю, что если он поступает к нам с целью спекуляции всякой этой Кафкой и Жюлем Верном, то деятельность его мной всячески будет строго прекращена и ничего, кроме пятна биографии, он от такой преступной жизни не получит, поскольку он хоть и МОП, но все равно работник культурного фронта, а спекуляция есть бескультурие и стыд.

А он, широко раскрыв в ответ свои лживые глазки, мне и отвечает: «Ой, да что вы! У меня и в мыслях такого нету. Я – просто. Работать. Ну, если мне что такое интересненькое с вашего разрешения продадут, то я уж буду очень довольный», и прочее он мне много чего говорил.

И тут я прямо вопрос ставлю – а что ему, собственно, в нашем магазине надо? Может, он из ОБХСС, так пусть лучше прямо мне об этом скажет, мы друг друга поймем. Но тут он стал гулко бить себя в грудь и божиться. А по секрету мне таинственно сообщил, что хочет немного подработать на женитьбу – это раз, а во-вторых, желает укрепить свои слабые мускулы физической работой.

Не поверил, не поверил я, конечно, а все же и взял его, дурак, на свою шею. Ну и потом как мне еще было отказываться? Действительноб мы уже полгода уборщицу искали, заелись все кругом, никто тряпкой махнуть за семьдесят рублей не хочет.

И ведь как ловко скрывался! Мне еще тут нужно разобраться – не вошел ли он в преступный сговор со сторожем Чердынцевым. Тот его в пять утра впускал, а также в двенадцать ночи – в зависимости от дня недели. Подозревал я таки, что он книжки хочет красть, сдавая их через подставных лиц в наш же букинистический отдел. А только целы были все эти книжки в торговой зале, да и вряд ли их взяла бы наш умный букинист Сеидова, потому что затоварены мы ими до самых верхних полок.

Вот так он и втерся в доверие. Ибо магазин у него начал сверкать – в ночные эти и утренние часы ухитрялся он довести его до адской чистоты и блеска. Причем и от интеллигентных наших покупателей совсем не стало слышно нареканий, что их в торговые часы мокрой тряпкой хвощут по ногам, гоняют из угла в угол под предлогом скорой уборки.

Но я-то, я-то растяпа! Мелькнуло ж у меня еще раз подозрение, последний раз, после чего я окончательно утратил всякую бдительность, соблазненный экономической эффективностью задумки.

Это когда он мне сказал (а он, к слову, довольно много болтал, когда мы встречались в день получки у денежного ящика, а только я мало что помню, к сожалению), это когда он мне сказал, что не позволю ли я ему немного оживить витрину.

А витрина у нас, следует заметить, отменная в магазине была. Вот именно – была отменная! Она у нас – вся современного интерьера, как говорил украшавший ее художник Убоев: по фасаду громадное цельнолитое стекло, пол засыпан байкальской галькой, на которой помещены красивые кашпо с цветами. А сверху нам художник Убоев вычеканил по трудовому соглашению различные чеканные лозунги, а именно: «КНИГА – ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ», «МИР, ТРУД, СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО ВСЕХ НАРОДОВ». И другие. А также различные символы – устремленную вперед красивую дивчину с раскрытой книгой и склонившегося над ней (книгой) тоже очень красивого юношу. У нас все было очень красивое.

Ну и не совру, а этот «уборщица» нашу красоту сильно уважал. Он гальку постоянно мылил каким-то особым моющим составом и лозунги драил что твой юнга, когда я на заре

нелегкой жизни служил в Балтийском флоте.

И вот он мне и говорит: «Позвольте, Павел Егорович, я немного оживлю нашу витрину?» – «А ты можешь?» – спрашиваю. А он отвечает: «Могу. Я много витрин оживил.». – «Так где ж они, твои живые витрины? Я хочу их посмотреть». – «Нельзя, – говорит, – они расположены в других городах».

А вид-то, главное, интеллигентный! Как я ему могу не верить? Я его и спрашиваю, помня рвача Убоева: «А сколько ты хочешь за это оживление взять?» Смеется. «Ничего», – говорит. «То есть как это ничего?» – «Ну, если вам понравится, то что- нибудь мне заплатите». – «А если не понравится? – спрашиваю. – Мне за тебя под суд идти, что ты мне витрину изнахрачил?» – «Да какое! – смеется. – Просто приведем все в старый вид и порядок. Я, – говорит, – любитель. Это, – говорит, – для меня радость, вроде хобби».

А я возьми да и согласись, старая плешь! Повторяю – интеллигентен он мне показался. Вот я по глупости бдительность-то и потерял.

Ну и он там недельку колдовал, что-то там возился, проводку даже новую проводил. Я ему – ты мне магазин спалишь, а он мне – не бойтесь, я в горсети консультировался. И вот он там недельку все колдовал, возился, а потом мне и говорит: «Готово!»

А было как раз без пяти десять до открытия. Мы все вышли на улицу. Я смотрю и думаю – да что же это за голый король? Как все было, так оно все и есть. Я ему напрямик говорю: «Ты, товарищ Химков, сказку про голого короля писателя Андерсена знаешь?» А он опять смеется, он все смеялся, подлец: «Давайте не будем делать поспешных выводов, давайте подождем немного». – «Подождем», – говорю .

А тут уж и посетители эти интеллигентные, как всегда, утром в магазин ломятся, стучат каблуками. «Подождите вы!» – кричу. А они – наоборот: лезут, ломятся, каблуками лупят, обещают написать в жалобную книгу. «Ну зачем вы стучите?» – говорю. – Поступлений новых со вчерашнего дня не было и не будет, зачем стучать? В милицию захотели?»

Тут он мне и велит: «Скажите, чтоб открывали».

И – Господи Боже ты мой! Лишь как дверь магазина открылась, то тут сразу же заиграла торжественная космическая музыка, отдаленно напомнившая мне «Марш коммуни-

стических бригад». И все эти чеканные лозунги завибрировали космично, как показывают по телевизору, когда ракеты на дальние планеты отправляются. И все быстрее и быстрее! И все громче торжественная музыка! А потом музыка стихла, и – о Господи! – я гляжу, а они уже все на других местах, лозунги. где, допустим, стояло «МИР», теперь – «РАВЕНСТВО», вместо «СВОБОДА» – «ТРУД». и лишь «КНИГА – ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ» по-прежнему высоко сияло надо всем, начищенное уборщицей Химковым до блеска звезды.

– Ну и что? – спрашиваю я, обалдев. – Дальше-то что?

– А ничего, – смеется он. – Дальше каждое 0,5 часа эти таблички будут менять свое местоположение. Этим оживляется витрина и при скупых средствах выразительности создается сильное поле эмоционального воздействия.

НИ-ЧЕ-ГО! Ничегошеньки – я не стыжусь это признать – ничегошеньки я не понял: хорошо это или плохо. И, слова ему худого не сказав, молча ушел в магазин думать – давать ему денег за такое изобретение или наоборот – денег не давать, изобретение демонтировать, из «Светоча» начисто выгнать.

А тем временем иль по городу слух прошел про нашу красивую витрину, или действительно она была красивая – я и до сих пор не знаю. А только повалил народ и – Господи ты Боже мой! – все больше молодой, странно это так, вроде как хиппически разодетые под художников, что ли? Но стоят торжественно и ждут тех самых полчаса, когда зазвучит торжественная музыка и лозунги станут космически скакать. И он среди них, важный такой, что-то объясняет.

Господи! Да это ж и на какое-то незапланированное сборище смахивает, думаю. Подкрался и слышу, как он объясняется с одной знатной горожанкой, дочерью одного знаменитого в нашем городе отца, одетой в рваные синие штаны и туфли на толстой подошве.

– Вот... А ты, дорогая, не верила в меня. Вот... худсовет отклонил... Но я одержал... Я добился. Вот он, мой пространственный эффект многомерного пространства, поп- скульптурная композиция в замкнутом интерьере. Символы – мир, труд, свобода, равенство, братство не однозначны. Они – многомерны. Они насыщаются новой формой на основе старого содержания. Понимаешь?

– Понимаю, – шепчет эта размалеванная фря.

Худсовет отклонил ???!

Я тут же выскочил из укрытия и кричу:

– И я тоже все понимаю, гражданин Химков! Ваши документы!

А он это мне нахально смеется в старое лицо и говорит:

– Они же у вас в денежном ящике.

– Тогда пройдемте к денежному ящику, – говорю. – А вы, гражданка, останьтесь.

Говорю, а сам трясусь неизвестно отчего.

Та надулась:

– Нет уж, позвольте, я тоже пройду.

А как ты ей не позволишь при таком папаше?

Ну мы и прошли в кабинет к денежному ящику. Я хоть и трясусь, но стараюсь сдерживаться. Я ему говорю...

Я ему говорю. Я ему вежливо говорю, меня никто не может упрекнуть, что грубо. Я ему говорю, что не напрасно мне Родина вручала ордена и медали. И поэтому мне не так-то просто впилить мозги. Я все понимаю, что означают эти крутящиеся «мир, труд, равенство и братство». Это означает – буржуазная эстетика правого уклона, вот что это означает, если говорить научно. И добро б, если у него на это было хоть какое-нибудь разрешение, а то ведь худсовет-то отклонил! Так, может быть, у него все же есть хоть какое-нибудь разрешение, говорю я, уже прямо обращаясь к знатной горожанке, дочери отца.

А та гневливо:

– Да знаете ли вы, Павел Егорович, что настоящий талант не нуждается ни в каком разрешении! Настоящий талант – творит! Настоящий талант доказал любимой, что ради нее он может добиться полета!

И на моих глазах целует веселого Химкова.

– Позвольте, – говорю. – А ваш папа в курсе ваших отношений?

Она опять губки надула, а Химков посерьезнел и эдак солидно объясняет:

– Ну, частично, конечно, он в курсе, а скоро окончательно станет в курсе. Потому что мы, во-первых, сегодня же подаем заявление в ЗАГС, поскольку я одержал, наконец, творческую победу, во-вторых, у нас скоро будет беби, а

в-третьих, я проверил себя и думаю, что теперь, когда мне будут созданы нормальные условия для работы, я смогу окончательно развернуться во весь свой творческий рост и осуществить многие свои задумки и мечтания.

Ну, про нормальные-то условия я понял, и про беби тоже. Однако голова у меня еще пуще закружилась, и мне стало хотеться окончательной ясности.

– Так, а вы вот сказали товарищу, что выставили в окне какое-то новое содержание.

– Извините, извините, – поднял он ладонь. – Новая форма, а содержание по-прежнему остается старым. Тут я ни с кем не расхожусь, даже с худсоветом.

Все окончательно поплыло у меня перед глазами. А вдруг он и в самом деле станет зять Лапынина? Что мне тогда будет? Всё у меня поплыло, я и говорю:

– Что ж, присоединяюсь к поздравлениям вашего творческого успеха.

Лезу в денежный ящик и даю ему пятьсот рублей. Он сильно удивился.

– Это что же, безо всяких документов?

– Почему безо всяких? – бодрюсь я. – Вы тут распишитесь, а трудовое соглашение мы потом составим, и вы там тоже распишетесь. Я ведь теперь знаю, где вас искать!

И так это лукаво им обоим грожу пальчиком.

Он на нее глянул. Она бровкой шевельнула, и он мне:

– Нет, знаете ли, несолидно это как-то, так сильно спешить. Оформим все в законном порядке, и если я имею право на вознаграждение за свой труд, то я это вознаграждение потом приму. Ваша воля. Ну, мы пошли.

И пошутил:

– Я надеюсь, мне можно идти? Свою работу я на сегодня выполнил. Магазин чист?

– Чист, – еле слышно отвечаю. – Желаю вам счастливо провести время.

И они ушли. А я вот сижу и думаю – ну нет, ну бывают же такие наглецы! Зачем? Зачем я его принял на работу? Хрен с ним, обошлись бы как-нибудь, как раньше обходились. Вон эту бабку Кузьмичиху можно было попросить или Чердынцева-сторожа. Они бы как-нибудь и прибирались тихонечко. Вот сижу я и думаю, и полная каша у меня в голове.

Ведь не должны же, не должны меня за это снять? За что меня снимать-то? План товарооборота я выполняю, идеологически выдержан, книг у меня в достаточном ассортименте, и покупатели всегда уходят довольные, я испытываю законную гордость за талантливого художника-самоучку, выросшего в моем коллективе. Не должны вроде бы.

А вдруг – снимут? А вдруг – ведь это ж часто бывает, что папаша вон какой почетный, а доченька крутится в сомнительных компаниях стиляг. Ну зачем, ну зачем, ну зачем я взял в тот свой горький час на работу эту нахальную бородатую сволочь?

3. КОНТАКТ С ЮГОСЛАВСКИМИ КОМСОМОЛЬЦАМИ

Одна знакомая девица все мечтала за границу съездить. С этой целью она подкопила деньжонок и приобрела путевку в Социалистическую Федеративную Республику Югославию.

Написала девица свою краткую автобиографию, а также вызвали ее для беседы в одно официальное место. Где вопреки ожиданиям приняли девицу не в отдельном кабинете, а в конференц-зале. Кабинет оказался занят по каким-то другим, более насущным делам.

Девица, трясясь от страха, стояла перед комиссией, которая сидела на сцене за зеленым столом.

– А зачем вы едете в Югославию? – спросила комиссия голосом дамы в золотых очках.

– Давно интересуюсь культурою и историей этой страны, – четко отвечала девица с комсомольским значком.

Комиссия пошепталась и сказала:

– Советуем вам в Югославии установить контакт с югославскими комсомольцами и по приезде сделать доклад в вашей первичной комсомольской организации.

Так девица и оказалась в Югославии, а, возвратившись оттуда, взялась рассказывать об этой солнечной стране своему любовнику, который по случаю выходного дня лежал в постели и курил за неимением лучшего папироску «Север».

– Я каталась на всех машинах. «Понтиак», «мерседес», «ягуар», «фиат». Я не каталась только в «роллс-ройсе».

«Роллс- ройс» не попался мне в Югославии.

– «Роллс-ройс», – сказал любовник.

– Повел нас гид, приятный такой парень, Душан, на секс- фильм. А фильм – обычная скукота: текст – английский, титры – югославские.

– Титры, – сказал любовник.

– Меня хозяин гостиницы спрашивает: «Как зовут ту?» – «Люба», – отвечаю. Вот он и повторял потом все время: «Ай, Люба! Ай, Люба». Больше по-русски ни бум-бум. Умора! И сам лично ее все время обслуживал. Предлагал, кстати, сочетаться законным браком в церкви. А та девочка такая умненькая, развитая. Она у нас была старшим группы. Он ей бутылку «виньяка» подарил и земляных орехов. Умора!

– Девочка, – сказал любовник.

– А конфуз-то вышел! Я прошу – передайте мне спички, а они как захохочут! Душан ко мне наклонился: «Ты это слово не употребляй. Спички, по-нашему, знаешь, что значит?» Умора! Я тогда стала говорить вместо спичек «шибица»...

– Вместо спичек, – сказал любовник.

– Мы идем – видим бассейн. Для миллионеров- интуристов. Старуха жирная одна сидит. Я говорю: «Девочки, давайте купаться!» Только разделась – югослав бежит: «Не можно! Не можно!»

– Югослав, – сказал любовник.

– Что ни говори, – вздохнула девица, – а денег мне не жалко. Я, во-первых, купила. Сапоги-чулки у нас на барахолке стоят сто двадцать, а у них на наши деньги – десятка.

– На наши деньги, – сказал любовник.

– Но помучили меня, помучили. Я три раза анкету переписывала. Папаша, как алименты перестал платить, так мы и не знали, где он и что. Оказалось, на Ангаре в леспромхозе, таксатором работает. Допился, алкаш.

– Допился, – сказал любовник.

– Что ни говори! Вот они обедают, а на столе стоит прибор, вроде бы как у нас. Но в центре, под крышечкой, зубочистки. Как покушают – сразу же берут зубочистку и ковыряют в зубах.

– Экая пакость, – сказал любовник.

– Что ни говори! – возразила девица. – У них культура поведения стоит высоко. Ножом и вилкой все умеют пользо-

ваться, даже малыши. Зато, знаешь, какие открытки в ларьках продают? Умора! Смотришь прямо – нога на ноге. Глаз прищуришь – ничего на ней нету. Но – дорогие. Парни журналов напокупали. На границе запихали в штаны, боятся. А я листала-листала, на столике – много, потом девочек позвала смотреть, а югослав кричит: «Не можно! Не можно!»

– Как к русским относятся? – вдруг ожил любовник.

– Смотря что ты имеешь в виду, – насторожилась девица.

Любовник показал ей волосаты кулак.

– Контакт с югославскими комсомольцами имела?

– Вечно у тебя одни пошлости на уме! Скотина! – вспыхнула девица.

И потянулась вставать. А любовник захохотал, глотнул из горлышка вермуту белого производства Канского винзавода и обнял ее.

Потом любовник лежал прямой и строгий. Он глядел в потолок, и по лицу его шаталась дикая ухмылка. Девица разглядывала на просвет свою клетчатую юбчонку.

– Отдала сто сорок динаров, а ты ее всю измял, – пожаловалась она и, глубоко вздохнув, положила голову ему на грудь.

– Мм, – нежно сказал любовник.

4. ПОЛЕТ

Очень неплохие у нас построили крупнопанельные жилые дома. Красивые. Видно далеко-далеко. Они возвышаются и очень красят наш и без того красивый город. Очень неплохие.

Но есть и беда: худо, ой как худо там насчет оборудований мест для сушки белья. Стирать-то можно вполне – имеется крупная кухня, ванная, туалет (раздельно). А вот насчет сушки – это я прямо скажу: «Плохо!»

На плоскую девятиэтажную крышу, например, совершенно не пускают. Там висит ба-альшой замок. А ехать вниз, на улицу, в новом лифте, со стираным бельем, ну это, товарищи, довольно-таки стыдно. Добро б ехал один, а то всегда ведь могут попасться попутчики. Дама, положим. Либо

какая-нибудь девушка. И вид стираного белья их может задеть, хотя они, возможно, и не подадут виду. Да и самому неловко.

Размышляя подобным образом, я тут как-то собрал все свое наличие: 6 простыней, 5 наволочек, 4 полотенца и прочее, что водится у самостоятельно живущего человека, выстирал в стиральной машине «Белка» (порошок «Лотос») и морозной лунной ночкой полез сушиться на балкон.

А на балконе еще с мая месяца стояла такая небольшая маленькая табуреточка. Я вообще небольшие маленькие вещи очень люблю. Она стояла. Я иногда на ней сидел, глотая воздух и глядя по сторонам. Интересно глядеть по сторонам. Один идет сюда, другой туда идет. И прочее.

Но по зиме маленькая табуреточка моя вся замерзла и даже обледенела вся, моя маленькая табуреточка. И меня томили мрачные предчувствия, когда я начал карабкаться с целью забить в стене гвоздок, растягивая бельевую капроновую веревку.

Дело маленькое, я забыл, что стена домов бетонная, и гвоздок, дело ясное, в такую стену мгновенно не лезет.

Гвоздок мгновенно согнулся пополам, а я, оскользнувшись на табуреточном льду, потерял равновесие. Пошатался я, пошатался я и стал падать вниз с балкона.

– Господи! Что же будет-то со мной? Не иначе как умру. Господи! Прощай все: любимая работа, будущая жена, на которой я бы мог жениться, бескрайние просторы родной Сибири, прощай и прочее все, что есть на Земле и в Сибири, прощай тоже. Ах, зачем я не уехал в прошлом году жить в Москву или в Ленинград – глядишь, все бы обернулось по- другому.

Так я думал, а сам тем временем уже упал до окон 8-го этажа.

И тут же был вынужден отвести глаза от этих самых окон 8-го этажа. Ибо там, в слабой полутьме, просматривался вечный и торжественный, простой и сложный, как сама жизнь, процесс зачинания новой жизни. Я отвел глаза и поспешил лететь дальше.

В 7-м этаже я увидел уже родившегося ребеночка. Он тщательно сидел на синеньком горшочке. Его глазки были аккуратно выпучены, а ручки сложены на коленках. Ребеночек бормотал заумные слова: «Бека, мека, камбердека».

Вид окон 6-го этажа от души порадовал меня. Невинное дитя играло там с котиком, водя перед носом животного конфетным фантиком. Умиляющиеся взрослые тенями колебались над играющими, а дитя и зверек баловались, ласкались. Я не на шутку растрогался. Я даже хотел подлететь ближе и остановить мгновение. Но $Ф = M \times A$, где $Ф$ – сила тяжести, M – моя масса, а A – ускорение. И моя масса ускоренно летела дальше вниз со страшной силой тяжести.

Как быстро бежит время! Вот уж и 5-й этаж. Тоже мальчик. И занят странным делом. В руках у него книга «Декамерон» и карандаш. Язык свешен набок. Мальчик пишет на полях: «Выучить наизусть». Книга – библиотечная. Мальчик – хулиган.

В 4-м этаже мальчика со всех сторон грозно окружили родственники. Папаша машет ремнем. Мамаша плачет. Бабушка трясется. Мальчик замахнулся на отца кулаком. Кулак – узкий. Лицо матери расплывчато, неясно. Грустная картина!

Третий и второй этажи я пролетел как-то очень уж быстро. И ничего определенного сказать не могу. Что-то там, по-моему, как-то так было довольно скучновато. Что-то он там такое писал. Стихи он писал? Да, стихи. Или нет – конспекты. Ходил. Курил. Вот он с букетом цветов. Ночь. Вокзал. Уходит поезд. Ходил. Курил. Думал. Фразы произносил. И был уже не юн. Да! Да! Не юн, не юн. Скучно!

Зато 1-й этаж ослепил и ошеломил меня. Я, признаться, никогда бы не подумал, что если буду падать с балкона, то меня ослепит и ошеломит именно 1-й этаж. Я всегда знал, что там помещается «Котлетная», где тесно стоят за окошком люди с подносами и ждут своей порции котлет. А тут – самый настоящий праздник для тела и души. Из окон «Котлетной» пробиваются бравурные звуки музыки. Молодежь, имея змеиную пластику, отплясывает современные танцы. Старейшие выпивают, закусывают и говорят о прошлом и будущем. Во главе сидит немолодой молодой человек в черном полуфрачке с красавицей по левую руку. Красавица в фате. Хари у многих красные. Свадьба.

Я был ослеплен, ошеломлен и отчаялся.

«Неужели это все? – в отчаянии думал я. – Неужели это все? Ну, неужели? Но ведь он же, так сказать, варил сталь, сеял рожь, клал кирпичи и изобрел кибернетику. Ну неужели же так?»

И тут же понял, что неправомочен я желать неосуществимого. Ведь я летел с обычного балкона обычного крупнопанельного дома. Вот, допустим, лети б я вниз с трубы какого-нибудь завода – гиганта индустрии или вывались я из окошка научно-исследовательского института, тогда – другой коленкор. А так – о чем говорить?

И я был полностью готов удариться о землю, испустить дух и пропасть, но тут, к вящему изумлению, обнаружил еще один этаж. Номер его мне неизвестен – нулевой, наверно, подвальный или цокольный. Не знаю.

Там, наверное, кочегарка помещалась. Хотя какие в новых домах кочегарки? Во всяком случае, этаж был залит серым отвратительным светом. И в этом свете находился человек, который, закатав левый рукав рубашки, занес над синею веной опасную бритву.

– Остановись! Что делаешь! Жизнь так прекрасно! Несмотря ни на что! У тебя ограниченный опыт! Верь мне! Жизнь – прекрасна! Умоляю! – хотел крикнуть я, но не успел, ибо раздался глухой удар и мое тело вошло в соприкосновение с земной поверхностью.

И... я не умер. Да! Представьте себе. Видите ли, там, внизу, рабочие рыли теплотрассу (это в зимний сезон, вот безобразие-то где!). Вот. Они рыли теплотрассу, а трубы из теплотрассы исчезли. И этим, как вскоре выяснилось, уже занимался ОБХСС. Виновные, как вскоре выяснилось, были обнаружены и строго наказаны по соответствующей статье УК РСФСР.

А вырытая теплотрасса оказалась, на мое счастье, вся заполненная теплоизоляционным стекловолокном, куда я и попал, отделавшись легким испугом (мне стало немного страшно) и незначительным материальным ущербом (лопнула кожа правого ботинка).

Страх мой немедленно совсем прошел, ботинок за смехотворно низкую цену починил сапожник Арам, сам же я еще долго чесался от попавших на тело иголочек стекловолокна.

Кстати, памятуя обстоятельства своего ночного полета, я долго приглядывался к соседям и все выспрашивал про самоубийц.

Но соседи оказались обычными людьми. Некоторые из них работали, некоторые учились, некоторые занимались общественной деятельностью. некоторые совмещали учебу,

работу и общественную деятельность. Воспитывали детей. Водили их в детсад. Другие дети сами ходили в другие учебно-педагогические заведения.

И про самоубийц в нашем доме никто ничего не знал, а из покойников на последний момент имелась всего лишь одна почившая от глубокой старости старенькая старушка.

Так что перед лицом неопровержимых фактов я должен признать, что большая часть из вышеописанного мне, несомненно, померещилась. У страха, знаете ли, глаза дикие. Летишь вниз, вот тебе и мнится всякая ерунда.

5. ХОЧУ БЫТЬ ЭЛЕКТРИКОМ

Пусть вам, молодежи, будет известно, что однажды я получил высшее образование и работал младшим научным сотрудником в Научно-исследовательском институте экономики и планирования предприятий отдыха и зрелищных сооружений. Сокращенно – НИИЭППОИЗС.

Моя работа заключалась в том, что, получив командировку и командировочные, я ехал на интересующее институт предприятие отдыха или зрелищное сооружение.

Там я беседовал с людьми о том о сем. Спрашивал работников, за что они получают зарплату и сколько. И они говорили.

А еще я брал существующее на предприятии отдыха или зрелищном сооружении положение о хозрасчете предприятия отдыха или зрелищного сооружения.

А также спрашивал, за что они получают премиальные и сколько. И они говорили.

Потому что, как всем известно, положение о хозрасчете как нельзя лучше ставит своей задачей обеспечить минимальную заинтересованность всех работников предприятия в достижении хороших производственных показателей, а также предусматривает повышение материальной заинтересованности всего коллектива в целом и каждого работника в отдельности в создании наилучших результатов работы при наименьших затратах обеспечения при соблюдении единства интересов всех звеньев предприятия и всего предприятия в целом.

Возвратившись из командировки, я тщательно комментировал ответы трудящихся, тщательно изучал структуру и деятельность предприятия, его хозрасчетные взаимоотношения с другими предприятиями, комментировал, изучал и лишь потом составлял под руководством дирекции отчет. Где на основе тщательного изучения, тщательно взвесив все «за» и «против», я делал вывод о соответствии или несоответствии существующей на предприятии системы хозяйственной деятельности общему уровню производства предприятий отдыха и зрелищных сооружений.

И в случае явного несоответствия я прилагал какой-либо новый вариант системы планирования и материального стимулирования с целью максимального усиления материальной заинтересованности трудящихся в повышении производительности труда, улучшения качества работ и экономии материальных ценностей.

И на этом своем поприще я добился некоторых успехов.

Вот, например, премирование на одном из зрелищных сооружений по существующему положению о премировании производилось по результатам работы за месяц в пределах наличия фонда заработной платы и фонда материального поощрения, образованного для текущего премирования трудящихся.

Фонд же материального стимулирования устанавливался руководителем предприятия на основании плана предприятия по труду и заданий по росту производительности.

А я взял да и предложил не более и не менее как изменить положение о премировании: производить премирование по результатам работы за каждую декаду месяца и чтоб премию давали каждое десятое число.

И вы бы посмотрели, каких успехов добилось предприятие, прислушавшись к моему голосу из НИИЭЙПОИЗСа, громадных успехов, несмотря на то что структура и величина фонда материального поощрения почти не изменились.

Вы бы только посмотрели! Я и сам бы с удовольствием посмотрел, но, к сожалению, мои рекомендации не были приняты. Эти самые сказали, что они лучше будут работать как-нибудь по-старому. Ну что ж, по-старому так по-старому. А только мне и до сих пор почему-то кажется, что они не до конца все понимают и не верят, что хозрасчет должен быть тесно связан с применением материального стимулирования работников и что это – основной метод экономического руко-

водства предприятиями отдыха и зрелищными сооружениями, так как вовлекает в борьбу за экономию широкие массы трудящихся.

Так я и жил. Работой своей и жизнью был немного доволен. Работник я был сами видите какой, но это еще ничего не значило. Дирекция, например, меня ценила как человека исполнительного, знающего свое дело и свое место.

Только однажды приходит к нам в отдел машинистка по имени Оля и просит починить электроплитку.

А надо сказать, что была поздняя осень. Все птицы уже очень давно улетели на юг, наступили холода, и налицо имелись факты нарушения местными организациями сроков начала отопительного сезона. Отопление не работало, и в домах, и у нас в НИИЭППОИЗСе стоял собачий холод.

Синие сотрудники сидели прямо в пальто и тряслись. Трясся и я. И вот так я сидел и трясся, когда вдруг открылась дверь и к нам в отдел зашла машинистка по имени Оля и попросила меня починить электроплитку.

Я же в жизни никогда плиток не чинил. Я ничего не чинил. Я вообще не знал, откуда берется электричество. Это, может, для меня самая большая загадка в жизни. Что это еще за понятие такое – «электроэнергия»? Ну, понимаю, течет вода или горит уголь. Это действительно энергия. но при чем здесь лампочка, освещающая наше учреждение? Не понимаю. Я часто думал об этом и не понимаю. А то, что я в школе учил про электричество, так это как-то не так. Я в это как-то не верю.

Но Оля, она такая милая. Я в нее сразу влюбился. Я не мог иначе, поэтому сказал:

– Давайте скорей сюда вашу плиточку, Оля, – клацая от холода зубами и сглатывая слюну.

И стал своими синими руками что-то там налаживать.

И можете себе представить – починил. Наладил. Я починил плитку, не зная, что такое электричество, и не умея ничего чинить.

И пошел в машбюро. И открыл дверь и, увидев Олю, прошептал:

– Вот она. Ваша плиточка. Я починил ее.

Оля тут же включила. Затрещала нагревающаяся спираль. Тут сиянием радостной улыбки озарилось лицо юной девушки.

Оля сказала:

– Ой, спасибочки. Так погрейтесь с нами, Василий Николаевич.

И остальные машинистки сказали:

– Да, да. Погрейтесь, погрейтесь.

Но я не стал греться. Я ушел. Такова была сила моей внезапной любви к Оле, что я не стал греться. Я ушел к себе мечтать на холоду.

Я мечтал, в моем видении имелись картины, не имеющие ничего общего с обыденной жизнью, но тут раздался стук в дверь и появилась старушка, похожая на американку русского происхождения. Это была библиотекарша.

– Я слышала, – сказала она, протягивая мне отражательный электронагреватель.

– Но я... – начал я.

– Умоляю! – старушка закатила глаза, и я взял предмет.

Скажу вам прямо. Я его починил. Я к обеду починил: 1) плитку Оли, 2) электронагреватель старухи, 3) плетку Елены Тимофеевны, 4) плитку Александра Захаровича, 5) электрический камин дирекции, 6) «козел» завхоза (спираль на кирпичах).

Кроме того, я из остатков материала и для себя небольшую штучку сочинил. Для обогрева. Мне ведь тоже греться надо.

На моем письменном столе неизвестно откуда вдруг появились кусочки проволоки, кусачки, пассатижи, отвертки, молотки, изолента, дрель, молоток, гаечный ключ, вольтметр, амперметр, спирали, жесть, рубильники, выключатели и розетки.

И комнаты учреждения наполнились теплом. Все включили нагревательные приборы. Все радовались и грелись.

Но радовались, но грелись не так уж и долго, как хотели, потому что приборы включили все, приборы включили сразу, и от перегрузок в сети потух свет.

НИИЭППОИЗС погрузился в глубокую тьму. Печальное зрелище являл собой НИИЭППОИЗС. Темно было. И в темноте слышались лишь стоны и всхлипы и плач стонущих и всхлипывающих. Холод вливался обратно в рабочее помещение.

– Что делать?! Как быть?! – такие раздавались крики.

И в эту грустную минуту под влиянием каких-то неизвестных сил меня вдруг осенило.

Я – человек, не знающий, откуда берется электричество, не понимающий, как это из угля или воды можно получить электроток, вдруг почувствовал себя ответственным за судьбы всех своих коллег.

Поэтому я принял командование на себя.

– А ну-ка немедленно выключить все отопительные приборы! – крикнул я.

Все удивились и выключили.

– А теперь дайте мне свечу!!

Дали и свечу.

И я, повинуясь внезапному озарению, спустился вниз, в подвал, где – дверь с черепом и костями, и открыл дверь с черепом и костями и надписью: «Стой! Посторонним вход воспрещен!»

Зашел, посветил и увидел один маленький рубильничек. Там было много рубильничков, рычажков и кнопочек на мраморной доске, но я увидел только один. Маленький рубильничек, а от него слева ВКЛ., а справа – ВЫКЛ. И я дернул рычажок сначала на ВЫКЛ., а потом на ВКЛ. Установил на ВКЛ., и синей змейкой мелькнула в полутьме искорка, и свет и тепло опять с радостью залили комнаты НИИЭППОИЗСа.

Свет и тепло с величайшей радостью залили помещение, и все сотрудники радовались, и все сотрудники хвалил меня.

Машинистки принесли мне стакан чаю, а завхоз конфету «Белочка».

Но я есть и пить отказался. Я подождал, когда свет и тепло окончательно укрепились, и лишь тогда пошел прямо в дирекцию.

Там и говорю:

– Знаете что, давайте я лучше буду работать у нас электромонтером.

А мне отвечают:

– Да, вы знаете, мы сегодня внимательно наблюдали за развернутой вами деятельностью, сами хотели вам это предложить, тем более что та работа, которую вы исполняете, есть никчемная и никому не нужная, так как предприятия отдыха и зрелищные сооружения могут работать и без ваших идиотских советов. Сами хотели предложить вам вечно чи-

нить электричество, сами хотели, да стеснялись.

– Чего тут стесняться? Бросьте вы! Я хочу быть электриком. Только, чур. Числиться и получать зарплату я буду по-прежнему, как младший научный сотрудник.

Смеются.

– Ах, зачем вам вся эта мишура? Ведь будучи электриком, вы будете получать на 20 рублей больше, плюс премиальные, плюс калым.

Тут я немедленно стал электриком и работаю им до сих пор. О том, как я работаю, свидетельствует моя фотография на Доске почета. А недавно про меня была заметка в стенгазете. С фотографией тоже. Заметка называлась: «ОН ДАЕТ НАМ СВЕТ И ТЕПЛО», а на фотографии я был изображен в рабочем комбинезоне и с гаечным ключом. Вот как в жизни человеком играет случай и внезапная любовь. Ведь если бы Оля не зашла, то я, наверное, и сейчас сочинял бы что-нибудь про изменение плановых показателей производства согласно приказам руководителя предприятия. А так – даю свет, тепло, нашел свое место в жизни, тем более что НИИЭППОИЗС наконец- то разогнали за полной его ненадобностью, и я оказался живущим впереди прогресса, приватизировав свое рабочее место за взятку в 10 американских долларов США.

6. СИЛА ПЕЧАТНОГО СЛОВА

Один поэт сосредоточенно ехал в автобусе на публичное выступление перед народом. Поэт очень хотел сосредоточиться, чтобы выступать перед народом правильно: взволнованно и искренно. Но ему очень трудно стало сосредоточиться, потому что у него над ухом вдруг раздался пошловатенький, сальный и даже, можно сказать, грязный разговорчик, который вели два шустрых молодых человека и ловкая бабушка.

Мерзости, разнообразные по тематике и калибру, вливались в ухо поэта, как когда Гамлетова отца отравил его же собственный братец, вливая цикуту.

Поэт очень хотел сосредоточиться. Поэт закрыл глаза и думал о том, что за выступление он получит семь рублей

сорок копеек, а если примут к концу года членом Союза писателей СССР – то будет получать за выступление далеко и не семь рублей сорок копеек, а целых пятнадцать рублей ноль- ноль копеек. И он соображал, что к концу года его в союз непременно пустят, потому как книжка стихов «Красное солнце» вышла в прошлом году. Если, конечно, не накладет ему в карман какой-нибудь московский сукин сын.

«О, эти москвичи! – хотел прошептать поэт. – У них там все свои. Совсем не дают ходу провинциалам, несмотря на то, что мы ведь ближе к русской земле! Какие бессовестные! Ездят в собственных машинах по асфальту».

Так хотел прошептать поэт, но плавный ход его мыслей был сбит неприятнейшим, отвратительнейшим, дребезжащим смехом молодых людей и веселыми всхлипываниями бабушки. Веселье явилось реакцией на последнюю фразу бабушки:

– Эх, сынки! Да пускай эта будет хоть овечья, лишь бы душа была человечья!

– Ну ты, бабка, даешь, курва! – ржали молодые люди. – Ты, видать, в царски годы в бардаке работала!..

У поэта кровь подступила к голове. Он резко развернулся и сделал нервное замечание:

– А ну – тихо! Вы не одни едете в автобусе! Не мешайте!

– Сердитый какой дядька! – с ужасом сказала бабушка. – Сердитый! Важный какой! Прости, Господи!

И вьюном скользнула на заднюю площадку, не желая участвовать в надвигающихся грозных событиях.

Пожалуй, и правильно сделала. Потому что молодые люди с наслаждением засверкали фиксами.

– Вася, молчи! Ты слышал, что тебе сказал товарищ? – говорит Коля Васе.

– Ништяк, Колян! – отвечает Вася Коле. – Я уже молчу, Колян! Да только я могу и еще кой-кому хавальник завесить!

И при подобных словах из статьи уголовного кодекса он еще и глядел на поэта в упор.

А у того в голову вместе с кровью поступило столько много раздражения, что он забыл всякую безопасность и завопил:

– Подонки! Фашисты! Вот из таких, как вы, Гитлер формировал свои легионы!

Коля и Вася сосредоточенно смотрели на расходившегося сочинителя, а потом занесли два чугунные кулака. Но им опустить кулаки не дали, ибо многие пассажиры стали кричать следующий текст:

– Перестаньте скандалить! Перестаньте скандалить!

– Ну, погоди, заяц! Вот щас со скотовозки выйдем, так там и посчитаемся, – посулились, тяжело дыша, Коля с Васей.

А пассажиры опять:

– Да перестаньте же скандалить! Тихо людям с работы ехать не дают! Действительно, скотовозку устраивают из «Икаруса», хулиганы.

А кто хулиганы – уж и непонятно.

И вообще – многое непонятно. Чего, например, так-то уж было орать-то? И тому, и тем, и этим? А?

Ну, в общем, дальше случилась поэтова остановка, он и полетел, а хулиганы, естественно, за ним.

– Стой, падла! – отвратительно кричали они.

Но поэт стоять не стал, а наоборот – сразу прибежал на летнюю эстраду Парка Культуры и отдыха им. Семашко, где его уже ждали.

Поэт как увидел, что его уже ждут, то он сразу повеселел и сразу выпил два стакана простой воды. После чего сказал:

– Дорогие друзья! Слушатели и слушательницы! Молодежь! Вы собрались здесь ради одной нашей общей страсти, ради – Литературы! Что ж, пусть зазвучат стихи!

И стихи зазвучали, усиленные парковыми громкоговорителями:

Я плавниками приникаю
К Российской искренней земле...

И дальше. До конца. Довольно длинное стихотворение про Добро, Зло и Родину. Что мы все должны ежесекундно делать Добро. А кто если ежесекундно не делает Добро, то он, значит, тем самым уже делает Зло. И себе и родине. Родине в первую очередь, а себе – во вторую. Или наоборот – я сейчас уже точно-то уж и не упомню что- то... В заключение поэт объявлял себя крестоносцем Добра и всех вместе звал за собой в поход за Добро, обещая крупные и интересные сражения.

А наступал вечер. И лепестки парковых фонарей налились молочным светом, и в темных кустах шептались, и на синем небе высыпала звездная мелочь.

Поэт спокойно выслушал рукоплескания и посмотрел вниз. Впритык к эстраде стояли они, народ. Парни, девки, мужики, бабы, малые ребята.

Там же находились и преследователи его, Коля с Васей. Не стану врать, что они вытирали глаза кулаками, но они стояли смирно, с лицами сосредоточенными и одухотворенными. Они стояли разинув рты, и было видно, что бить поэта они сегодня уже не станут.

Убедившись еще раз в силе печатного слова, поэт окончательно успокоился, прокашлялся, вытер платком мокрый лоб и с блеском закончил свое выступление.

7. СТОЛЬКО ПОКОЙНИКОВ

За 150 рублей в месяц я уже который год изучаю жуков в одном из научно-исследовательских институтов местного значения.

Работа мне нравится. Жуки не разбегаются, сидят в клетках. Иногда умирают, и нам привозят новых жуков. Тихие жуки. Вялые жуки. Бодрые жуки. Я прихожу на работу, скушав булочку с помадкой и стаканчик кофе с молоком, надеваю халат – и скорей к жукам.

А тут у нас помер один одинокий сотрудник. Мы, посовещавшись с товарищами, организовали комиссию, чтобы похоронить его чин по чину. Коллектив пошел навстречу: были собраны немалые деньги, причем многие добавляли от себя лично, невзирая на довольно низкие ставки нашего института.

И я был направлен в морг, чтобы, произведя необходимые формальности и заплатив, подготовить тело нашего коллеги к захоронению.

А была зима. И вечер. И, знаете ли, неуютно так дул ветер и сдувал с крыш тучи снега, создавая искусственный снегопад.

А морг помещался на улице Карла Маркса.

Я толкнул калитку и по протоптанной тропе пошел к домику, светившему желтенькими окошечками.

В первой комнате было тихо и чисто. Среди сугубо медицинской обстановки, положив голову на кулаки, дремал мужчина, который потом оказался нервным.

Я в кратких выражениях объяснил ему цель своего визита.

– У вас гробы есть? – спросил я.

– У нас гробы есть, – ответил служитель, не меняя положения.

Тогда я объяснил ему, что его труд будет хорошо оплачен. Что я располагаю специальными суммами, которые будут вручены ему без каких-либо квитанций либо расписок.

При слове «суммы» глаза мужчины широко открылись. Он встал и сказал дрогнувшим голосом:

– Дак. Оно – конечно. Мы ж – люди.

– А он – сирота, – сказал я. – У него никого нету. У него была мать, но она – умерла. У него была жена, но она его бросила.

– Конечно, конечно, – бормотал служитель. И, накинув халат, стал идти в другую комнату. Я хотел последовать за ним, но он остановил меня властным жестом.

– Вам туда не надо.

– Почему? – возразил я. – Я – нормальный человек. Я сам многое пережил.

– Дух там особенный, и часто не выдерживают, – тихо сказал служитель, оглядевшись по сторонам.

Я тогда еще подумал, что определенно работа накладывает отпечаток на человека.

– Нет, знаете ли. Я – не мальчик. А потом – вы там один долго провозитесь. Разве вам легко одному его опознать?

– Уж, наверное, опознал бы, – вздохнул служитель, пропуская меня вперед.

Скажу сразу, что я ничего не помню, как там внутри все устроено. Столы помню. Освещение тусклое. Зябко. Формалин. И – дух.

– Вот этот, пожалуй, – сказал я, осторожно убрав с лица покойного простыню.

– Ну, стало быть, сделаем, – бормотнул санитар и резко дернул труп за ноги.

Голова ударилась и стукнулась.

– Осторожней же вы! – невольно прикрикнул я.

А я и не знал, что санитар нервный.

Нервный санитар опустил руки по швам и расплакался.

– Вы знаете, сколько их у меня? А? Оглянитесь вокруг! Оглянитесь!

– Я не хочу оглядываться. Я вам плачу деньги, а вы делайте свое дело.

– У меня ж их массы. Вы знаете, сколько их у меня? И сколько всего на свете покойников? Вот мы сейчас с вами тут стоим, а на земном шаре – миллионы покойников.

– Но ведь в этот же момент родились и миллионы новых детей, – возразил я, но санитар не слушал.

– Что я могу поделать? Я стараюсь, но столько покойников! Или вот при вскрытии иногда тоже ругаются. Так ведь вы вот рыбу, например, на кухне потрошите – у вас и то... Вот возьмите, например, столовые, вы бывали в столовых на заднем дворе?

За эти слова я размахнулся и сильно дал ему в зубы. несчастный горько зарыдал, прикрывшись рукавом серого халата.

Я обнял его за плечи и вывел из обоих помещений на воздух и мороз. Мы стояли, обнявшись, на улице Карла Маркса под звездами и метелью.

– Вам нужно уходить с этой работы. С вашей впечатлительностью нельзя работать на этой работе, – сказал я.

– Не могу! Не могу! – простонал санитар. – Я ничего не могу.

Впрочем, вскоре он пришел в себя. И очень аккуратно выполнил все необходимое, получив заранее оговоренное вознаграждение.

Похороны удались. Погода успокоилась. Плавно падали снежные хлопья. Голос председателя местного комитета профсоюзов дрогнул от волнения. Он бросил первую горсть.

И застучали, застучали мерзлые комья о крышку гроба нашего одинокого коллеги.

Наши женщины тихо плакали, и их можно было понять.

8. СТАТИСТИК И МЫ, БРАТЬЯ СЛАВЯНЕ

Тут некоторое время назад один сукин сын крутился у нас на улице Достоевского по субботам и воскресеньям.

Летом был одет в молескиновый костюмчик, а зимой – в тулуп. Вернее, не тулуп, а как летчики носят – на меху и на брезенте. Купил, наверное, у летчиков на барахолке.

Ему сантехник Епрев говорит:

– Ты что это у нас шляешься, козел? Тебе что – других улиц мало? Иди отседова.

А он в ответ:

– Нет, я все-таки попрошу вас вспомнить национальность вашего дедушки. У вас правильное русское лицо, но что-то все же вызывает мои сомнения.

Епрев тогда ему показывал кулак.

– Нет, вы не подумайте, что я... что-либо предосудительное. Меня даже и фамилия ваша не интересует. Но скажите честно – ваш дедушка случайно не был еврей? Или грек?

Епрев, хорошо себя зная, после этих слов сразу же уходил, опасаясь, что не выдержит и потом до конца дней своих будет петь лагерные песни.

А субъект разводил руками.

– Видите. Никто не хочет помочь мне в моем важном деле.

– Да кто же ты все-таки есть такой? – интересовались мы.

А вот этого-то вопроса тип терпеть не мог. Он тогда сразу складывал все свои инструменты. А они у него были: карандаш и ученическая тетрадка за две копейки. И начинал плести чушь вроде:

– Я? Вы спрашиваете, кто я? Я – обыкновенный статистик.

Но я его для ясности все же буду называть сукиным сыном, а не статистиком. Так оно вернее, да и впоследствии подтвердилось.

Вообще-то его в милицию пару раз сводили, конечно, потому как ошибочно думали – вор.

Его мильтон спрашивает:

– Вы с какой стати ходите по дворам, гражданин?

А тот бормочет под нос, что известно-де, с какой целью.

Тут ему Гриня (мильтон) и выкладывает:

– А вот граждане считают, что вы хочете чего-нибудь

спереть, с той целью и шатаетесь. И смотрит на него очень внимательно, впиваясь взглядом, как гипнотизер.

Сукин же статистик ему очень спокойно:

– Да. Это очень распространенная ошибка. Меня часто принимают не за того, за кого надо. А я – ученый.

– А документики у вас есть, уважаемый гражданин ученый?

– Есть.

И достает паспорт.

Ну, Гриня смотрит. Паспорт как паспорт. Прописка есть, судимостей нету.

– Ступайте, – говорит. – И смотрите, чтобы люди на вас не жаловались.

А ему только дай волю!

– Так вы утверждаете, что ваш дедушка – сосланный донской казак чистых славянских кровей? Но ведь ваша прабабушка – тунгуска, как вы выразились на прошлой неделе.

Все, язва, помнил. У него на каждого было заведенное дело, где имелись родственники в старину до 5-го человека. Дальше никто вспомнить не мог.

Раз статистик Орлова попрекнул, что тот ничего не знает про свою прабабушку. Орлов обиделся и кричит:

– Отвали ты, волк! Я про своих псов все тебе расскажу. Они – колли, сеттер и пинчер. Они медали имеют. И могу тебе хоть до пятого, хоть до десятого кобеля. А ко мне ты чо привязался? Я тебе чо – кобель?

И тут вы можете заметить, что мы с ним разговаривали довольно грубо. Это верно, грубо. А как еще прикажете с ним разговаривать, когда он шатается под окнами и, если кто выйдет, так он сразу к нему.

– Скажите, пожалуйста, ну а сами вы что думаете? Считаете себя славянином?

Как бы вы ответили на подобный идиотский вопрос? Ясно, что и отвечали по-разному: кто – не знаю, кто – подумать над, кто – какая разница.

А Шенопин, например, долго не думая, взял да и завез статистику в глаз. Он, правда, потом долго извинялся. Пьяный, говорит, был. Простите-извините, товарищ статистик. И все ему рассказал про своего прапрадедушку – пленного француза.

– А прабабушка у меня была донская казачка.

– Что-то вас тут шибко много, донских казаков, – только-то и заметил сукин сын, трогая пальчиком незаживающий шенопинский фингал.

– Ты бы шел куда на другую улицу. Ты ведь нас уж вдоль и поперек изучил.

– Почти! – статистик поднимал палец. – Почти, но не совсем. Вспоминайте, вспоминайте, граждане. У меня – теория.

Уж его и умоляли:

– Да ты глухой, чо ли? Иди на другую улицу.

– Не мешайте мне работать! – сердился этот паразит. – На другие улицы я хожу по другим дням. Вы, может, думаете, что вы у меня одни?

Уж его и жалели:

– Может, тебе денег дать?

– Не надо мне ваших денег. Мне их платит государство, – отвечал этот наглец, заползший к нам, как гадюка на теплую грудь.

Вот таким манером он, значит, шнырял, вынюхивал, выспрашивал, а потом исчез.

Да! Исчез – и все тут. Будто его и не было. Только хрена он совсем исчез. Вот вы сейчас увидите.

Мы сперва даже немножко загрустили. Привыкли-таки. Раз собрались все, в домино стучим, и кто-то говорит:

– Интересно, куда это наш дурак задевался?

– Какой еще дурак? Толя-дурак? – не разобрался Епрев.

– Да нет, статистик.

– А-а, статистик. А я думал – Толя. Помните Толю? Приедет с веревкой на водокачку. Длинная веревка и намотанная на руке. Ему Лизка воду в кадушку льет, а он веревку разматывает. Вода налитая, веревка размотанная. И пока веревку назад не смотает – не уедет. Фиг его с места сдвинешь.

– Уж это точно, – поддержал Епрева Герберт Иванович Ревебцев. – Сильный был черт, а добрый. Одного не терпел. Мы его, пацанята, спросим: «Толя! Жениться хочешь?» Тут он сразу нас догоняет и рвет уши.

– Рвал, рвал, – поддержали бывшие пацанята.

– А где он?

– Статистик?

– Нет, Толя.

– Толя умер.

– А-а. Точно. Толя умер. А где же статистик?

Где статистик? А вот слушайте, где статистик.

Раз Епрев получил хорошую премию и купил на ее основную часть транзисторный приемник «ВЭФ-0201», очень замечательной конструкции. Вышел вечерком во двор и включил для молодежи современную песню:

Говорят, что некрасиво, некрасиво, некрасиво
Отбивать девчонок у друзей своих.

А наша молодежь, блестя фиксами и тряся патлами, прыскает, потому что они во дворе все подряд перекрутились, не говоря уже об улице.

Катрин у них такая есть, так она с Ропосовым-сынком гуляла, а потом приходит к Ропосову-старику и – в слезы. Так, мол, и так. Ропосов сына – за хобот, а тот – я не я и собака не моя. А дело это заделал дворника Меджнуна племянничек Рамиз. А моя, говорит, подруга, милый папочка, тетя Зина из «Светоч» магазина. Но она к вам жаловаться не придет, не боитесь. Рифмач! Все друг с другом перекрутились. Тьфу!

И вот кто-то из них говорит товарищу Епреву:

– Пошарь-ка, отец, на коротких. Битлов послушаем.

А Епрев – человек добрый. Он включает короткие, но и там то же самое:

Ну, а только ты с Алешкой несчастлива, несчастлива
И любовь (что-то там такое) нас троих.

– А почему здесь то же самое? – интересуется Епрев.

– Да не базарь-ка ты, дядя Сережа, а дай нам послушать, – отвечает молодежь, и воет, и подпевает, и качается.

Тогда Епрев, назло молодежи, передвинул рычажок, и вдруг мы все слышим ужасные следующие слова:

– В частности, обследование ряда улиц города показало, что среди его жителей очень мало славян. А на улице Достоевского, например, процент неславян достигает ста процентов.

– Это у нас-то, сукин ты сын! – взревели мы.

– Интересно, что все они, считающие себя русскими, на самом деле являются...

И тут – хрюк, волна ушла.

– Крути, Сережа, верти, Епрев! – закричали мы.

– Крути! Братья славяне, да что же это такое? Прямая обида! – закричали мы.

Крутил Епрев, вертел, лазил по эфиру, но волна оказалась уж окончательно ушедшая.

Он тогда перевел на средние, и там в одном месте была тишина и треск, а потом говорят:

– Работает «Маяк». Сейчас на «Маяке» вальсы и мазурки Шопена.

А на кой нам, спрашивается, эти вальсы и мазурки, когда заваривается такое дело? Если всех нас, достоевцев, обвиняют, что мы – не русские. А кто ж мы тогда такие?

Так дело не пойдет. Мы так не оставим. Надо написать, куда следует, чтоб ему указали, если он ученый, что так себя вести нельзя. Чтоб его пристрожили, заразу, – так порешили мы.

И написали бы единодушно, если бы не Ревебцев. Он слушал, слушал, а потом повернулся и молча пошел к себе домой.

– Ты, Герберт Иванович, куда же это? А писать письмо?

– Не буду я писать письмо. Коли вы такие писатели, так вы и пишите. А я пойду спать.

Но мы попридержали его и велели объясниться.

А он уже глядел на звезды.

– Что тут объяснять, – пробурчал Ревебцев, глядя на звезды, – Вы о том не подумали, а вдруг он – оттуда?

– Это еще откуда оттуда?

– А вот оттуда. Вы ж не знаете, что это был за человек и что это была за волна. Волны разные бывают.

– Боже наш! Неужто и в самом деле мы проявили слепоту и близорукость? А вдруг он и правда какой шпион? Все хиханьки да хаханьки, а он – шпион, а? – зашептали мы и тоже стали глядеть на звезды.

Небо было черное, звезды – белые, а за воротами уже визжала молодежь, принявшаяся за свои обычные ночные штучки.

9. КУРЯЧЬИ НОЖКИ

ВОДЕВИЛЬ ИЗ ЖИЗНИ Н.Н.ФЕТИСОВА

ДЕЙСТВУЮТ:

ФЕТИСОВ – известный описатель.
КУРДОЯК – известный ученый.
КУРЯЧЬИ НОЖКИ – неизвестный предмет космического назначения

Сцена представляет собою глухую осеннюю ночь. Порывы дикого ветра сотрясают ветхое жилище Н.Н.Фетисова, похожее на японское. По полу сами собой катаются звонкие пустые бутылки из-под вина, пива, водки, джина и других хороших напитков. Фетисов мечется по комнате со вздыбленными волосами и в засаленном махровом халате. Временами вглядывается в бурю.

Действие происходит в ваши дни.

ФЕТИСОВ (*останавливается, поет*).

Тоскливо жизнь свою я прожил.
Настала страшная пора.
Я щас ея всю подытожил
И вижу – на погост пора.
И вижу – на погост пора.

Писал я глупые баллады
И архиглупые стишки,
Где все описаны, как гады,
У всех замечены грешки,

А седни розочку я встретил,
Не бабу, а простой цветок,
И умилился, сам стал светел,
Но описать ея не смог!
Но описать ея не смог!

Уж я хватался за бумагу,
Уж я держался за перо,
Желая проявить отвагу,
Какой не видели давно.
Какой не видели давно.

Желал я описать розу
и соловьиный сад,
Но увидел, что не в силах,
ибо я – дурак,змей и гад.

(Взволнованно ходит по сцене).

ФЕТИСОВ (*переходя на прозу*). Да, я увидел полное свое несоответствие окружающей меня новой светлой эпохе прекрасности жизни. Мое сердце пустынно! В нем скрежещут скальные камни и змеи, которые ползают по этим камням, страшно шипя. К тому же я страшно голоден, отнюдь не наевшись в кооперативной столовой говенного питания. Вместо дорогой розочки, о которой я думаю, мне мнятся курячьи ножки, обжаренные в маргарине. Думаю про розочку, а мнятся курячьи ножки.

(И вдруг, в результате страшного раската грома, на сцене появляются свободно парящие курячьи ножки.)

ФЕТИСОВ (*раскрывши рот, не верит своим глазам, а потом начинает жарко молиться*). Господи, Господи Преблагий! За что караешь? Допился я-таки! Делирий! Делирий! Делириум! Господи! Господи! Прости прегрешения мои. Чур! Чур!

(Строго машет на ножки рукой. Крестит их. Ножки приближаются.)

ФЕТИСОВ. Господи!

(С горящими глазами вжимается в угол.)

ФЕТИСОВ. Господи! Предупреждал ведь меня врач людей и птиц толстый Царьков–Коломенский! Однако пахнут-то как! Это называется вкусовая галлюцинация. Я знаю, я читал. И Царьков–Коломенский объяснял, когда мы с ним неделю пили. *(Принюхивается).* Пахнет-то как! И сами, как живые! *(К зрителям).* И если у меня делирий, тогда у вас что? Ведь вы их тоже видите? Курячьи ножки.

(Зрители молчат).

ФЕТИСОВ. Видите или нет?

(Зрители молчат, опасаясь, что их выведут из зала и тем самым лишат интересного зрелища.)

ФЕТИСОВ. Молчите? Ну и молчите! Вам говорят «говори» в рамках свободы гласности, а вы молчите. Может, вас и самих- то нету? Может, все вы – тоже делирий? Может, все кругом делирий? Однако!

(Принюхивается.)

ФЕТИСОВ. Мистика!.. Продукт иррационализма!..

(Трогает ножки пальчиком.)

ФЕТИСОВ. Ай! Материалистическая мистика! Овеществленный продукт идеализма! Или делирий? Или что? Или все, вместе взятое? Я запутался, Господи!

(Вдруг неожиданно для всех, а в первую очередь для себя самого, жадно поедает курячьи ножки.)

ФЕТИСОВ. Уф! Вкусно! И никакая это не мистика. Я всегда говорил, что Господь есть. Вот он и не оставил меня в моем сиротстве... Не удивляюсь. Я всегда говорил, что я – честный человек, однако мне никто не верил. Не удивляюсь. Благодарю, но не удивляюсь.

(Берет ручку, бумагу, чернильницу.)

ФЕТИСОВ. Уф! С ужином покончено, теперь можно и про розочку...

(Опять появляются курячьи ножки.)

ФЕТИСОВ *(ласково).* Добавка. Спасибо, Господи! По совести сказать, я немножко не наелся. А Господь знает все!

(Съедает ножки.)

ФЕТИСОВ (*ковыряя в зубах*). Немножко жестковатые, но ничего. Спасибо! Ну, начинаю описывать розочку.

(Опять ножки.)

ФЕТИСОВ (*растроганно*). Ах, как ты, Господи, любишь меня! Пожалуй, скушаю еще немножко, для бодрости.

(С видимым усилием съедает ножки.)

ФЕТИСОВ *(закрыв глаза).* А теперь представим... Соловей поет при бледной ночной луне, которая постепенно восходит и освещает своим зеленым сияньем красивый куст, весь усыпанный алмазной росой. Луч стыдливо ласкает сочные листья и шипы, а сам тем временем приближается к сокровенному месту – алому бутону милой ... розочки...

(Открывает глаза и видит вновь появившиеся курячьи ножки.)

ФЕТИСОВ *(ласково).* Господи, ты, по-видимому, немножко ошибся. Эти ножки предназначаются, наверное, какому-нибудь другому, тоже достойному человеку. Я уже совершенно сыт. Учти, я съедаю их в последний раз.

(Совсем через силу съедает ножки.)

ФЕТИСОВ *(закрывает глаза).* И вот уж зеленый луч, осторожно обегая все пространство жаркими поцелуями, впитывается во всю исходящую желанием... розочку...

(Гром, стук, и опять курячьи ножки.)

ФЕТИСОВ (*раздраженно*). Мне в конце концов надоело. Я не стану есть. Я – сытый. Я сказал, что я – сыт.

(Угрожающий раскат грома.)

ФЕТИСОВ *(потише)*. Господи, ну я же правда не могу. Да, я постоянно голоден, но ведь все имеет свои конечные пределы. Я не могу. Я буду блевать.

(Но все же съедает ножки.)

ФЕТИСОВ *(слабеющим, измученным голосом)*.. Увы, черная туча застлала ясный горизонт. Лунный луч съежился, опал, сила его ослабла. И с презрением, как русская женщина, смеется над ним розочка.

(Опять появляются ножки.)

ФЕТИСОВ (*обреченно*). Что ж, буду блевать.

(Изготавливается блевать. Однако тут на сцене появляется ученый КУРДОЯК, *дотоле сидевший в первом ряду и своим внешним видом вызывавший недоумение зрителей - даже и видавших виды. Не обращая ровным счетом никакого внимания на измученного* ФЕТИСОВА, *он гоняется за ножками, пытаясь поймать их сачком. Под мышкой у* КУРДОЯКА *микроскоп.* КУРДОЯК *напевает патриотическую песню.)*

КУРДОЯК *(поет)*.

Я – ученый Курдояк.
Всем невежам – страшный враг.
Если встречу я невеж,
Говорю: – «Ваш вид несвеж».
Если встречу дурака,
Говорю ему: «Пока!»
К сожаленью, за «пока»
Часто мнут мине бока,
Сыпют в кофе табака
И другую грязь,
Коей имя – мразь!

ФЕТИСОВ *(решившись)*. А, гори оно! Один раз живем!

(Съедает ножки... КУРДОЯК *изумлен. Смотрит на* ФЕТИСОВА *поверх очков.* ФЕТИСОВ *не замечает его.)*

КУРДОЯК. Вы зачем съели ножки?

(ФЕТИСОВ *вздрагивает, дико смотрит на* КУРДОЯКА.)

ФЕТИСОВ. Господи, ну и рожа! Вот это, наверное, действительно у меня делирий начинается, уже совсем, видать, окончательно.

КУРДОЯК. Я вас спрашиваю – вы зачем съели ножки?

ФЕТИСОВ *(иронически).* Спрашивает... Нашел дурака, чтобы я с голосами разговаривал...

КУРДОЯК. Что это вы там бормочете?

ФЕТИСОВ. Поговорить с ним, что ли, для смеху?.. Ну, съел.

КУРДОЯК. Зачем?

ФЕТИСОВ. А жрать захотел да и съел.

КУРДОЯК. Но позвольте, разве вы не могли поужинать чем-либо менее ценным для науки?

ФЕТИСОВ. Тебя, дурака, не спросил.

КУРДОЯК. Извините, я не дурак, я далеко не дурак.

ФЕТИСОВ. А ты кто?

КУРДОЯК. Я – ученый Курдояк, всем невежам страшный враг.

ФЕТИСОВ. А кто тогда дурак?

КУРДОЯК *(решившись).* Ты!

ФЕТИСОВ. Что?! Во-первых, не «ты», а «вы» по правилам этикета, а во-вторых – на, получай, фантом проклятый!

(Бьет КУРДОЯКА *палкой по голове.* КУРДОЯК *издает жалобный стон и плюет в* ФЕТИСОВА *сильной слюной.)*

ФЕТИСОВ *(пробуя слюну пальцем).* Однако, и этот живой. Однако!

(Тоже плюет в КУРДОЯКА. *Ученый замахивается микроскопом.) Драка крепнет, растет...*

КУРДОЯК. Я – кандидат...

ФЕТИСОВ. Я очень рад.

КУРДОЯК. Естественных наук.

ФЕТИСОВ. Таких видал я сук.

КУРДОЯК. Милицию скричу!

ФЕТИСОВ. А мы тогда к врачу.

КУРДОЯК. Видать, не все у вас щас дома?

ФЕТИСОВ. Ага! Вот справка из дурдома.

КУРДОЯК *(на ходу изучая справку).* Подвержены алкоголизму?

ФЕТИСОВ *(гордо).* Да, я страдаю за Отчизну.

КУРДОЯК. Совсем, однако, запились...

ФЕТИСОВ.

Нет, просто мысли завелись,
Что нужно сделать описанье
Предметов, случаев, людей
Во имя правильных идей.

(Бормочет). Гуманизма, бесклассовых ценностей, это значит... Виват, Россия – буханка хлеба четвертак.

КУРДОЯК.

Вы – сумасшедший прохиндей!
Вы жрете хуже всех зверей!
Мне кажется, что вы – еврей
Ужо применят к вам угрозу!

ФЕТИСОВ *(лупцуя его палкой).* А не мешай мечтать про розу!

(Опять появляются курячьи ножки. Избитые, оплеванные и задыхающиеся драчуны останавливаются.)

ФЕТИСОВ. Господи, опять!

КУРДОЯК. Что «опять»?

ФЕТИСОВ. Да то, что стоит мне только помечтать... сказать о... об одном предмете, как вот уж тут они! Тут как тут!

(Лунатически приближается к ножкам, съедает их и тут же начинает блевать.)

КУРДОЯК. Феноменально! Да знаете ли вы, феноменальный вы мой человечище, да знаете ли вы, что...

(ФЕТИСОВ *машет рукой.*)

КУРДОЯК. Вы что, газет не читаете?

(ФЕТИСОВ *машет рукой.*)

КУРДОЯК. Но ведь по телевизору показывали.

(ФЕТИСОВ *машет рукой.*)

КУРДОЯК. По радио говорили.

(ФЕТИСОВ *машет рукой.*)

КУРДОЯК. Российское правительство давало разъяснение по запросу спикера оппозиции.

(ФЕТИСОВ *машет рукой.*)

КУРДОЯК. Да не можете же вы не знать, невозможный вы мой человечище, что это – представители неземных цивилизаций, очевидно изучающие вопрос об оказании нам гуманной помощи! Ведь об этом уже целую неделю вся пресса трубит. Они приехали общаться с других планет и Галактик, но по непонятному парадоксу природы существуют лишь в виде вареных, жареных и тушеных скоропортящихся продуктов. То там, то сям появляются различные подозрительные осмысленные котлетки, шашлычки, зразы и пельмени. Появляются и тут же куда-то исчезают. Теперь я все понимаю. Их поедают неисправимые романтики, вроде вас.

ФЕТИСОВ (*не слушая его*). Господи! Пресветлый ты мой! За что? За что мне такие соблазны и испытания? Как только вспомню про... нет, нет, не скажу... как только соберусь описать... нет, нет, не назову... как только увижу ЕЕ, так тут сразу – ОНЕ, ОНЕ, проклятые! Господи! Пресветлый ты мой! Честно говорю – не могу выдержать таких испытаний. Сытость погубит меня, как и всю цивилизацию!..

(*Собирается вешаться.*)

КУРДОЯК. Одну минуточку, простите, что я вас отвлекаю. Значит, если я вас правильно понимаю, существует какой-то вполне материальный процесс, который позволяет вам

силой лишь воображения, исключительно творческого воображения вызывать на планету эти самые продукты питания?

ФЕТИСОВ. Отвали, дешевка! Отвали, овец противный!

КУРДОЯК. Одну минуточку, но вы поступаете крайне эгоистично, затрудняя междупланетные контакты и спасение России. Возможно, вас мучает то, что вы поедаете наших маленьких друзей. Но это, во-первых, естественно для слабого, но свободного человека, а во-вторых, их физическая жизнь на земле длится ровно до тех пор, пока они не протухнут. Никакие холодильники не помогают им. Наступает их физический распад, именуемый наукой – смерть! Так что вы ни в чем не виноваты. Наука и Родина прощают вас.

(ФЕТИСОВ *молча надевает петлю.)*

КУРДОЯК *(падает на колени)*. Остановитесь, умоляю! Вы ж уникальнейший и феноменальнейший индивидуум эпохи! Я прошу вас, я умоляю вас. Я люблю вас! Вас и ножки! Вы составляете громадную ценность для науки и Родины.

ФЕТИСОВ *(отпихивая ногой табуретку).* О, розочка!

(Но КУРДОЯК *смело подскакивает непосредственно с коленок и перерезает смертельный шнур своим блестящим скальпелем.* ФЕТИСОВ *шлепается на пол, как жаба, и долго не может очухаться.* КУРДОЯК *делает ему искусственное дыхание. Наконец* ФЕТИСОВ *открывает глаза. Естественно, что опять перед самым носом его – курячьи ножки.* ФЕТИСОВ *в ужасе и тоске закрываетг лаза.* КУРДОЯК *ласково гладит его по голове.)*

КУРДОЯК. Вот и чудненько... Кушайте, не стесняйтесь. На наш век хватит. Вы будете мечтать, я – писать диссертацию, а народ процветать. Все будет, как всегда, и все, как всегда, будет правильно.

ФЕТИСОВ *(хрипит).* Но я же хотел... розочку!

(Появляются еще одни курячьи ножки.)

КУРДОЯК. Спасибо.
ФКТИСОВ. Розочку! Я хотел... Розочку!

(еще курячьи ножки)
КУРДОЯК. Оч-чень интересно!
ФЕТИСОВ. (воет) С каплей росы!

(*Появляются громадных размеров курячьи ножки.)*

КУРДОЯК. Приступайте. Наука и Родина гордятся вами.

(ФЕТИСОВ, *присмирев, становится на четвереньки и жрет.* КУРДОЯК, *примостившись рядом, пишет диссертацию.)*

ВОСЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

* * *

Хандра по случаю весны,
тоска не то чтобы с похмелья –
нам и без огненной воды
не до веселья.

Вот кот – болван. Вот пес – кретин.
Котяра хнычет, плачет псина,
никак не может отличить
от англосакса угро-фина.

Как саксаул и аксакал,
как обладатель постной рожи
с невзрачным деревцем в песках,
так немцы с венграми похожи.

Поляк и турок. Грек и чех.
Его натруженного тела
от бледной немощи моей
не отличить, по сути дела.

Один – такой , другой – сякой.
Но если снизу или сверху
посмотришь – черт-те знает что:
пустое место на поверку.

Владимир САЛИМОН – родился в 1952 г. в Москве. Окончил географо-биологический факультет Московского государственного педагогического института. Автор книг стихов «Городок» (1981), «Уличное братство» (1989), «Страстная неделя» (1989).

* * *

Столица – пуп. Провинция – пупок.
Под простыней гостиничной нащупал
обвислый зад, ввалившийся живот...
Прогнивший пол. Обрушившийся купол...

В руинах все – и камень, и металл,
но человек следит без содроганья
за тем, как расползается по швам
последняя твердыня мирозданья.

Сей Божий град. Сей город... Так урод
без состраданья смотрит на калеку,
когда в трамвае или же в метро
урод с калекой едут через реку.

Урод жует свой собственный язык.
Калека громыхает костылями.
Трамвай стучит, грохочет,. дребезжит.
Метро бежит, журчит промеж камнями.

Что там звенит? Прозрачный ручеек?
Кастальский ключ?
Источник Аретузы?
А если нет, зачем и отчего
на горничной зеленые рейтузы?!

* * *

Сам за себя. Все сами по себе:
кот – на окне, а кошка – на окошке.
Вот на трубе играет пионер,
пенсионер играет на гармошке.

Так и живешь – то слесарь крутит кран,
то вертит руль водитель самосвала
напра–нале... Вдруг вспышка, вдруг удар –
и в тот же миг тебя как не бывало.

* * *

Под платьицем партикулярным,
подумать только ё-моё,
ремни, подтяжки, крючья, пряжки –
не то тряпье, не то белье.

Не то чтоб крестик под рубахой,
не то чтоб штрипки от кальсон,
все это вместе так ужасно –
так жуток бред, так страшен сон.

Такое разве что с похмелья
привидится в кромешной тьме,
вздохнешь, глазам своим не веря:
– Ах, брат, в своем ли ты уме?

Ты от работы непосильной
или от страсти роковой
ума чуть было не лишился,
не повредился головой?

* * *

И пишется, и дышится легко,
как дурачка, без видимой причины
тебя влечет не пиво, не вино,
а сладковатый привкус дармовщины.

Дурная шутка, скверный анекдот,
между женой и мужем перебранка –
вдруг привлечет внимание твое
финикиянка или египтянка.

Чуть угловата, несколько худа,
прямая спинка, тоненькая шейка,
на шейке жилка каждая видна.
Не христианка и не иудейка.

* * *

Посредством книжек – тыр да пыр,
как самовар посредством шишек,
раскочегаришь, глянешь – дым
валит с подножек из-под мышек.

Дым из ушей, пар изо рта.
Бог знает, в цирке или в бане,
не то в купальне господа,
не то в едальне громадяне.

Спиной к спине. Лицом к лицу.
– Хиба це фрухт? – хохол кацапу.
– Враги все врут! – кацап хохлу.
Шлеп по затылку. Цоп за шляпу.

И врассыпную – кто куда.
У доброй женщины под юбкой
подвал навроде чердака,
гибрид светлицы с душегубкой.

Там духота.
Там красота.
Сидишь, дрожишь, а рядом где-то
друг дружку лупят два дружка:
хохла – кацап,
эсер – кадета.

* * *

Вверх дном – не то что вверх ногами,
вниз головой – но как до дна
сковороду не выскребаешь,
сковорода черным-черна!

Черна кастрюля. Чайник черен.
Ты сам едва ли не с тоски,
с зубодробильной, с горлодерной,
чернее грифельной доски.

Ты, точно угольщик, обуглен.
Лишь нечто вроде уголька
мерцает слабо, светит тускло
из глубины, издалека.

Будь позабористее ветер,
дождь пошустрей, пошибче град,
вмиг превратится в горстку пепла
хоть партократ, хоть демократ.

Интеллигент чистопородный,
крестьянский сын, рабочий класс –
Венец творенья, Царь природы –
угаснет тотчас.
Сей же час.

* * *

С высоким штилем не в ладах
привычный антураж:
чердачный пух, подвальный прах,
C_2H_5OH.

Обычай пить все, что ни есть,
и есть все, что не пьют, –
известный сызмальства тебе
немыслимый маршрут.

Не во спасение души
ты умерщвляешь плоть,
а шутки ради норовишь
ужалить, уколоть.

Не в бровь, но в глаз. Не в глаз, так в нос.
Она едва жива,
чуть шевельнешь рукой, ногой –
чуть-чуть... едва-едва...

И станет ясно – проку нет
в ноге или в руке.
В последний путь во тьме, во мгле –
все лучше налегке.

ИЗ ПОЗДНЕЙ ПРОЗЫ

1. СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, 27 ЛЕТ, В ОЧКАХ И ВЕСЕЛЫЙ

Если не считать мальчишеских, «до первой кровки», боев, которые обозначались словом стукаться и проводились где-нибудь в укромном месте, под пристальным наблюдением справедливых и квалифицированных судей, обступивших соперников плотным кольцом и человеколюбиво останавливающих схватку, едва на лице появлялась хоть капелька крови, – если не считать этих показательных дуэлей, поводом для которых служило любое опрометчивое слово, К-ов дрался за всю свою жизнь один-единственный раз – в отличие от Сергея Петровича, сразу почувствовавшего себя в родной стихии. Тогда ему было не двадцать семь, как теперь, меньше, но очки уже носил, в тонкой модной оправе, и вообще выглядел этаким юным интеллигентиком, что вполне соответствовало статусу студента фармацевтического факультета, где он был, кажется, единственным представителем сильного пола. Это не смущало его. Как рыба в воде чувствовал себя в женском обществе: всех опекал, всех поддразнивал, всех веселил и одаривал на Восьмое марта шоколадными батончиками, на обертке которых писал фломастером – каждой персонально! – шутливое, в рифму, поздравленьице.

Один такой батончик дочь К-ова принесла домой. «А это, – объявила, – от Сергей Петровича!» Он и сам звал себя так:

Руслан КИРЕЕВ – родился в 1941 г. в Коканде (Узбекистан). Окончил Литературный институт. Автор около сорока книг прозы.

«Передайте, – просил по телефону, – что звонил Сергей Петрович», – и К-ов, радуясь на звонкий, бодрый – это в наше-то унылое время! – голос, весело обещал, что передаст непременно.

Познакомились они на неделе итальянских фильмов; тогда еще это считалось событием, за билетами с ночи записывались, а Сергей Петрович, позвонив, небрежно осведомился у К-ова, не желает ли его дочь посмотреть то-то и то-то. «Все желают!» – отозвался поклонник Феллини, и в тот же миг был официально приглашен. Кто бы отказался на его месте? К-ов не смог, и вот уже шествуют втроем сквозь строй жаждущих лишнего билетика, вот уже лакомятся в переполненном фойе эскимо, хотя эскимо в кинотеатре не продавалось, больше, во всяком случае, не ел никто, а Сергей Петрович отлучился на минутку и принес, зажав веером между пальцами; вот уже следят не дыша за проделками сициллийской – или какой там еще! – мафии, за бесстрашным следят комиссаром и головокружительными потасовками, а выйдя на воздух, попадают в такую же, если не похлеще, ибо даже самая виртуозная экранная баталия не идет ни в какое сравнение с простенькой уличной дракой.

Подробности инцидента – они прозвали его «итальянское кино» – смаковались и обсасывались потом долго, но К-ов так и не уяснил до конца, с чего, собственно, началось. Помнил лишь двух подвыпивших хлюстов, один что-то бросил на ходу – отец с дочерью не разобрали, зато Сергей Петрович услышал и тотчас принялся снимать очки, а папу с дочкой попросил вежливо отойти в стороночку. Через секунду три молодых гладиатора мутузили друг дружку и сочинителю книг с его школьным опытом единоборства «до первой кровки» не оставалось ничего иного, как броситься на подмогу. Боец из него, разумеется, был никудышный, но все же успел перехватить руку с бутылкой, которая в следующую секунду опустилась бы на голову его юного друга.

После Сергей Петрович утверждал, что К-ов спас ему жизнь. Так и маме своей представил: спаситель! – моложавой, с ямочками на щеках, женщине, которая, отметил наблюдательный беллетрист, не очень удивилась синяку под глазом отпрыска, равно как и поздним гостям, которых он, как-никак медик, затащил к себе для оказания срочной помо-

щи. Легкие теплые пальцы будущего аптекаря уверенно бегали по оцарапанной шее «спасителя», а женщины ассистировали.

В углу, постукивая панцирем,, возилась черепаха, – удаленные звуки эти перемежались с близким шуршанием ваты и звяканьем склянок. Звали черепаху Сильвой Ивановной, – впоследствии К-ов неизменно передавал ей привет. Не матери, за которой в иной ситуации мог бы и поухаживать, а именно Сильве Ивановне, и всякий раз в трубке звучало жизнерадостное: «Благодарим!» От имени, стало быть, рептилии и своего тоже...

Фармацевтом после института и дня не проработал – занялся коммерцией, и дело, судя по всему, шло неплохо. То в Испанию летал, то в Сингапур, а когда далековатый от жизни литератор, человек, по сути своей, книжный, прямо спросил, каков его статус, ответствовал не без скромности: председатель совета директоров... «И много ли, – поинтересовался К-ов, – у тебя директоров?» – «один!» – радостно признался Сергей Петрович. И уточнил после некоторой паузы, что он и есть сей единственный директор.

Интерес книжного человека был, разумеется, сугубо академическим, но – до поры до времени, пока, как и весь пишущий люд, не оказался на мели, причем на мели основательной, без надежды, что литературный корабль его, который плохо-бедно, но бежал-таки, когда-нибудь опять стронется с места.

Тут-то и вспомнил о председателе совета директоров. Тут-то академический интерес и трансформировался малопомалу в интерес личный: дождавшись звонка неудавшегося фармацевта, который время от времени давал о себе знать, а уж с праздником поздравлял обязательно, – дождавшись звонка, бросил как бы в порядке шуточки – а сам аж испариной покрылся! – не обзавестись ли и ему дельцем?

Сергей Петрович понял его с полуслова. «Обзавестись! – сказал твердо. – Обзавестись, и немедленно. Я уж тут думал о вас». И пригласил, если будет поблизости, в гости, дабы не спеша обговорить все.

«Поблизости» К-ов оказался через неделю. Мог бы и раньше, благо жил Сергей Петрович в самом центре, у площади Пушкина, но все откладывал, все надеялся – вдруг образуется! – хотя в доме давно уже был введен режим

строжайшей экономии. Квадратик сахара – сахар вздорожал чуть ли не в пятьдесят раз – раскалывался щипчиками на несколько частей, а крошки подбирались пальцем: ткнул, и прилипла. Все, как в детстве, когда бабушка зорко следила, чтобы кусочки, упаси Бог, были б не слишком большими... Круг замкнулся. Ему казалось, он шпарит по прямой, все больше и больше удаляясь от скудных послевоенных лет – удаляясь безвозвратно! – но круг замкнулся, как, наверное, замыкается всегда, и в этой предопределенности, в этом ускользающем, не поддающемся осмыслению закон просвечивало, однако, что-то отрадное. (Что тоже ускользало и тоже не поддавалось осмыслению. Да К-ов и не хотел...)

Договорились на шесть, а он в пять минут седьмого еще околачивался на площади у «Макдоналдса», глазел на книжные развалы – книги, стало быть, издавались, и еще как издавались, свято место пусто не бывает. Тут же продавали заморские напитки и заморские сласти, а также фрукты: бледные в крапинку абрикосы – это в начале- то июня! – бананы по сто рублей штука и невзрачные зеленые киви, плод для московских прилавков вовсе диковинный. И все же не роскошно изданные фолианты удерживали сочинителя книг, и уж тем более не экзотические киви – просто, понимал он, ему не хочется туда, не хочется идти на поклон к мальчишке, юному сему Штольцу, как мысленно окрестил он Сергея Петровича, но себя при этом Обломовым не считал – нет, не считал! – да и где они, обломовы-то, с их органической неспособностью драться за что бы то ни было, а уж «до первой кровки» тем более, – неспособностью и нежеланием, ибо давно разрешили для себя извечный гамлетовский вопрос: быть или не быть? – в пользу последнего! Нет обломовых, перевелись, и некому, стало быть, облагородить штольцев своим хотя бы уходом... Так мудрено рассуждал, стоя на площади у «Макдоналдса», поднаторевший в риторике литератор, но это, конечно, тоже было уловкой, затягиванием времени, страхом перед ждущим его унижением, свидетельницей которого станет – этого почему-то боялся пуще всего – миловидная женщина с ямочками на щеках. А ведь можно было бы встретиться где-нибудь в скверике – не сообразил, а теперь уж поздно! – и К-ов, встряхнувшись, решительно зашагал к дому, где ему однажды уже оказали помощь: шея до сих пор помнила

касание теплых умелых пальцев.

Сергей Петрович встретил его, как и подобает встречать «спасителя». Стол был накрыт и выглядел так, будто перелетел сюда, подобно сказочному ковру-самолету, с только что покинутой смятенным беллетристом площади. Киви не было, зато бутылки не уступали тем, у «Макдоналдса» – все в ярких этикетках, нарядные и полнехонькие, готовые открыться по первому желанию гостя. Но гость предпочел минеральную воду. Приборов два стояло – без мамы, значит! – но спросил, разумеется, не о маме, спросил о Сильве Ивановне: как, дескать, поживает старая приятельница? – и тотчас услышал в углу возню и сухое пощелкивание. Спустя миг живые звуки эти потонули в других, механических, требовательно прорвавшихся из-за двери. Сергей Петрович проворно поднялся, молодой, легкий, в потертых джинсах, и, извинившись – «факс!» – быстро ушел в соседнюю комнату.

К-ов огляделся. Он не помнил, как было тут в прошлый раз – кожа, еще хранящая следы тех целительных прикосновений, оказалась памятливей глаз, – но ощущение, будто он впервые здесь, не покидало его. Впрочем, с некоторых пор ощущение это преследовало его постоянно, накатывая в местах самых неожиданных, иногда чуть ли не в собственном доме, точно не только столик упорхнул с площади, уподобляясь сказочному ковру, но и все вокруг незаметно поднялось и плавно, грузно перелетело по воздуху с людьми и зданиями в неведомые края.

К-ов огляделся, и то был не случайный жест, нет, его постоянно тянуло озираться вокруг – едва сдерживал себя, воспитанный человек. Вот и сейчас старался сосредоточиться на том, что, вернувшись, говорил ему приветливый хозяин, а говорил он о «балконных огородах» – это, собственно, и было тем самым делом, которое предлагалось бывшему писателю, делом простым – проще некуда! – и надежным.

«Балконными огородами» Сергей Петрович именовал деревянные ящики («Удачное название – уже полдела!») – обыкновенные деревянные ящики, в которых горожане могли бы выращивать, не выходя из квартиры, зелень и овощи. Спрос на такие ящики огромный и будет расти, наладить же выпуск их – раз плюнуть, надо только зарегистрировать малое предприятие («Я скажу, куда обратиться»), открыть счет

в банке, для чего придется дать взятку («Вы не сумеете, конечно, – беру это на себя»), фиктивно оформить несколько человек («Это уж вы сможете!»), найти деревообрабатывающий комбинат («У меня есть на примете») и столковаться с работягами, которые за ящик водки наколотят из отходов что угодно, потом присмотреть магазинчик и завезти товар. Так – или примерно так – наставлял дебютанта председатель совета директоров, и у труженика пера, который не умел договориться со слесарем заменить кран в кухне, голова, странное дело, не шла кругом. Не впадал в отчаянье от бестолковости своей и никчемности, от полной непригодности для той новой жизни, куда приземлились они на своем ковре-самолете, – напротив, оживал, веселел, внутренне распрямлялся, точно давящий на плечи неимоверный груз постепенно истаивал.

Сергей Петрович заметил это. Оставив «балконные огороды», заговорил об «итальянском кино», снова – в который раз! – припоминая и смакуя то давнее приключение. К-ов с энтузиазмом подхватил, но К-ов – понятно, его будущее (запишет он скоро в дневничке) – это его прошлое, а что же воодушевился так, что заблестел глазенками и принялся ностальгически вздыхать его юный благодетель? «Тогда ты еще, – напомнил не без иронии гость, – писал стихи на шоколадках и собирался стать фармацевтом». – «А стал фарцовщиком», – отозвался, поправляя очки, Сергей Петрович.

Снова заверещал факс, властно потребовав к себе, но предприниматель махнул рукой и не поднялся. «Вот вы говорите: стихи... А вы замечали, что стихи пишутся, как рецепты, – столбиком?»

Этого профессиональный литератор не замечал. В чем и признался с удовольствием и даже изъявил желание продегустировать ананасовый ликер, но стало ему опять как-то не по себе, только по-другому уже, будто незаметненько так поменялись они местами.

Когда вышел на улицу, еще не совсем стемнело, но магазины давно не работали, закрылся «Макдоналдс» и площадь опустела. Точно ветром сдуло столики с заморскими товарами, сдуло продавцов, покупателей сдуло и даже, что особенно удивило зоркоглазого романиста, следы недавно бушевавшей здесь торговли. Хоть бы клочок газеты на асфальте!

Хоть бы закатившийся под урну бумажный стаканчик из-под кока-колы или пластмассовая соломинка! Ничего... Ничего и никого, лишь не состоявшийся спаситель движется бесшумно к наполненному голубым сиянием подземному переходу, над ступенчатым зевом которого оранжево горит буква «М».

2. ИЗ НАРИСОВАННОГО МИРА – НА СЫРОЙ ЗЕЛЕНЫЙ АСФАЛЬТ

Их обнаружили ненароком в большой картонной коробке из-под импортных сигарет, среди других эскизов и этюдов; собственно, это и был весь архив Шагуна, на разбор которого у его преемника по мастерской, ставшего волей-неволей душеприказчиком покойного художника, ушло тем не менее больше года. Или просто руки не доходили? Позвонив К-ову, сообщил, что нашел пакет, на котором написано его имя, внутри же, судя по всему, – иллюстрации к его сочинениям.

Шагун сделал две книги К-ова, третью начал, но не успел. Вот так же раздался однажды утром звонок, и некто, отрекомендовавшийся приятелем Феликса Шагуна, сказал, что Феликс умер. «Как умер! – не поверил ушам своим К- ов. – Позавчера по телефону говорили». – «А вчера умер. – И – после небольшой паузы: – Мы тут скидываемся на похороны...»

Мы – это друзья: ни семьи, ни родственников у Шагуна, завзятого холостяка, не было...

Встретились у метро, К-ов неловко сунул конверт с деньгами, и вот теперь, год с лишним спустя, получил из рук этого же человека розовый, из-под фотобумаги, пакет с рисунками.

На ощупь их было немного, штук семь или восемь (оказалось – девять), беллетрист, замедлив шаг, наполовину извлек один – умное тонкое лицо мужчины с напряженным взглядом – и, не признав в нем своего героя, сунул обратно...

Познакомились они в издательстве, куда художник принес показать автору эскиз оформления. Обычно процедура эта занимает несколько минут, а тут растянулась часа этак на два, не меньше.

Вначале К-ов решил, что перед ним алкаш: розоватое, с припухшими веками лицо, красные глаза, седые редкие

волосики аккуратно зачесаны на лоб, да и одет богемно: мягкая курточка на широких сутулых плечах, джинсы с подвернутыми штанинами, – все это молодило его, как и прямо-таки юношеская горячность. Голоса, впрочем, не повышал, говорил тихо и рассудительно, проникновенно, близко глядя на К-ова и обдавая его, некурящего, густым табачным духом. Сигарету за сигаретой запаливал, не замечая, что не докуривает, вообще ничего вокруг не замечая, – так увлечен был мыслью, уже далеко отлетевшей от скромных повестей сидящего перед ним автора (начал-то с них, выказав удивительное знание текста: художники, как правило, читают рукопись по диагонали), – отлетевшей в такие заоблачные дали, в такие философские эмпиреи, что застигнутый врасплох К-ов не всегда мог уследить за нею. С радостью согласился продолжить беседу, но уже в мастерской, куда и явился вскорости, захватив бутылочку, и тут-то выяснилось, что Шагун не пьет. «Завязал?» – с пониманием спросил гость, и хозяин, застенчиво улыбаясь (о, эта его неуверенная, виноватая, мягкая улыбка, появлявшаяся всякий раз, едва речь заходила о самых обыденных, житейских делах, в которых он ничегошеньки не смыслил, чем отнюдь не гордился, упаси Бог, – недостатком считал), – застенчиво улыбаясь, признался, что нет, не завязывал, просто алкоголь с молодых лет действует на него плохо, туманит голову, а он не любит этого. Он любит, чтобы мозг был, как бритва на морозе, – именно это сравнение употребил Шагун, но опять-таки как бы оправдываясь улыбкой и за слишком уж красивый, слишком литературный образ, и за то, что говорит о своей персоне, чего, вообще-то терпеть не мог. Кривился, когда хвалили его работы, ибо сам их не принимал всерьез и переделывал бесконечно.

Другие ценили его куда больше. Престижные заказы получал: оформить, к примеру, Достоевского, причем не обычное издание, а юбилейное, с иллюстрациями, – К-ов помнил, как зажегся Шагун, как специально ездил в Петербург (тогда еще Ленинград, но художник упорно называл его Петербургом), как штудировал старые книги и старые альбомы. А еще помнил свое изумление при виде эскизов. «Кто это?» – спросил, вглядываясь в изможденного, объятого страхом человека, который ну никак не мог быть Раскольниковым. Тот и моложе был, и мужественней, в этом же что-то старушечье

проскальзывало, от убиенной процентщицы, о чем К-ов и сказал осторожно, боясь ранить самолюбие автора, но автор, напротив, возликовал. «Конечно! Конечно! Мы превращаемся в того, кого убиваем... В этом, – поднял он палец, – и есть смысл наказания... Кто такая Алена Ивановна? Тварь дрожащая, да? – всего боится, на всех с подозрением глядит, ненавидит весь мир, который, воображает она, только и занят тем, что выслеживает ее да ставит ловушки, и таким-то – обрати внимание! – становится после убийства Раскольников».

К-ов даже малость опешил от столь экстравагантной трактовки. «Ну, положим, – возразил, – не только таким. Алена была патологически скупа, а Раскольников, если помнишь, отдает последние гроши...» – «Верно! – окатили его табачным дымом. – Совершенно верно... Он ведь не только Алену укокошил, но и сестрицу ее Лизавету, святую женщину. Слышишь: свя-ту-ю... То-то и оно! Раньше-ка, заметь, святости в Родионе Романовиче было не шибко много... Мы превращаемся, – повторил он с пафосом, но по-прежнему не повышая голоса, а даже еще понизив, почти до шепота, и еще ближе придвинув вдохновенное лицо, – мы превращаемся в тех, кого убиваем!»

Беллетрист молчал, собираясь с мыслями. «Это твоя теория?» – спросил наконец, зная, какие редкие, какие экзотические книги откапывает и читает ночи напролет (оттого-то и глаза красные!) иллюстратор его сочинений.

Шагун смутился, очередную закурил сигарету. «Моя», – признался.

Да, книги были его страстью – из его именно рук впервые получил филолог К-ов тогда еще опальные томики Бердяева и Шестова, Леонтьева и Розанова... В некоем идеальном мире обитал художник Феликс Феликсович, а если и выходил в реальный с его спешкой, с его давкой и духотой, то лишь затем, чтобы заработать на хлеб и сигареты – для себя, и на цветы с конфетами – для прекрасного пола.

Женщины обожали его. Даже те, кто любил другого, относились к нему с благодарной нежностью и расцветали под его взглядом, под светом и теплом его удивительных комплиментов. Точно в волшебное смотрелись зеркальце, которое если и льстило им, то льстило так искренне и так ласково, с таким трепетным и притом бескорыстным восхищением, что это уже

была не лесть, не ложь, а чистейшей воды правда. Женщины купались в ее лучах, расцветая, мужчины же, которые считали их своими женщинами, тихо закипали от бессильной ревности. С К-овым, во всяком случае, имевшим глупость явиться в мастерскую Шагуна с подругой, приключилось именно это. Он чувствовал, как его прелестница уходит от него, околдованная хозяином, слышащая только его, видящая только его, его только осязающая – да-да, и осязающая тоже, хотя ни разу не коснулись друг друга; просто седой, сутулый, но вдруг волшебно помолодевший фавн передал ей чашку со свежезаваренным кофе всего-навсего, но сделал это с таким благоговением, а она, в свою очередь, приняла ее с такой осторожностью, что невинная процедура эта превратилась в помутневших глазах ревнивца в некое интимное таинство. Точно не горячий кофе несла в себе грубая посудина, а тепло ласковых, с длинными пальцами, умелых – это понял даже К-ов, – сильных мужских рук. «Спасибо», – тихо молвила женщина – самое обыденное, самое нейтральное слово, но боже, как прозвучало оно в ее устах и как ответил ей Шагун, теперь уже совсем молодой (а был, между прочим, на десяток лет старше своего нерасторопного гостя), как улыбнулся, как протянул вазочку с сахаром!

Живущая в Подмосковье подруга К-ова обычно нервничала: электричка, автобус, – а тут совершенно забыла о времени. Кавалер – законный, официальный, так сказать, кавалер! – еле увел ее, но и на улице почти не воспринимала его, все еще там оставалась, в мастерской... «И черт с ней!» – решил поверженный соперник. То был их последний вечер, а когда спустя месяца два или три случайно встретились, и он, смиряя уязвленную гордость, осведомился с усмешечкой, не видела ли она часом их общего знакомого, бывшая подруга ответила с вызовом: «Видела».

К-ов сделал вид, что его это не задело. «Да? И как? Пригласил в мастерскую?» То был единственный случай, когда он сказал о Шагуне гадость, один-единственный за все эти годы их приятельства, но от этого не становилось легче, наоборот... «Ему не надо было приглашать меня, – ответила девушка из Подмосковья. – Я сама пришла». Сочинитель книг наклонил, как болванчик, голову. «Умница! Надеюсь, вы хорошо провели время?» – «Очень...» И прибавила, еще

помолчав, еще помучав разжалованного поклонника, который ожидал услышать что угодно, только не то, что услышал, хотя, понимает он теперь, ничего иного и не могло прозвучать, – прибавила, что все два часа, которые провела в мастерской у Шагуна, художник расписывал, захлебываясь от восторга, какой замечательный писатель К-ов, как знает глубоко жизнь и как тонко чувствует человека. Показывал эскизы оформления – не те ли как раз, что хранились в розовом, из-под фотобумаги, пакете?

Теперь они были в руках беллетриста. Неторопливо разглядывал, примеривая то к одному своему сочинению, то к другому, но полного соответствия не находил. Да и откуда ему взяться – полному-то! – если художник Шагун по-своему читал каждую вещь и по-своему видел каждого героя – как, впрочем, и его создателя!

Реалист К-ов, разумеется, не обольщался комплиментами на свой счет, но, что греха таить, его согревала пылкая доброта седовласого фантазера. Рядом с ним он и сам себе нравился, талантливым казался и глубоким, хотя понимал, что Шагун выдумал его, – подобно тому, как выдумал его героев, для которых автор, так и этак вертя эскизы, помеченные на обороте его именем, не находил места в своих книгах. Выдумал, нарисовал – рисовальщиком он был отменным, издательства почитали за честь сотрудничать с ним, – поместил в свой мир, тоже выдуманный, тоже нарисованный, где на равных обитали философ Флоренский и беллетрист К-ов. Последний, впрочем, и сам взлетал иногда в царство духа, но – не надолго и не часто. На земле проводил большую часть жизни – в отличие от художника Шагуна, что спускался сюда лишь по необходимости: лечь на узкую, холодную от клеенки медицинскую кушетку, чтобы доктора высмотрели, что там делается с его хлипким сердцем.

Однажды с кушетки встать не позволили. На носилки переложили и отправили на «Скорой» в больницу – лежать, наказали, не шевелиться! – но уже на следующий день украдкой звонил поздно вечером К-ову и, смущенно посмеиваясь, живописал, как тащили его, бугая, прикрыв простынкой, а рядом в качестве охранника шествовала врач, красивая дама, «твоя, между прочим, поклонница». То был канун Восьмого марта, и на утро он, само собой, отправился по больничным этажам поздравлять женщин. Ириски дарил

(где-то, удивлялись на похоронах, раздобыл ириски), всех, однако, обойти не успел...

Эскизы, вне всякого сомнения, относились к разным повестям, и, если внимательно вглядеться, можно было б, наверное, определить, где тот герой, а где этот, но К-ов – удивительное дело! – не вглядывался: ему доставало сознания, что все это – не чужие ему люди. Не чужие... Прикрыв глаза, видел, как колышутся они, неуверенные в себе и в то же время настойчивые, как присматриваются к нему, не решаясь приблизиться, и в этой несоединимости автора и порожденных им героев таился особый и жуткий смысл. Он почувствовал это только сейчас, вороша и перекладывая на столе наброски покойного художника, и вдруг увидел его самого, медленно вышагивающего по мокрому после дождя, зеленому – кроны деревьев отражались как в зеркале – асфальту. Большая сутулая фигура, кепочка на голове, а в руках – ободранный, с выпирающим каркасом абажур, который он подобрал в каком-то издательском коридоре. Потом он отремонтирует его, обтянет темно-зеленой с золотинкой тканью и, повесив в мастерской, будет гордиться им, как не гордился лучшими своими рисунками.

3. ИЛИ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

Виделись последнее время редко, почти не виделись, но с тех пор, как у редакции оттяпали часть площади, жена сидела с Юнной Максимовной в одной комнате, стол в стол, и подробно о ней рассказывала. Беспокоится, дескать... Ждет со дня на день... (А кто не ждет? Кто не вглядывается с тревогой в будущее!) Первые сокращения прошумели год назад, тогда пронесло, но теперь журнал выходил вдвое реже прежнего, читательских писем почти не было, а Юнна Максимовна занималась как раз письмами и потому, понимали все (а уж она-то тем более!), была первым и самым вероятным кандидатом на увольнение. Разумеется, голодная смерть не грозила ей – давно пенсию получала и больше, чем материальных трудностей, страшилась одиночества, круглосуточного сидения в четырех стенах, да еще стенах толстых, мрачных, непроницаемых для звуков извне. К-ову, что явился к

ней, нагруженный книгами, фундаментальность этой сталинской трехэтажки пришлась как раз по душе, ибо гарантировала тишину, так ценимую тружеником пера, а вот глуховатая Юнна Максимовна тишину ненавидела. «Как в могиле!» – ворчала и при этом зорко всматривалась в собеседника – слышит ли он? – и вдруг быстро, смущенно, по-детски как-то улыбалась: ну вот, разбрюзжалась, старуха! А зубы сверкали, как у молодой, – ровные, белые, целехонькие, хотя никогда особенно не берегла их.. В сладком, во всяком случае, не отказывала себе и сахарок с карамельками не сосала, а грызла, как ребенок, и очень сокрушалась, когда со всем этим начались перебои.

Книги К-ов привез в обмен на девятитомник Герцена, от которого она давно уже хотела избавиться. «Не знаю, – пожимала сердито плечами, – чего он подписался! Кто сейчас Герцена читает?» Литератор К-ов заступался за Герцена – читают, дескать, а подписался потому, видимо, что любил, но Юнна Максимовна махала безнадежно рукой. «Он Жюль Верна любил...»

Он – это муж, первый муж, которого похоронила, когда К- ов еще трудился в журнале, тогда процветавшем, – мог ли предположить кто-либо, что такие наступят времена! – но был и второй, тоже военный врач, служил в госпитале вместе с первым, потом демобилизовался, овдовел и быстренько женился на Юнне Максимовне. Лет пять или шесть прожили, и все пять или шесть лет хворал, преданная жена выхаживала, не жалея сил, но так и не выходила. «Невезучая! – вздыхала. – Ну, почему я такая невезучая! Гляну на себя в зеркало – баба ничего вроде, даже сейчас, а все не как у людей».

Ее и впрямь точно какой злой рок преследовал, даже в мелочах: то пропустят фамилию в ведомости на зарплату, а она отстояла час и уже надела очки, чтобы расписаться, то, напротив, дважды включат в список дежурных, обязанность которых следить за редакционным холодильником.

Не повезло и с невестками. Обоих сыновей угораздило жениться на красавицах, а красавицы, брюзжала Юнна Максимовна, они ведь вреднющие. И вдруг спохватывалась: «Хотя я тоже вроде бы ничего была... Но не вредная же! Или вредная?» – допытывалась она со смущенной своей улыбкой,

заранее прощая, если в ней все-таки вредность обнаружат.

Раз в неделю давали продуктовые заказы, она два выклянчивала – их ведь, жаловалась, двое у меня! – и волокла через всю Москву сперва одному сыночку, потом другому, после чего возвращалась налегке домой, – а жила за городом, на электричке ехать и потом еще с четверть часа топать к военному городку вдоль разбитого шоссе. Долгим и унылым показался К-ову этот путь, небезопасным (домов возле станции почему-то не было), она же, тугая на ухо (а вдруг машина? Вдруг чьи-то недобрые шаги!) проделывала его дважды в день, утром и вечером. И так двадцать лет, больше чем двадцать, хотя, помнит он, пришла в редакцию вроде бы ненадолго: добрать недостающие до пенсионного стажа три или четыре года. Все уйти собиралась – вот только, говорила, доработаю до зимы: зима пугала ее обледенелым железнодорожным мостом, на котором раз уже сломала руку – К-ов вспомнил об этом, когда осторожно спускался с книгами по деревянной, обитой металлическим угольником лестнице.

В свое время жена его тоже пошла за стажем – все еще удивлялись: зачем, он столько печатается, могла б и дома посидеть (действительно: могла б, денег хватало), но все вдруг полетело в тартарары: стали разваливаться издательства, гибли журналы, да и писал он теперь трудно, мало, сбережения же обесценились в одночасье, так что зарплата жены была пусть хилым, но живительным ручейком, который, однако, мог в любой момент пересохнуть. Со страхом ожидала со дня на день, что вызовут и объявят: ваше место, уважаемая, ликвидировано, но вызвали не ее, а пенсионерку Юнну Максимовну. Предложили на выбор: или подает заявление «по собственному желанию», или... Говорилось это, предполагал К-ов, негромко (такие вещи громко не говорят), но она расслышала, прочла по губам, сорвала с губ – вот-вот, сорвала! – и тотчас закивала, соглашаясь: «да-да, по-собственному». Могла ли смириться, гордый человек, что уходит не добровольно, а изгоняется пинком под зад! Нет уж, лучше сама... В этот день, рассказывала подавленная жена, была на редкость словоохотлива, улыбалась и шутила, неумело подмигивала. А что, хорохорилась, я еще ничего, еще замуж выйду – Бог троицу любит! – а

после, рисовал себе К- ов, ехала в электричке, пусто смотрела на зыбкое свое отражение в оконном стекла, и в голове прокручивалось, как заезженная пластинка: вот и все – три простенькие слова, смысл которых, однако, не дается человеку, ускользает и прячется. Грозный, темный смысл – сочинитель книг познал это на собственном опыте, когда, листая по вечерам старые дневники, нетерпеливо и жадно устремленные в будущее, глядел из этого сбывшегося будущего на себя, юного, в тихой растерянности. Как, уже?

Уже... Только в отличие от Юнны Максимовны никто никуда не вызовет его, никто не известит вежливым голосом, что пора, дорогой, и честь знать, но разве сам не видит! Разве не чувствует, усаживаясь по утрам за пишущую машинку с непослушными, враждебными ему клавишами: пора!

Пассажиры, что вместе с ним повыпрыгивали из электрички на низкую платформу, растворились бесследно, и теперь он вышагивал вдоль узкого шоссе в полном одиночестве. В Москве снег давно сошел, а здесь еще кое-где желтел под редкими фонарями. Электричка смолкла вдали, и человека, который нес в сумке тяжелые книги, обступила тишина. Будто со стороны видел себя беллетрист К-ов – куда на ночь глядя? Зачем? – но подобные вопросы, знал он, не имеют ответа. Да и какие имеют? Это доверчивая Юнна Максимовна полагала, что раз задан вопрос, то ответ доложен быть, и ответ исчерпывающий, но, кажется, последнее время и она усомнилась. Жена рассказывала, как, забывшись, подолгу глядела перед собой, потом вздрагивала и вся как-то подбиралась. «Да что же, – вопрошала, – не пишут-то ничего?»

То был упрек читателям: еще недавно засыпали журналы письмами, но вдруг точно онемела страна, смолкли разом, оставив не у дел ту, что в течение многих лет принимала на себя первый – самый первый! – удар редакционной почты.

Юнна Максимовна не просто вскрывала (вернее, взрезала) письма, не просто регистрировала их на специальных карточках, но почти все хоть мельком да пробегала взглядом. А иные не пробегала – читала внимательнейшим образом, кое-что вслух даже, возмущаясь безобразиями, которые описывал ищущий защиты и помощи человек.

По двум таким письмам К-ов ездил в командировку. «Смотри, – грозила пальцем, – разберись там!» – вроде пол-

ушутя: понимаю, дескать, что лезу не в свое дело, но утерпеть не могла и, когда возвращался, подробно выспрашивала со смущенной улыбкой, как и что.

Корреспондент отчитывался. Даже перед главным редактором не отчитывался так, как перед этой глуховатой женщиной, которая слушала его напряженно и чутко, а после, иногда через день, иногда через два, уточняла вдруг какую-то подробность – он не сразу даже брал в толк, о чем это она.

Если на ведущем от станции шоссе фонари хоть редко, но горели, то сам городок утопал в потемках. К-ов знал, однако, что в доме Юнны Максимовны помещается на первом этаже аптека – ее-то и искал, но вывесок не разобрать было, а витрины не освещались. Вплотную приблизившись к одной, различил за стеклом белеющий качан капусты, а рядом – темные комочки то ли свеклы, то ли картофеля. Не аптека, стало быть, – овощной... Почитатель Герцена в смятении огляделся. Ни души на улице, да и в домах, казалось, все вымерло. Желтели, правда, там и сям квадратики окон, но хоть бы какой звук доносился изнутри! Это непоздним-то еще вечером, когда народ обычно рассаживается перед телевизором и кто-нибудь обязательно запузыривает на всю катушку... К соседнему дому направился – тут первый этаж занимало пошивочное ателье и лишь на следующей трехэтажке прочитал, напрягая глаза: аптека.

Обогнув здание, зашел со двора, но тут было еще темнее – разбери-ка попробуй номер подъезда! Ему нужен был четвертый, всего же их оказалось пять. Значит, второй с конца – вот только с какого конца? Сунулся наудачу, но света, разумеется, не было – острейшим дефицитом стали с некоторых пор лампочки, даже перегоревшие продавали на уличных барахолках по рублю штука: их покупали, чтобы украдкой ввернуть на работе вместо исправной, а ту домой унести. Спичек у некурящего К-ова не водилось, и он, постояв в раздумье, двинул в другой подъезд, потом в третий: авось удастся высмотреть хоть какую-нибудь цифру на квартирных дверях – тогда бы можно было сориентироваться, но тьма всюду стояла кромешная. Позже, вернувшись домой со своим Герценом, он будет вспоминать эти свои плутания во мраке как нечто ирреальное, но в то же время тайно сопряженное с ним, будто не в чужой дом явился, не в чужое

загадочное существование, а в свое собственное, каковым оно рано или поздно станет.

Вообще-то он старался не думать о будущем, не загадывать слишком уж вперед – бесполезным было сейчас это занятия, даже самые дерзкие прорицатели не решались на долгосрочные прогнозы, но жизнь сама приоткрывала вдруг завесу грядущего.

В одном из подъездов, когда совсем уж отчаялся, его осторожно окликнули сверху. Не сразу узнал голос бывшей сослуживицы, но – узнал и радостно отозвался. Тотчас распахнула она дверь, выпуская дверь, и свет вывалился из квартиры в праздничном изобилии. Лестница с покореженными перилами, деревянные, в пятнах извести козлы на втором этаже, а на третьем – сама хозяйка, терпеливо и, видимо, давно дежурящая в ожидании гостя. На плечи было накинуто пальто, голова же оставалась обнаженной, и что-то в ней, почудилось взлетевшему наверх К-ову, было новое, необычное. Потом, когда вошел и, поставив сумку, стал раздеваться, сообразил: покрасилась! Ну конечно, покрасилась, в брюнетку превратилась, а прежде была рыжевато-седенькой. «Не узнаешь? – смутилась она. – Старуха, а выпендривается!»

Ему резануло слух это словечко – выпендривается, такое чужое в ее устах, точно напрокат взятое, как и крашеные волосы, но, воспитанный человек, не подал виду. Вошел в комнату, огляделся, похвалил высокие потолки и толстые стены (стены – особенно), медленно выложил одну за другой книги, детективы все, а к Герцену, воспитанный человек, не притронулся, хотя Герцен уже лежал в ожидании двумя аккуратными стопочками. А еще в ожидании гостя был заварен чай, и он не стал отказываться, с удовольствием откушал и даже взял благоговейно кусочек сахару, почти деликатес по нынешним временам. Говорили, как водится, о ценах и продуктах, о президентах, об электричках... (Президентов становилось все больше, электрички ходили все реже). «Как дальше-то будет?» – тревожно спросила писателя старая женщина, и писатель, вздохнув, честно развел руками. На Герцена кивнул, иронический скептик: «Вот он бы ответил...» Шуточками пробивался, и это помогало, но у нее, насколько помнил он, отношения с юмором были сложные. В растерянности глянула на отбывающие в неизвестность томики, и в

глазах ее под накрашенными бровями мелькнуло сомнение: не зря ли отдает? Кажется, так бы и устремилась сейчас штудировать том за томом в поисках ответа, которого, верила, не может не быть, раз задан вопрос. Гость не разубеждал – пусть верит! – но, автор печатных текстов, сам давно уже не обольщался относительно книг (скептик! иронический скептик), и лишь потом, ночью, придет ему в голову, что люди, к счастью, открывают не только книги – двери тоже, и одна уже распахнулась для него, выпустив свет, который – и это он будет помнить долго! – ярко озарил лестничную площадку, озарил обляпанные известью деревянные козлы и зябкую терпеливую фигурку в накинутом на плечи пальто.

4. ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ СОФОКЛА
(496 – 406 до н.э.)

Будто из дыма явился, из медленного ленивого смога, превратившего яркий месяц август, что еще недавно полыхал солнцем, жег и неистовствовал, в удушливый вязкий октябрь. Вот только жара стояла, какой в октябре сроду не видывали: за двадцать пять переваливало, а глянешь в окно – серый, унылый, прямо-таки осенний день! Люди двигались вяло и бесшумно, точно во сне, тихо, как слепые жуки, ползали машины, пропали невесть куда птицы – К-ов спохватился вдруг, что даже воробьиного чириканья не слыхать, – и только вороны кружили, распластав крылья, над еще не охваченными пламенем мусорными бачками.

Да, металлические бачки, черные, покореженные, с разинутыми пастями, не горели (пока не горели!), но свалки за городом полыхали вовсю, полыхали леса и тлели торфяники: лето словно бы самовозгорелось, не выдержав зноя, и этот нутряной, цепкий, ползучий огонь задушить пока что не удавалось. Желтой гарью затопило улицы, пожухла листва на деревьях, и даже серовато-пятнистые стрелы лука, что рос на балконе в миске с водой, придавленно расползались в разные стороны, вымороченные уродцы. («Как после ядерной бомбардировки», – навязчиво про-

кручивалось в голове). Вот из этого-то дыма, из смрадной духоты и кошмара и возник, будто с неба свалился, свеженький, как ангел, белозубый, сияющий здоровьем и чистотой племянник К-ова, сын двоюродной сестры, его тезка. (Они так и называли друг друга: тезка, с шутливой и дружелюбной бесцеремонностью).

В детстве это был толстый мальчишка, вредный и неопрятный. К-ов, по правде говоря, никогда не испытывал к племяннику пылких родственных чувств, хотя, случалось, и защищал, причем от кого защищал! – от собственного его папаши, весьма скорого на расправу. Парень огрызался, текли слезы и слюни – кто бы мог подумать, что из этого раскосого звереныша вымахает такой красавец! На голову выше К-ова, широкоплечий, ладный, с плутоватыми глазами, которые по-прежнему слегка косили, но теперь это даже шло ему. «Горите?» – произнес сочным баритоном, а сам веселым взглядом обежал поверх дядюшкиной лысины комнату, увидел жену К-ова и быстро, радостно поздоровался, по-детски присовокупив к ее имени «тетя». Так смешно и трогательно прозвучало это – из уст этакого детины! Говорил, впрочем, неохотно и отрывисто, скороговоркой: это была не его стихия – разговоры, он предпочитал действовать...

Когда виделись последний раз? Лет пять назад, больше, чем пять, – тогда еще тезка был школьником, ходил то ли в шестой, то ли в седьмой класс и учился скверно, за что ему опять-таки доставалось от отца, обожающего дисциплину и порядок. Сам он был исправным чиновником, овощами занимался (вернее, бумажками, связанными с овощами) и напоминал собой перезрелый огурец, желтоватый и пузатый – вот-вот лопнет. В детстве сын удивительно походил на него, вот разве что это был не большой огурец, а маленький, этакий преждевременно пошедший в семена карлик, однако сходство, которое всем бросалось в глаза, не только не умиляло папашу, а, напротив, странным образом раздражало. Казалось, не за ослушание и не за плохие отметки дубасил отпрыска, а за то, что тот как бы передразнивает (окарикатуривает) фигуру его и ужимки.

Теперь, с приятным удивлением обнаружил К-ов, отцовского в его племяннике мало что сохранилось. Похудел, вытянулся... Энергия переполняла его: светилась в глазах,

играла в бесшумных гибких движениях, в легкой угадывалась поступи. Молодого зверя напоминал он, веселого и уверенного в себе хищника.

Начинающий коммерсант, прибыл в Москву за каким-то «обалденно дешевым», как выразился он, товаром... К-ов недоверчиво улыбнулся: неужто у них осталось еще что-то дешевое? «Осталось, – подмигнул тезка. – Осталось!» Несколько часов хватило расторопному малому, чтобы сделать покупки, отвезти на вокзал и сдать в камеру хранения, а поскольку до поезда было еще три часа, решил навестить столичного дядюшку.

Он так и сказал: столичный дядюшка, сказал с тем же озорным лукавством, с каким только что говорил о неведомом товаре, но литератор К-ов не обиделся. Откровенно любовался он своим гостем, таким празднично-свежим на фоне удушливого смога, точно не гарью дышал он, как все мы, а свежим морским воздухом. Им, впрочем, он и дышал у себя дома, но здесь-то не дом, здесь – многомиллионный город, сплошь залитый асфальтом, который в нынешнее лето латали почему-то с редокостным прилежанием: вчера еще – рытвины и колдобины, а сегодня идешь и – ровное, черное, горячее, как свежеиспеченный пирог, полотно. Вот и получалось, что не только сверху обдавало жаром, но и снизу. Ад! Пекло! Москвичи – те едва шевелились, точно сваренные заживо, а тезка чувствовал себя, как рыба в воде. «Великолепно!» – говорил и быстро, не без удивления – что, дескать, квелый такой? – поглядывал на К-ова, измученного круглосуточной духотой, гарью и вдобавок ко всему, бессонницей, давно уже хронической.

Накануне обошел с рецептом три или четыре аптеки, все бесполезно, но в одной подсказали: снотворное есть там-то и там-то, вчера, во всяком случае, было, – и он, хоть и тяжел сделался на подъем, не поленился, поехал и,разморенный, долго плутал между новых домов. В одном из них, прямо в квартире, причем на втором почему-то этаже, и помещалась аптека. Сидели две женщины в белых халатах (ага, обрадовался посетитель, действительно аптека!), одна медленно считала за кассой деньги, укладывая рядышком пачки изношенных рублей и пачки изношенных трешек, другая так же медленно, будто во сне, заваривала

чай. Поглядев осоловело на рецепт (руки были заняты чайником), просто поглядев, – молвила «нет» и продолжала размеренное свое действо.

Он не уходил. Вытирал платком взмокшую шею, вытирал лоб и лысину и – не уходил. На что надеялся он? На то, что, сжалившись, найдут-таки для него упаковочку? «Вчера, – напомнил смиренно, – было...» Но его даже взглядом не удостоили. «То вчера, – разъяснили лениво, – а то сегодня». Но взглядом не удостоили... Он сунул в карман мокрый платок, сунул рецепт и, не проронив ни звука, убрался вон, чтобы опять до утра ворочаться на тахте, вдоль и поперек изученной его бедным телом. До мельчайшего изученной бугорка... До едва заметной складочки... Может, потому так и обрадовался нежданному гостю, что его позднее вторжение отодвигало – хотя бы ненадолго! – свидание с ненавистной постелью?

Тезка по-родственному говорил ему «ты», а вот к жене на «вы» обращался, с непременным прибавлением слова «тетя», что придавало ему, бравому молодцу, с аппетитом уплетавшему макароны, что-то детское. «А помнишь, – сказал К-ов, – на рыбалку ходили?» – но вспомнилось, когда говорил это, не рыбалка, не утренняя, с металлическим отливом гладь моря, по которому скользила на чмокающих веслах их утлая лодчонка, а то, как тезка, вихрастый колобок в шортах, нырнул в соседский двор и – К-ов глазом не успел моргнуть! – вернулся со срезанной бельевой веревкой.

Вечером хозяин обнаружил вора. В качестве улики предъявил оставшийся конец, и разъяренный родитель, из которого, казалось, так сейчас и брызнут огуречные семечки, тут же, на глазах посторонних, принялся стегать преступника украденной веревкой. К-ов едва отнял ее, а себя, естественно, объявил пусть невольным, но соучастником, чем вызвал благодарное доверие мальчугана, который в тот же день продемонстрировал ему в зарослях малины нож – оружие преступления. Это была узкая и острая полоска стали, обмотанная на конце изоляционной лентой.

Каким недобрым блеском сверкали глаза маленького гордеца, публично подвергнутого унизительной экзекуции! Отныне, кажется, он собирался резать не веревки, а кое-что посущественней, – вот уж где, с холодком в груди подумал

«соучастник», и это был холодок не страха, а внезапной и запретной веселости, – вот уж где полетят во все стороны огуречные семечки!

Случались минуты (а может, и целые часы, если не дни), когда малыш ненавидел отца люто. Тогда К-ову и в голову не приходило усматривать в этом какой-то особый смысл или тем более выискивать закономерность, но теперь, ворочаясь на своем бессонном ложе и думая о доморощенном Эдипе, который посапывал в эти минуты на вагонной полке, что, покачиваясь, несла его из угарной Москвы к свежему морскому простору, – теперь вдохновенный книгочей без труда различил всполохи той же ненависти и в дочерях короля Лира, и в пушкинском Альбере, и в теоретике Карамазове, не говоря уже о практике Смердякове... Да и Гамлет тоже, мелькнула еретическая мысль, не потому ли тянет с мщением, что чувствует: Клавдий осуществил его подспудное желание? И здесь, стало быть, тот же сюжет – воистину вечный сюжет! – но сам К-ов, никогда не видевший своего отца (отец погиб, когда его еще не было на свете), – сам К- ов, то ли к счастью своему, то ли к беде, из вечного сюжета выпал. Среди бабушек да тетушек рос, в бабьем царстве, которое насквозь пропитало его своим тряпичным духом, как насквозь пропитали августовскую ночь миазмы гари и смога. Вдруг вспомнилось, с каким рабским смирением ждал в аптеке, пока хамка в белом халате заварит чай и соизволит, наконец, заметить его. Разве тезка позволил бы обращаться с собой подобным образом?

Откуда в мальчишке, с завистью думал сочинитель книг, столько силы? Откуда в нем столько животворного огня?.. А впрочем, он узнавал этот огонь, узнавал искорки в раскосых глазах, – они и тогда плясали, в зарослях малины, над обмотанной изоляционной лентой полоской стали, которая не вспорола огуречный живот, Бог уберег, но энергия, высекшая эти искорки, не пропала даром. Не от нее ли и занялся чудо-огонь? Не от нее ли уверенность и железная хватка? «Снотворное? – переспросил с веселым удивлением. – Ну, разве это проблема!» И пообещал в следующий раз привезти сколько душе угодно.

К-ов всполошился. К-ов принялся совать рецепт – «Так не дадут!» – но небрежная рука отодвинула бумажку. «Мне

дадут... Своему-то все время таскаю. Спит как сурок».

«Своему» – значит, папаше, К-ов понял это сразу, но не сразу, а лишь потом, на постылой своей тахте, атакуемый комарами, которые пикировали на него с первобытным писком (вот уж несколько лет эти твари не затихали в московских домах даже зимой), – лишь потом сообразил, мученик ночи, что слова «спит как сурок» имеют еще один смысл и что тезка осуществил свое жгучее, свое тайное, им самим неосознанное (конечно, неосознанное!) желание...

Небытие сна и небытие смерти – явления одного порядка; удивительно, как он прежде не замечал этого! – он, жаждущий что ни ночь забыться, пропасть, исчезнуть. Пусть не навсегда, пусть временно, сути-то дела это не меняет, главное – исчезнуть, причем добровольно и по возможности вовремя. Иначе, не ровен час... К-ов дернулся: прямо в ухе, казалось, запищал комар. По щеке хлопнул себя – поднаторевшая рука действовала почти автоматически, а сам – мыслитель! – о Софокле думал (комар смолк), о девяностолетнем старце, которого сыночки, потеряв терпение (не исчез вовремя!) решили объявить сумасшедшим. Но они просчитались, охотники за наследством! Они не учли, что в жилах человека, сотворившего царя Эдипа (а стало быть, побывавшего в его шкуре), бьется огонь, который остывает долго, – как долго остывает жар под коркой свежеположенного асфальта.

Старик огонь этот (чудо-огонь!) продемонстрировал – ах, как ярко рисовал себе беллетрист К-ов сцену суда, за которым следила, замерев, вся Эллада! Испросив разрешения говорить сидя, патриарх развернул свиток и прочел первый стасим новой, никем доселе не слышанной трагедии. В ней снова действовал Эдип, но теперь уже престарелый Эдип, жестокосердно гонимый собственными сыновьями. Ну! Можно ли вообразить лучшее доказательство полной и абсолютной вменяемости?.. Ах, как ярко рисовал себе беллетрист К-ов эту сцену и каким пустым чувствовал себя, каким холодным и никчемным! «Снотворное? Ну разве это проблема, тезка! Сколько тебе?» Опекать его, стало быть, взялся мальчишка, и это уже не в первый раз. Тогда, в лодке, и рачков ему насаживал (у москвича не получалось), и снимал с крючка бьющуюся рыбину – толстый, неуклюжий с виду, но только с виду: лодка почти не шевелилась, когда, балансируя заго-

релыми руками, умело и быстро перемещался с кормы на нос и с носа на корму...

Не мигая, глядит перед собой никчемный человек горячими от бессонницы (или запоздалого стыда?) глазами. Потом протягивает руку, нашаривает на тумбочке будильник. Сквозь шторы просачивается свет фонаря – вглядевшись, можно различить стрелки. Три... Господи, неужели всего-навсего три? Поставив на место будильник, медленно откидывает простыню, медленно спускает ноги, которые сразу же попадают в тапочки, медленно, на ощупь, бредет в туалет. В кухне шторка не задернута, фонарь за окном освещает прихожую, и он бросает на ходу взгляд в зеркало, на свою тощую, похожую на призрак фигуру с болтающимися вдоль тела тонкими руками, которые лишь давным-давно, в детском воображении его, сжимали мечтательно бесплотную отцовскую ладонь, но которые даже мысленно не сжимали никогда отценаправленного кинжала.

Если верить великим авторам, все убиенные родители грешны: один скуп, другой похотлив, третий – детоубийца, который лишь по воле провидения не завершил преступного замысла, – все, все грешны, но в таком случае (приходит в голову одуревшему от гари и бессонницы сочинителю) грешен и тот, кто создал нас такими. Тоже ведь отец, хоть и небесный.

К-ов усмехнулся: кажется, и он тоже отыскал себе папочку... Кажется, и он тоже отыскал себе жертву... Усмехнулся и прочь отогнал кощунственную мысль, порождение жары и удушья. Лег, с головой укутался, спасаясь от комаров, в теплую, пропахшую дымом липкую простыню и закрыл дисциплинированно глаза, вечный сирота.

5. НЕ ЧИТАТЬ ОРАНЖЕВЫХ ТЕТРАДЕЙ

Ожидал, разумеется, что не узнает дома – столько лет прошло, да и был-то всего несколько часов, но что т а к не узнает, явилось не просто неожиданностью, а знаком, предзнаменованием, предупреждением, если угодно. Замедлив шаг, окинул взглядом обшарпанный фасад с черными окнами

пустующих квартир (еще тогда поговаривали, что сносить будут), с покосившейся водосточной трубой и пробитой крышей; рану в черепице прикрыли целлофаном, аккуратно обложив его кирпичиками, а на месте балкона торчал каменный выступ, из которого росло карликовое деревце. Дом, однако, изменился не только внешне, он изменился – для К-ова, по крайней мере – по сути своей, хотя и тогда это был дома Игоря Агатова, и теперь оставался им, но тогда живого Игоря, передавшего с оказией гостинец матери, а теперь – мертвого. Собственно, вот уж пять лет, как стал таковым, – да, в августе пять будет, – но ведь москвич еще не видел дома в этом новом качестве. И пожалуй, не увидел бы никогда, помешкай с приездом: явно последние дни доживало обреченное строение.

Сам Игорь говорил о родном очаге с легкой иронией; К-ов уловил эту интонацию, тогда еще едва заметную, и без умысла – а уж тем более без зла! – нечаянно как-то, воспроизвел в романе с двусмысленным названьицем «Триумфатор». Героем, правда, был не литератор, а экономист, но жесты, но привычки, но манера говорить – все агатовское.

Роман провалялся в столе почти десять лет и вышел, когда прототипа уже не было в живых. Смерть эта потрясла К-ова, но еще больше потрясло, что во внутреннем монологе героя мелькает, как бы предваряя будущую катастрофу, мысль о самоубийстве.

Ничего подобного К-ов не слышал от Агатова. Последнее время, впрочем, виделись редко, чаще перезванивались, причем звонил, как правило, Агатов, и не из дома, а из служебного кабинета, в который то и дело входил кто-то, о чем-то спрашивал, какие-то, видимо, совал бумаги, и бывший паркетчик (до института т р и у м ф а т о р работал паркетчиком), не кладя трубки, бросал короткие реплики, дакал и гмыкал, беллетрист же, нечаянно предсказавший не только страшный конец, но и предшествующее ему победоносное восхождение, скромно и терпеливо ждал.

Восхождение это началось как-то незаметно, исподволь, но затем, к удивлению К-ова, пошло бурно – к удивлению, да, хотя роман с красноречивым названием уже лежал в столе, дожидаясь своего часа. Сочинителя поражало, с какими значительными людьми общается бывший сокурсник.

Как небрежно, а то и снисходительно, с не очень-то скрываемой иронией упоминает имена, столь хорошо известные всем. В отличие от К-ова, для него это были не просто имена, для него это были близкие знакомые, в чем беллетрист убедился, когда увидел агатовскую библиотеку. Судя по дарственным надписям, знаменитые авторы не просто уважали, не просто любили Игоря Васильевича, но числили себя его друзьями.

Библиотека осталась жене. Ей все осталось – мать забрала только альбом с фотографиями, причем фотографиями не последних лет, а старыми (сын хранил их почему-то в ящике со столярным инструментом), да пухлые, исписанные от корки до корки оранжевые тетради. С того времени, то есть времени похорон, К-ов не видел ее и теперь сомневался: вспомнят ли его здесь?

Открыли, едва постучал, не спрашивая даже, кто там, хотя час был не ранний, и готовый к сносу дом наполовину пустовал. Высокая худая старуха стояла перед ним, простоволосая, с жилистой шеей. «Не узнаете?» – пробормотал гость. Он бы уж, если б встретились на улице, не узнал точно...

Спокойно и тихо, без видимого усилия назвала женщина имя неожиданного визитера. «Ничего себе! – искренне восхитился сочинитель книг. И прибавил, подумав: – Теперь понимаю, в кого у Игоря была такая память».

Память у Агатова была и впрямь редкостной: пробежав глазами текст, мог едва ли не дословно пересказать все; примерно то же самое проделывал в романе ас от экономики, виртуоз социальной адаптации, как выразился один из критиков, но мать виртуоза, полуграмотная женщина, всю жизнь проработавшая штукатуром, роман наверняка не читала, на этот счет беллетрист мог быть спокоен. «Я в командировке здесь. Вчера прилетел... Хотел бы на кладбище сходить».

В записке, которую оставил Агатов, не было ни объяснений, ни упреков, лишь пожелание: похоронить урну с прахом в родном городе. Не тело – именно прах, он специально оговаривал это, желая, видимо, избавить мать от сложных и дорогостоящих хлопот... К-ова не было в Москве, на юге отдыхал – ел персики и горячую кукурузу, на пляже валялся, и здесь-то, на пляже, выйдя, обессиленный, из августовского моря, узнал, что Агатов покончил с собой. Не

из первых узнал рук, через третье или четвертое лицо, которое, будучи далеким от литературы, даже фамилии этой не слышало и нелепо исказило ее. Тем не менее К-ов понял, о ком речь. Понял мгновенно, словно давно ждал в глубине души этой вести. Тут же стал натягивать на мокрое, враз озябшее тело штаны и рубашку: бежать куда-то, звонить, ехать! Ну да, ехать, лететь – еще ведь можно успеть на похороны и тем хотя бы немного искупить смутную свою вину, которая в самолете трансформировалась в алогичное, несуразное, дикое ощущение тайной причастности к случившемуся.

Конечно, дикое; последние годы практически не общались, дистанция между ним и Агатовым, который шел, как ракета, вверх, постоянно увеличивалась, и вот только теперь, когда так страшно и нелепо грохнулся наземь, стремительно сократилась: снова вместе были, рядом, как в их первую московскую зиму, когда, юные провинциалы, хаживали на танцульки в тесные клубы, где на них никто не обращал внимания; во всяком случае, девушки не спешили пригласить на белый танец, а если и приглашали, то лишь К-ова – Агатов стенку подпирал, и на его круглой, п л е б е й с к о й, как он сам говорил, физиономии (словечко это тоже перекочевало в роман) сияла улыбка до ушей.

Судя по чистоте, которая царила в квартире, по скатеркам и салфеточкам, уезжать пока что не собирались. «Но ведь снесут», – сказал московский гость, угощаясь настоянным на смородиновом листе крепким чаем, и старая женщина подтвердила: снесут. Потом поинтересовалась осторожно: где остановились? – и услышав, что в гостинице, робко молвила, что можно было б и здесь, места много; заодно – если, конечно, есть желание – посмотрели бы бумаги сына...

Бумаги, аккуратно сложенные – папки, папочки, а также те самые оранжевые тетради, – лежали на этажерке в его комнате. «Игорь делал?» – кивнул на этажерку товарищ студенческих лет и сам почувствовал, как пусты его слова, особенно сейчас, возле притаившихся записей , как неуклюжа попытка сказать матери приятное. Помню, дескать, не забыл.

Женщина торопливо, смущенно как-то закивала. Это неумеха К- ов восхищался золотыми руками ее сына, который чего только не мастерил в своей московской квартире, а она

головой восхищалась, золотой его головушкой.

Ах, как, должно быть, жалела теперь о малой своей грамотности! На папки посмотрела, ввалившийся темный рот плотно сжался, но, сделав усилие, разомкнула-таки губы. «Может, заночуете? Я здесь постелю. Белье новое... При нем еще покупала». При нем и для него – конечно, для него! – вот только зря покупала: сын не приехал. Хорошо хоть друг пожаловал, пусть и через пять лет...

Друг? При жизни Агатова, даже во времена их близости, слово это так и не слетело ни разу с уст К-ова. Да что с уст – про себя-то не отваживался произнести, а вот Агатов с некоторых пор бросал его с легкостью. Но это вслух, а про себя что думал? Что писал по ночам в оранжевых тетрадях? Что-то нехорошее было в этом нахлынувшем вдруг любопытстве, в жадном и суетном (беллетрист чувствовал это) нетерпении.

О причинах страшной развязки толковали разное. Одни жену обвиняли, которая якобы упорно не давала развода, другие намекали на служебные неприятности, и вот теперь появилась возможность если не узнать всего, то хотя бы снять нелепое чувство своей причастности...

Заканчивались оранжевые тетради женитьбой, начинались же с первых московских впечатлений. К-ов хорошо помнил это время, помнил Агатова, который, как ни горячи были студенческие споры, не встревал никогда, лишь зыркал то на одного, то на другого светлыми глазами. Тогда К-ов не приметил в этих быстрых взглядах ни насмешки, ни осуждения, а теперь прочел, к тревожному своему удивлению, жесткие слова. «Неужели, – прочел он, – земля наша так обнищала! Даже оторопь берет, кого напринимали в институт. Самодовольных, невежественных, готовых на все ради карьеры. Есть два или три хороших парня...»

Автор «Триумфатора» польстил себя надеждой, что, наверное, среди этих двух-трех числили и его – а иначе разве сошлись бы столь близко! – но как, оказывается, неполна была сочиненная им книга! Как узка! Как бедна по сравнению с реальностью, сумевшей целомудренно утаить себя! Именно целомудренно – слово это прямо-таки пульсировало в голове взволнованного К-ова. Тот, кто превратился под его пером в ироничного и расчетливого супермена, прокручивающего вся-

кий раз с десяток вариантов и мгновенно выбирающего оптимальный, был в действительности доверчивым идеалистом. Роман упрощал его, уменьшал, делал компактным и укладывал, послушного, в шкафчик, на котором можно было начертать мелом одно или два пригвождающих намертво слова. (Достало одного: триумфатор.) Это упорное стремление рассовывать людей по полочкам К-ов обнаружил в себе довольно рано, да так и не избавился. Вот и сейчас видел отдельно Агатова, героя дневников, и Агатова, героя романа, то были совершенно разные люди, однако по мере чтения они все более сближались, словно второй необъяснимым образом влиял на первого, подминал под себя, диктовал манеру поведения. Сочинитель узнал даже фразу из собственного романа: прототип, по сути дела, цитировал героя, о котором понятия не имел, – рукопись, еще не завершенная (К-ов специально посмотрел дату), лежала в столе, и ни одна живая душа не знала о ее существовании. Тем не менее факт оставался фактом: реальный живой человек как бы инсценировал книгу, в которую его насильственно впихнули, – он ощущал эту насильственность, ощущал духоту сжимающейся несвободы и писал об этом почти панически. «Господи, я ли это? Словно кто-то могущественный внушает мне делать то-то и то-то, я понимаю, как все это мерзко, но противостоять не в силах».

Шея затекла. К-ов медленно поднял, а затем и вовсе запрокинул голову. По потолку змеились полоски свежей извести – недавно, видимо, замазали трещины. Это в обреченном-то доме! Такие же полосы были на стене, возле портрета Лермонтова. В молодости Агатов обожал Лермонтова, собирался даже писать диссертацию, но это в молодости, еще до «Триумфатора», герой которого, расчетливый сухарь, говорит о поэзии с усмешливой снисходительностью.

Романист поднялся, сделал несколько осторожных, заглушаемых ковриком шагов. Коврик был старым, обветшал весь и наверняка помнил молодую легкую поступь покойного хозяина. Помнила хозяина и постель, где почетному гостю постелили все новенькое. Зря постелили! Несмятыми, понял К-ов, останутся девственные простыни: до утра бодрствовать ему, как когда-то, очень давно, бодрствовал ночи напролет над рукописью об ироничном победителе. То были часы

веселого, дикого, самого его пугающего вдохновения, пугающего темной своей силой, неправедной, чувствовал К-ов (уже тогда чувствовал, уже тогда!), и оттого особенно сладостной.

Вернувшись к столу, открыл наугад последнюю тетрадь. «Скоро два, а я опять не сплю, опять думаю о том же. Понимаю, не я один, все вокруг – да-да, все! – живут не как хотят, а как диктуют обстоятельства, с которыми здравомыслящие люди не могут не считаться, но понимаю днем, а сейчас ночь. Боже, как любил я когда-то ночи, а теперь... Теперь ненавижу. Не- на-ви-жу! Лучше уж...» Конец фразы был на следующей странице, но К-ов не стал переворачивать, тихонько отошел прочь.

Полувыселенный, доживающий последние дни дом вздыхал и поскрипывал, на стене, как раз возле лермонтовского портрета, пробежала паутинкой – прямо на глазах! – свежая трещина и неслышно отошла дверь. На цыпочках приблизился беллетрист к светящейся щели, взялся за ручку, но прежде, чем прикрыть, успел заметить сидящую на табуретке женщину, неподвижную, с прямой спиной. Будто напряженно и чутко прислушивалась к тому, что делается в соседней комнате. Будто ждала, когда ночной пленник вернется к оранжевой тетради и, перевернув-таки страницу, дочитает, как приговор, незамысловатую фразу.

Наталья Ванханен

ВО ТЬМУ СИНЬ-МОРЕЙ

СЛАВЬСЯ

Гордые горцы равнины смиренной,
ратники Сфорца над сонной Сиеной,
узники Данте в безвестном кругу,
белые кони на черном лугу.

Вечно в долгу, в неуплате и в яме,
в вечной готовности: это за нами!
Сквозь перемен незатейливый чад
в вечной тревоге: сейчас постучат!

Мы все равно навсегда благодарны
за гауптвахты, плацы и казармы.
Славься же, Петр, несуразный, как жердь!
Славься же, Павел, курносый, как смерть!

Наталья ВАНХАНЕН - родилась в Москве. Окончила филологический факультет МГУ. Публиковала стихотворные переводы с испанского. Автор изданной за свой счет книги стихов «Дневной месяц» (1991). В литературном журнале публикуется впервые.

Славься, привычная к палке и плахе,
в кипени сада, как в смертной рубахе, –
пел тебя Глинка и русский Парнас,
черная свинка, сожравшая нас.

Тайной полночной любви потакая,
ты лишь для нас существуешь такая,
это для нас, от поры до поры,
точат умельцы свои топоры.

Это для нас твои рвы и приклады,
это для нас твои темные клады,
это для нас, что ни час, что ни день,
жальче и жертвенней пахнет сирень.

ЛЕСА

Зеленого плеска наплывы
и над головой, и у ног,
раскосость татарская ивы,
дубов кудреватый венок,
где, форму точнейшую выдав,
так лист за листом повторим,
как будто артель инвалидов
с рассвета корпела над ним,
при помощи ножниц и клея
и прочих настольных затей,
оттенков травы не жалея
для цвета надежды своей,
ее кругового движенья
в руках хлопотливо-худых,
живого ее выраженья
и радостных черт молодых.

ИЗДАЛЕКА

Газетой шелестнуть не торопясь
и, осыпая пепел как попало,
за кофе пробежать чужую вязь
про недороды, проголодь и грязь
в твоей стране, знакомой до отвала.
Спросонок так, когда вперегонки
к термометру мы льнем из-под руки,
из темноты уютно-обиходной,
нам по утрам противны и близки
подъездов стук, и спичек огоньки,
и голоса на улице холодной.

НА ПЛАТФОРМЕ

Столп снежинок в глазу паровоза
и Карениной бледной щека...
Ах, добротная русская проза,
даже гибель с тобой не горька!

И не надо придумывать повесть,
на поступок решаясь сейчас,
и легко доживать, успокоясь,
будто это совсем не про нас.

Ускользать от сердечной истомы,
выплывать из удушливой мглы...
То ли думы мои невесомы,
то ли ноги мои веселы?

То ли вздох упоительно-емок
меж слетающих с товарняка
заплетающих крыши поземок
под тревожный душок уголька.

* * *

Во тьму синь-морей обронили ключи.
Волшебная плошка погасла.
Из глаз Богородицы – чудо, молчи! –
то масло, лампадное масло.

Старик уминает коленом тряпье,
злой ветер гуляет по Каме,
любовь, обреченное чудо мое,
с чужими бредет облаками.

Хромает треножник, и свечи коптят,
и счет на мгновения начат.
Лес рубят и рубят, и щепки летят,
Лес рубят, и Саша не плачет.

Но пусть и взаправду хана и каюк
и жуликом век прикарманен,
не стыдно, что смотришь с любовью вокруг, –
я так же смотрю, марсианин.

Дмитрий Орешкин

ГЕОГРАФИЯ ДУХА И ПРОСТРАНСТВО РОССИИ

Существует пусть не всегда четко осознаваемое географическое пространство, воспринимаемое каждым народом как исконно свое. В отличие от государственных границ эту духовную территорию не обнести полосатыми столбами. Помню, на одном из политологических семинаров маститый советолог восклицал с недоумением: «Где границы России-матушки? Мы видим, что они не совпадают с границами Союза. Мы догадываемся, что они не совпадают и с границами Российской Федерации. Скажите нам, где они?»

Дудки. Не выдал Мальчиш-Кибальчиш Буржуину Военную тайну. Прежде всего потому, что сам ее не знал.

О духовных границах позволяет косвенно судить язык. С той поправкой, что он отражает сокровенную географию эпохи своего формирования. Язык говорит: «Галопом по Европам». Или: «Прорубил окно в Европу». Или еще: «Пустите Дуньку в Европу»... Предельно ясно, что Европа понимается как нечто внешнее по отношению к России.

С другой стороны, еще меньше оснований думать, что Россия впрямую идентифицировала себя с Азией. Хотя, вообще говоря, восточные пределы нашей духовной территории выглядят более размытыми. Они тают в мареве Тридевятого царства, Тридесятого государства, где Синее море и шемаханская царица. Шемаха, кстати, расположена в современном Азербайджане, а Синим морем в допетровской Руси называли море Аральское. Видимо, пишет академик В. В. Бартольд, по аналогии с Синей Ордой Тамерлана.

Неясности с восточными рубежами русского дома добавляет и такой промежуточный термин, как «Сибирь». Вроде бы очевидно,

Дмитрий ОРЕШКИН – родился в 1953 г. в Москве. Окончил географический факультет МГУ. Старший научный сотрудник Института географии РАН.

что Сибирь в Азии. Но, с другой стороны, повернется ли язык назвать Новосибирск азиатским городом? Нет, легче выговаривается российский, сибирский, любой иной. Так же и с Иркутском. Какой это восток? Восток, где Будда и Магомет, плов и чинара. Там жарко. А то – Сибирь... Вполне русское дело.

В общем, какой-то неясный механизм самоотделения от Азии, несомненно, существует. И нарочитые сетования по поводу «нашей русской азиатчины» тому лишнее доказательство. Есть, мол, грех, но не по нашей вине: занесло чужим ветром.

Правильнее всего сказать, что Россия не идентифицирует себя ни с Европой, ни с Азией. Скорее, русскому сердцу льстит концепция средостения: мы как бы особь статья, возвышающаяся над обеими частями света и обозревающая их со своего державного бугра. Соответственно и евразийство русское есть не встреча двух краев материка на одной плоскости, а выход в третье измерение. Своего рода радуга, упирающаяся концами в Восток и Запад. И стало быть, по гегелевскому правилу содержащая в снятом виде элементы как той, так и иной культуры.

Однако в какой пропорции?

Надо иметь в виду, что фундаментальные понятия Европы и Азии с течением времени менялись и меняются. В раннем средневековье автор сочинения «Об образе мира» уверенно относил Кавказ к Азии и писал, что он (Кавказ) отделяет Южную Азию (Индию, Парфию, Месопотамию и пр.) от Азии Северной (Гиркании, Скифии). Армения у него попадала в Западную Азию, а Кавказский хребет, как было принято в средневековой географии, тянулся через Памир в самые недра Евразии. Но для нас важно, что степи Северного Причерноморья, где ныне Украина, а во времена крестовых походов стояла Орда, включались в Скифию. Следовательно, весьма значительный кусок нынешней Европы относился к Азии.

Несколькими столетиями позже, после стояния на Угре и стремительного роста Московского княжества под рукой Ивана III, на голландских и других западноевропейских картах мы видим град Москов, показанный как столица Великой Тартарии. Это явно анахроническое наложение старых сведений о державе Чингисхана и о Золотой Орде на новую информацию о молодой и сильной стране Московии. По иронии судьбы, как раз Иван III первым из московских русских всерьез открылся Европе. Кое-что заимствовал у поверженной Новгородской республики, позвал итальянцев строить каменную стену вокруг Кремля, блестяще разыграл матримониальную партию с Софьей Палеолог из Византии... Однако в глазах западноевропейцев Московия все равно еще лежала в Азии!

Только после завоевания Иваном IV Грозным Казани и Астрахани граница частей света как бы нехотя отползает на восток и ложится вдоль Волги. С XVI века Москва уверенно воспринимается

как европейский город. Заволжье остается азиатским. Еще через полтора столетия Татищев, птенец гнезда Петрова, предлагает вести границу по Уральскому хребту. (То есть, очевидно, по самому гребню). Однако открываю современный школьный учебник географии, а там рисуют границу уже вдоль восточного подножия Уральских гор. Когда она успела туда съехать – Бог знает. Но результат налицо: Урал полностью откочевал в Европу, а Екатеринбург, побывав Свердловском и вернув затем прежнее имя, с удивлением обнаружил себя уже в другой части света.

Последователи Татищева (и школьная география вплоть до середины XX века!) вели границу от Уральских гор по реке Яик (Урал) до Каспия. Теперь же она идет по реке Эмбе, так что весь Северный Прикаспий тоже очутился в Европе.

Во времена Екатерины Великой война в Крыму понималась как война в Азии. Сегодня Крым – стопроцентная Европа. Позже, во времена Пушкина, Кавказ еще оставался в Азии. Даже после завоевания его русскими, граница проводилась по Кума-Манычской впадине, практически через Ростов-на-Дону. Ставрополь и весь Северный Кавказ лежали в азиатской части империи. В XX веке стало принято проводить линию раздела по Главному Кавказскому хребту. А в наши дни армянская и грузинская география настаивают на смещении ее еще дальше на юг, к реке Аракс, которая отделяет Армению от Турции. В самом деле, иначе Грузия и Армения оказалась бы вне пределов Европы, что выглядит нонсенсом. А сама Турция с ее членством в НАТО и явной тягой к европейскому экономическому сообществу?

Наконец, самые свежие вести. СБСЕ в своих документах вынуждено включать в зону договоров территорию Сибири и Дальнего Востока. Пока приняты обтекаемые формулировки, предлагающие как бы условно считать зауральские земли России европейскими. Будто сами понятия Европы и Азии не условны!

Все это более чем естественно. Через десяток-другой лет, когда массовое и научное мышление пообвыкнет, оно как само собой ясный факт примет Сибирь в пределы Европы.

Экспансия Европы в Азию – всего лишь пространственная развертка явления, которое европейцы скромно именуют историческим прогрессом. По существу он означает расползание по свету и совершенствование системы европейских христианских ценностей. По забавному недоразумению их часто зовут общечеловеческими.

Не вдаваясь в этические оценки, зафиксируем факт. Процесс пошел. И со времен Ренессанса идет в одном (в географическом смысле!) направлении. До Ренессанса, надо подчеркнуть, картина была зеркально противоположной, и тем же европейцам в эпоху крестовых походов было совершенно очевидно, что волны культуры

распространяются с богатого и культурного Востока на злой, грязный и прозябающий в клерикальном невежестве Запад. Что было, то было.

СТРАСТИ ПО ТЕРРИТОРИИ

Чистейшего русского евразийства чистейший образец дает Федор Тютчев – великий поэт и, возможно, первый русский геополитик. Или второй, после Чаадаева. А может, третий, ведь с Чаадаевым полемизировал Пушкин? Да и Гоголь приходит на ум. Во всяком случае, Тютчев, будучи профессиональным дипломатом, затеял, но, по известной привычке русских гениев, не закончил замечательный труд под условным названием «Россия и Запад».

Там просто и элегантно сформулирована роскошная утопия русского державного духа, вполне созревшего к середине XIX века. Она, по Тютчеву, сводится в «двум великим провиденциальным фактам, которым надлежит... открыть в Европе новую эру». Заметьте: именно в Европе! Язвя мелкокорыстный, себялюбивый Запад, который погряз в индивидуализме, обожествил личность и вследствие этого окунулся в стихию отвратительных революций, грабежа и междоусобиц, Тютчев все же стремился духом туда, к Атлантике. Вот его «провиденциальные факты».

1. Окончательное образование великой православной империи Востока, одним словом – России будущего, осуществленное поглощением Австрии и возвращением Константинополя.

2. Соединение двух церквей – восточной и западной. Эти два факта, по правде сказать, составляют один, который вкратце сводится к следующему: православный император в Константинополе, повелитель и покровитель Италии и Рима; православный папа в Риме, подданный императора» (*Ф.И.Тютчев.* Литературное наследие. М.: Наука, 1988. С.192).

Легко представить ужас и отвращение европейского читателя перед подарочком из сумрачной Московии. Тютчев, европеец до мозга костей, 20 лет служивший в Германии, друживший с Шеллингом, лично знавший Гете, прекрасно знал, как надо наступать Европе на мозоли. Кто, как не Россия, спас вас, господа, от деспотии Бонапарта? Кто, как не Россия, хранит престиж законной монархии перед разнузданными европейскими революциями? Кто, как не Россия, по праву наследует государственную идею Рима и Константинополя? Кто, наконец, сохранил монизм и достоинство державной религии?

Понятно, Европа реагировала многими десятками памфлетов,

брошюр и газетных статей. Запад упрямо не хотел братской христианской соборности и процветания под брюхом русского медведя, любовно (и законно!!) прущего к Риму и Константинополю. Европейцы, чудаки, отказывались глотать тютчевский примирительный елей. Более того, неожиданно для нашего поэта они показали завидную волю к консолидации перед лицом «законной империи Востока» и совместными усилиями помогли Англии пребольно наказать романтично настроенных русских в Крымской войне. «Исполинские бредни» – поставил диагноз один из европейских критиков Тютчева. И крымская ретирада доказала его (критика) правоту.

Для нас эти «бредни» интересны не только глобализмом тютчевского замаха. Дух глобализма, кстати, пронизывает всю русскую культуру второй половины XIX века – вспомним хотя бы имена великих глобалистов Толстого, Вернадского и... Ленина. Тройка составлена по одному сугубо формальному признаку: все они печатно признали Тютчева своим любимым поэтом. А уж глобализм и пантеизм Тютчева, генетически связанный с немецкой классической философией, являет собой наилучший образец продукта.

В рамках данной статьи важнее, однако, имманентная двусмысленность концепции, столь откровенно сформулированной великим поэтом. В самом деле, весь пафос его работы состоит в отрицании Запада. И в то же время она была событием исключительно европейской культурной жизни. Написанная по-французски и вызвавшая огромный шум за рубежом, статья Тютчева бесследно канула в омуте российской общественной жизни. Ну, император отозвался похвально в приватной беседе. Ну, еще десяток-другой европейски грамотных людей из высшей элиты пробежал вполглаза. И ни следа, ни дуновения.

Более того. Трактат совершенно очевидно является рефлексией на европейскую полемику тех лет и понятен только в контексте европейских событий. Наконец, именуя Россию законной империей Востока, Тютчев, безусловно, противопоставляет ее (в грядущем союзе с Европой!) исламско-турецкому миру («возвращение Константинополя») и как самоочевидность понимает грядущее объединение православия с католичеством (единение церквей, но не мечетей!).

Тютчевское евразийство явно ориентировано на Запад. Это естественно для России серебряного века. Не с хивинским же ханом было ей обсуждать проблему Наполеона, индивидуальных прав и буржуазного парламентаризма. Здесь принципиальное отличие от евразийства сегодняшнего, советского или постсоветского. Оно увлеченно рассуждает о государственном могуществе и державе, но как бы вне системы географических координат. Такая внегеографичность тоже весьма органична – уже для советской системы мышления и советской культуры. Подробнее об этом потом, а сейчас важно

подчеркнуть, что вектор тютчевской мысли совпадал с вектором российского духа и был повернут до поражения в Крымской войне в Европу. После поражения он все явственнее отворачивает в прямо противоположную сторону, к неописуемому раздражению стареющего автора пророчеств о единении христианских церквей. Нынешние скальды русской державности не хотят или не могут увидеть этой существенной детали. Их увлекает в истории России одно: мощь. Державная мощь, взятая как бы по абсолютной величине, без ориентации по сторонам света.

Между тем, встретив стальной кулак на Западе, Россия повернула дышло к Средней Азии, где ей мерещился реванш с несносными англичанами. И весьма преуспела. Сначала Туркестан и Сырдарьинская линия, затем протекторат над Хивой и Бухарой – варварская логика политических интересов как никогда глубоко отодвигала империю от Европы, православие от католичества. Храня византийскую традицию единства религии и государственности, русская церковь с некоторым удивлением обнаружила себя в тесных государственных объятиях с исламом... То ли ей еще предстояло пережить!

Тем не менее западное крыло двуглавой державной птицы было по-прежнему сильнее. Русское оружие, флот, фортификация, наука, промышленность, архитектура, живопись, театр, литература создавались под прямым влиянием европейских образцов. Так или иначе, галломанствуя или славянофильствуя, со знаком плюс или со знаком минус, верхние слои русского общества смотрели на Европу. В. Ключевский точно подметил вторичную природу русского славянофильства как рефлексии на европейский интерес к корням своих культур. В самом деле, если Вальтер Скотт пишет «Айвенго», отчего же Фаддею Булгарину не написать «Ивана Выжигина»? Тем более что сам Пушкин брался и за Пугачева, и за Годунова. Правда, маленькая разница в том, что Пушкин достаточно свободен внутренне, чтобы по праву гения вволю черпать из казны европейской культуры. Не открещиваясь при этом ни от Шиллера, ни от Байрона, ни от Вальтера Скотта, которым был ровня. Булгарин же, поневоле следуя в европейской стезе (и жанр исторического романа, и понятие толстого журнала, и само печатное дело пришли с Запада!), нарочито отплевывался. Впрочем, «и в том не вижу я стыда»: просто взрослеющая русская литература, глядя на Запад, наконец закрыла рот и начала себя утверждать в подростковом отрицании всего западного. На ком еще и точить зубы, как не на папеньке с маменькой. В скобках, однако, отметим, что «француз» Пушкин обошелся без юношеских комплексов и вошел в мировую литературу сразу взрослым.

Меж тем все заметнее набирало силу и восточное крыло. Европеец Набоков датирует закат скоротечного русского Ренессанса

временем гибели Пушкина. С точностью плюс-минус 10 лет вполне адекватная оценка. В политике вольные европейские ветры уже давно не проникали в Россию так глубоко, как в дни Александровы. Но у литературы оставалась инерция. Которая, правда, потихоньку иссякала. От органичной пушкинской свободы и самостояния русская литература загадочным образом эволюционировала к тайному комплексу неполноценности, желанию как-то оправдать свое существование и кому-то или чему-то послужить. Булгарин намеревался служить православию, самодержавию, народности. Некрасов – народности без самодержавия. Трудяга Писарев, пользуясь языком, оформленным Пушкиным (и опошляя этот язык!), пеняет тому за легковесность и бесполезность перед лицом все того же народа, который он, Писарев, имеет честь представлять.

Лучшие и честнейшие из представителей русской культуры изобретают Гриш Добросклоновых, Платош Каратаевых и прочих полезных и нужных персонажей в лаптях. Те же, кто в противовес им прокламирует авторскую свободу и искусство для искусства, за редким исключением просто мельче по калибру.

Почти одновременно Толстой в России выступает с проповедью опрощения и бессребреничества, а Бернард Шоу в Англии с эксцентричной наглостью европейца заявляет, что быть бедным - постыдное занятие. Кто тебе мешает зарабатывать? Две разных культуры – эгоистичная и прагматичная Запада, совестливая и смиренная России? Но поражает почти полная перекличка Шоу с давно умершим бароном Дельвигом из Пушкинского круга. «Что, господа, вы браните дворянство! – восклицает Дельвиг. – Дворянство в России открытый класс, и никому не заказано заслужить его успехами в науках или воинскими доблестями. Если же ты несмел и неучен, то на кого пенять?»

Неужели русские люди первой четверти XIX века были ближе к Европе, чем в конце столетия? Видимо, все дело в том, какие люди. В России, как в никакой иной стране, сокровенная география духа резко расслоилась по сословному или социальному признаку. Европеизированное дворянство вопреки запальчивому Дельвигу было все же очень жестко отделено от основной массы населения. Каковы были настроения этой основной массы – вопрос совершенно особый.

Материала для суждений немного, но он есть. Можно предположить, что в низах общества был гораздо крепче континентальный дух общинного коллективизма, нравственные стереотипы сельского «мира». Русская деревня отстояла значительно дальше от Европы, чем столичная публика. Быстрый прирост сельского населения не успевал перерабатываться городами и западной культурой «верхов». Однако именно жесткий раздел между элитой и социальным субстратом до поры до времени позволял России Романовых относительно мирно дрейфовать на параллельном Европе курсе. Баре

и крестьяне жили как бы в разных духовных подпространствах.

Наличие двух слоев географии духа в русском обществе хорошо подтверждается двумя крылами или двумя ярусами заимствований в нашем языке. Слова из области культуры, науки, дипломатии, промышленности, военного дела со всей очевидностью залетели к нам с Запада. Примерам несть числа. Вопреки радетелям языковой чистоты это не болезнь, а норма. Если импортируется новое понятие, то оно волочит за собой и свое название. Скажем, слова «советы», «спутник», «перестройка», «погром» в англоязычной литературе тоже используются без перевода. А у нас это машина, компас, генерал, лампа, карта (картина), портфель, теннис, гвардия, министр, помидор, пистолет, ботинки (боты) и многое множество других, давно ставших русскими. Как неизбежно становятся русскими сейчас лазер, компьютер, клип, и т. п.

Есть и другой ряд заимствований, который тяготеет к обиходно-ярмарочному простонародному полю интересов. Башка, кушак, сарай, камыш, сундук, деньги, табун, ямщик, нагайка, базар, богатырь, чуб, балык, курень... Все это производные от тюрских или иранских наречий.

Несомненно, здесь масса нюансов, наложений и пересечений. Но в целом принадлежность этих языковых групп к разным социальным *стратам* достаточно очевидна. Точнее, «городской», более европеизированный, язык включает в себя и деревенскую, восточную лексику. В частности, благодаря смелому введению в литературу обиходных оборотов, начатому Пушкиным. Обратное же неверно: язык бар для человека из низов был слишком мудреным.

Более того, пробежав перечень русско-восточных слов, которые первыми пришли в голову, можно заметить, что они тяготеют не столько к простонародью вообще, сколько к более специфическому подпространству южнорусских степей с их особым казаческим укладом. В самом деле, добавим такие слова, как «орда», «казак», «атаман», «чубук», «башлык», «халат», «кошма». Эти слова, главным образом из тюркской группы, едва ли подходят для дипломатического протокола или театральной рецензии. Но они идеальны для описания боевых кочевий казачества вдоль мобильной границы Европы и Азии.

Есть некоторая неочевидная параллель с интересными рассуждениями Ф. Искандера о двух ветвях в русской литературе: «литература дома» и «литература бездомья». Пушкин, по Искандеру, это дом. А Лермонтов – как дикая ключевая вода бездомья. При этом, надеюсь, не надо доказывать, что оба глубоко русские. Более приземленный географический взгляд позволяет с некоторой условностью выделить подпространства кочевого («бездомного») и домашнего («оседлого») языка. «Умные» западные слова тяготеют ко второй группе, связанной с городской культурой. «Простые» восточные слова – к первой.

В свое время спичрайтеры подвели президента Рейгана, который, развенчивая «империю зла», между делом обмолвился, что в скудном русском языке нет даже слова «свобода». На самом деле есть, и даже два: свобода и воля. Но между ними лежит все та же призрачная грань, которую способно уловить только русское ухо. Свобода (слобода) – от самоуправляемых ремесленных поселений в пригородах, где не было крепостной зависимости. Свобода означает свод цеховых правил и признание того, что твой сосед имеет не меньше прав, чем ты. «Моя свобода размахивать руками кончается в пяти сантиметрах от вашего носа» – сформулировал один из западных парламентариев. Очень европейских взгляд. Русская «слобода» допускает несколько более вольное обращение с чужим носом. Но все равно главное в том, что десять или сто персональных свобод вполне уживались в ограниченном пространстве ремесленной улочки. «Свобода» – слово городское.

Иное дело воля. Она знать не желает границ. Грудь в крестах или голова в кустах; две вольные воли, сойдясь в степи, бьются, пока одна не одолеет. Тоже очень по-русски. Не говорите воле о чужих правах – она не поймет. Божья воля, царская воля, казацкая воля... Подставьте «казацкая свобода» - получится чепуха. Слово степное, западному менталитету глубоко чуждое. Может, это и имели в виду составители речей американского президента.

Пушкин действительно был скорее певцом свободы. Лермонтов – воли. И если дворянская политическая оппозиция в России всегда исходила из осознанной или интуитивной концепции свободы, то-есть некоторого договора с самодержавием, регламента, конституции, парламента, то чаяния простого народа со всей определенностью тяготели к воле. Именно волю обещали Разин с Пугачевым. Именно с юго-востока накатывали они свирепую и слепую стихию народного гнева (см. затасканную цитату о русском бунте) на господско-городскую, государственную Россию северо-запада. В пространственных законах случайностей почти не бывает. Кочевые и полукочевые группировки, корнями связанные с недавно ушедшей в прошлое Золотой Ордой, по культурному строю, структуре ценностей и по географии духа были чужды европеизированному и структурированному западу империи. В отличие от того, чему нас учили в школе, пугачевщина и разинщина – не только классовый феномен, но и этнически-географический.

Вторая половина XIX века в связи с проникновением в высшие сферы «кухаркиных детей» отличалась размыванием жесткой и замкнутой структуры европеизированного дворянства. Процесс вполне понятный и здоровый. Он был тем более естественным, что в чисто территориальном смысле Россия все глубже погружалась на Восток. До поры до времени вектор территориальных приобретений не оказывал прямого влияния на культуру. Но в советскую эпоху проявился достаточно ощутимо.

Более загадочным и менее здоровым по сравнению с ростом разночинцев было торопливое и малодостойное саморазвенчивание верхов русского общества перед лицом «выходцев из народа». Вместо того чтобы поднимать их до своего уровня или, точнее, дать им свободу подниматься самим (чай, не маленькие; в этом истинное уважение и признание равенства), русская элита спешила спрыгнуть на их уровень, оскорбляя себя и народ терминами вроде «младшего брата» и т. п.

Избавляясь от не ими завоеванного социального преимущества, либералы второй половины серебряного века поневоле давали потачку азиатской половинке «загадочной русской души». Подлаживаюсь под ее лексику, свои организации они называли «Земля и воля», «Народная воля» и т. п. Про свободу речь как-то не шла. Ясно, они хотели добра и справедливости. Да только справедливость эта была с явным общинным, неевропейским оттенком. Увлекаясь вывезенным с Запада социализмом, они на самом деле видели за ним все тот же восточный способ производства в его русской разновидности, все те же идеалы высоконравственной уравниловки и нищеты.

Если подходить с позиций сокровенной географии духа, то самые махровые крепостники и самые гуманные либералы оказывались вместе на восточной половине поля, выступая за консервацию сельской общины. А противостояли их совместному фронту немногочисленные люди западной ориентации с их идеалами прав гражданина, собственника, свободного человека. Трагедия и загадка эпохи – почему великая русская культура поддерживала не этих немногочисленных русских европейцев (согласен, русский кулак-мироед или миллионщик с замашками извозчика симпатий не вызывают, но неужели извозчик без миллионов был милее?), но вместо этого хором занялась апологией бунта. «Пусть сильнее грянет буря, к топору зовите Русь!» – пел гражданственный дуэт Некрасова и Горького. Как вышло, что Блок, великолепно владеющий музыкой языка, с длинными пальцами и породистым лицом аристократа, в порыве болезненного вдохновения обещает повернуться к Европе «своей азиатской рожей»? Феноменальная жажда раствориться, уйти от невыносимой ноши наследственного достоинства и ответственности.

Боже упаси читать Блоку нотации. Он всего лишь голос эпохи, к тому же один из самых чистых и сильных. Но от Пушкина вы бы такого не дождались. Касательно своей «африканской рожи» тот не обольщался, но и хихикать над ней никому не позволял. Не был более европеец, чем его рафинированные потомки.

Что-то случилось. Со времен Ивана III Россия, двигаясь к пику могущества, укрепляла именно западное крыло своей культуры. Во второй же половине XIX века усилились латентные восточные влияния. Отчасти благодаря подъему нового пласта «народно-континентальной» сословной культуры, отчасти из-за территориальных приращений на восточном фланге и ретирад на фланге западном.

СОВЕТСКАЯ ЭПОХА. АПОФЕОЗ ВНЕГЕОГРАФИЧНОСТИ

Коммунистическая идеология «по определению» внетерриториальна. Интересы пролетариата всюду одни и те же, поэтому не так уж важно, из Англии или Анголы пришли товарищи: терять им все равно нечего, приобретут же они весь мир, где опять же разница между Англией и Анголой значений иметь не будет.

Вполне органичная и последовательная стратегия пролетарских вождей в этом случае – отделение населения от корней, связывающих его с почвой (роль корней играет институт собственности или сложившиеся оседлые традиции) и превращение в пчелиный рой над разрушенными сотами, которому не остается ничего, кроме как жалить и гибнуть.

Не очень старательно закамуфлированная идеология номадизма просвечивает через все прорехи советской эпохи. В военно-кочевой орде каждый человек – воин. Точно так же Советская Россия отвергала принцип профессиональной армии, характерный для оседлых сообществ, и отступила к идее массового милитаризма. Добродетелью считалась жизнь в отрыве от собственного дома, от семьи, с постоянной готовностью встать и скакать в ночь по первому слову вождя. Само слово «вождь» – тоже не из лексикона оседлых сообществ. Еще в эпоху первых чингизидов путешественник, пересекавший величайшую кочевую империю Евразии, отметил, что «все здесь принадлежит хану до такой степени, что никто не смеет сказать: «Вот это мое, а вот это его»; ибо все собственность хана...». С поправкой на понятие государственной или общенародной собственности, которой распоряжалось непосредственное окружение вождя, мы видим очевидный постулат социалистической экономики.

Сугубо военно-кочевая организация или, точнее, топология власти. Абсолютное равенство в правах (в бесправности) огромного большинства рядовых членов сообщества и абсолютная концентрация власти в руках немногочисленной свиты вождя. Вместо сложной иерархической пирамиды оседлой власти со множеством чиновников, наместников, ревизоров и контролеров советская власть на ранних этапах имела вид плоского блина ордынского равенства в основании с высоченным шпилем власти, сосредоточенной в центре.

Экономическое управление также осуществлялось методом прямого контакта с производителем, когда посланные ставкой отряды изымали необходимый продукт и отправлялись далее. Полномочия их ограничивались лишь числом патронов в обойме, а заботы о будущем процветании вверенных им территорий они проявляли не более, чем ордынские сборщики податей в XIV веке.

Страна осознанно поддерживалась в состоянии вздыбленного кочевого лагеря. Принудительные, полупринудительные и добровольные перемещения охватили десятки миллионов людей. Зэки, военнослужащие, неблагонадежные народы, сосланные представители враждебных классов, упоенная энтузиазмом молодежь, брошенные по разнарядке специалисты на стройках первых пятилеток – за несколько десятилетий в СССР возник целый пласт народа, всю жизнь провёдший если не в тюрьме, то в общежитиях или казармах.

Территориальная политика сталинизма – предмет особого, достаточно интересного исследования. Нас пока задевает лишь частный ее аспект: что происходило с географией духа. Происходило вот что: на фоне официальной доктрины глобально-внетерриториального борения за классовую справедливость, на фоне нарочитого отрицания географического своеобразия происходящих процессов и даже отрицания самой социальной и политической географии, страна со всей очевидностью (для непредвзятого наблюдателя!) разворачивалась на рельсы однозначно-азиатского развития.

Перекос и внутренний надлом по-своему органичной утопии пролетарского глобализма обозначился, когда мечта о мировом господстве Коминтерна сменилась прагматической необходимостью строить коммунизм в одной, отдельно взятой стране. Идеология требовала бескорневой экспансии, экспроприации и постоянного перекочевывания от одной богатой, не разграбленной территории к другой, еще не затронутой процессом пролетаризации. Практика же вынуждала пользоваться ресурсами одной и той же земли, что волей-неволей заставляло думать о завтрашней дне и не только экспроприировать , но и как-то позволять людям выжить, чтобы было с кем вести битву за урожай будущего года. Вся история советской эпохи и есть постоянное лавирование между бескорневой и внетерриториальной теорией и оседлой практикой.

Скрытое противоречие выпирало буквально отовсюду. Классическое отражение официальной внегеографичности эпохи – памятный людям средних лет плакат, где мускулистый бело-черно-желтый пролетарий выдавливает сок из хилого буржуа в цилиндре и полосатых брюках, изобличающих постыдную принадлежность к европейско-американской культуре. Задуманная как чисто классовая агитка, картинка помимо воли создателей несет вполне очевидный геополитический смысл. Трехцветная афроазиатская троица против одного жалкого европейца; сохраняя внешне верность внегеографическому подходу, держава на самом деле последовательно оттесняла русский народ от его европейских корней и подталкивала к растворению в классовой, а на самом деле во вполне геополитической солидарности с Третьим миром.

Во времена Ленина номадизм новой культуры был искренним и естественным. В этом его единственное достоинство. Варварская,

но крепкозубая молодая волна, не жалея своей и чужой крови, стремилась заполонить мир. В послесталинскую эпоху, когда СССР вполне осознал себя как географическую реальность, официальные проявления внегеографичности становились все более лживыми и искусственными. С одной стороны, география и геополитика были необходимы режиму. С другой – они грозили открыть слишком уж неприятную правду.

Из всех стран с развитой фундаментальной наукой только в СССР физическая (наиболее безобидная) география опережала по статусу и престижу географию политическую, социальную, экономическую и культурную.

Тоталитарная концепция равенства вполне очевидно имела территориальные измерения. Пространство первого в мире социалистического государства, населенного новой исторической общностью людей – советским народом – должно быть изотропным, то бишь равным по всем направлениям. Если география говорит, что это не так, – тем хуже для географии.

Точно улавливая социальный заказ, советская культура лепила цельный и по-своему симпатичный образ географического тоталитаризма. «От Москвы до самых до окраин», «От тайги до британских морей», «На земле, в небесах и на море» – более конкретные и менее размашистые описания «нашего» пространства казались вроде как чем-то неприличным. И куда уж там говорить о географических границах внутри Союза – будь то граница между исламской и христианской культурой, между нациями, между хозяйственными укладами. И в самом деле, какая разница, если все принадлежит хану и нет границ власти его...

Культура – вещь более трудно осознаваемая, чем наука. Даже грамотные, вполне рационально мыслящие инициаторы перестройки, очевидно, не подозревали, насколько глубоко сидел в них дух советской внегеографичности. Вполне в рамках марксизма они заботились о социальных и экономических проблемах, интуитивно отбросив на второй план вопросы территориальной организации. Горбачев, рассуждая об «общеевропейском доме», был настолько советским, что ни разу не попытался объяснить, как он намерен вступать в этот дом: купно со Средней Азией или же расстелив ее за порогом наподобие цветного коврика.

Возможно, и даже вполне вероятно, команда Горбачева сознавала геополитический аспект перестройки и трактовала переход к «общечеловеческим» ценностям как поворот лицом к ценностям европейским. Но при этом оставалась в плену мифа о внутренней цельности Союза, который-де можно целиком, как авианосец, аккуратненько развернуть из восточных квадрантов в западные. В этом плане они были законченными территориальными тоталитаристами, воспитанными в духе прежних представлений.

Первые же свободные выборы народных депутатов СССР в 1989 году показали катастрофическую неоднородность территории Союза. Весь развитый (относительно, конечно!) и урбанизированный северо-запад страны, начиная от Риги и кончая Воркутой и Норильском, проголосовал против представителей партийной номенклатуры. Весь юго-восток (Казахстан и Средняя Азия, причем Казахстан в несколько меньшей мере) хором проголосовал «как надо», избрав первых секретарей и лишь чуть-чуть не добрав до застойных 99,8 процентов.

Ссылка на возможную подтасовку данных в азиатской части страны не работает. Подтасовка, скорее всего, была, но горожане европейской части страны почему-то сумели самоорганизоваться и обеспечить контроль. Восток не смог, не захотел, не проявил инициативы.

Вспомнив изотропные результаты брежневских голосований, легко понять, что в доперестроечные времена вся страна жила по азиатским правилам. Разрушение политического тоталитаризма сразу откликнулось смертью тоталитаризма территориального. Старо-европейская часть державы кинулась догонять ушедший вперед Запад, азиатская часть поспешила законсервировать прежний механизм управления, но ненадолго – в перспективе неизбежен дрейф к фундаментализму. Наиболее сложные проблемы разыгрались на территории новоевропейской – Кавказ, Закавказье, Заволжье.

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО: ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА

Как бы противны ни были государственные антирусские акции в Прибалтике, нельзя не признать, что европейское законопослушание и рационализм народов там позволяют не переступать грани кровопускания. Даже страшная провокация в Мединкае не подняла ответной волны насилия против русских, на что, очевидно, рассчитывали инициаторы убийства таможенников. На востоке куда более грубые и примитивные подделки вызывают выплески иррациональной резни, которые легко используются мелкодеспотичными стратегами.

Но разве не именно этими методами управляли Советской Россией всего 30 – 50 лет назад? Переход от системы военно-демократических ценностей номадизма к оседлому правлению фиксированной территорией шел по пути, проверенному восточными деспотиями прошлого. Официальная внегеографичность культуры была призвана замаскировать этот факт, и до поры до времени ей это удавалось.

Между тем в жизнь советского человека незаметно входила атрибутика континентального Востока. Бездарный спор о том, следует ли предать тело Ленина земле, очевидно, не имеет решения, потому что спорят две разные системы ценностей. Но у него есть одна безупречно-логичная сторона, позволяющая взглянуть на дело с географической точки зрения. Мавзолеи, как элемент культуры, присущи Востоку. В европейских городах их нет. Не было их и в дореволюционной Москве, и только Сталин взял на себя смелость заставить советский народ следовать новому канону.

Если Петр Великий целой огромных тягот и напряжения перебросил столицу империи на берега Балтики, открыв Россию европейскому влиянию, то Ленин аккуратно прикрыл окошко, а столицу отодвинул назад, в Москву. Подальше от греха и от западных ветров. Если это не элемент геополитической культуры, то что же? Сталин тоже вполне ясно продемонстрировал свои приоритеты, построив железный занавес именно на западном фланге державы, но нежно лобзаясь с вождями Востока. Неизбежный прагматический дрейф державы в послесталинские времена в сторону западного экономического и информационного пространства дырявил великую сталинскую стену и столь же закономерно вызывал трудности на восточных рубежах.

Эклектичные заимствования языческих ритуалов и символик главным образом с Востока сформировали уникальную в своем своеобразии советскую культуру. Здесь тысячекратно тиражированные фигуры вождя на всех главных площадях главных городов – вполне в традициях кочевой скифской степи, размеченной столь же стандартными каменными плосколицыми изваяниями – «бабами». В этом нет ничего обидного. «Скифские бабы» – абсолютно необходимый для кочевой культуры элемент освоения огромного пустого пространства. В глазах номада они очеловечивают степь, подтверждают его право на наследное владение территорией, ее принадлежность к определенному культурному ареалу. К тому же изваяния стандартны лишь на первый взгляд – в них масса нюансов и художественных деталей. Как, между прочим, и в ленинских статуях. Хотя сама по себе стандартность – очень характерная черта, объединяющая внетерриториальность советской культуры с внетерриториальностью кочевников.

Этот же принцип стандарта тщательно соблюдался в подборе наименований улиц и площадей. Где бы ты ни находился, тебя окружает монотонный культурный ландшафт, изотропное пространство, до того монолитное, что хоть режь его ножом и мажь на хлеб...

Восточные языческие стереотипы просвечивают в гипертрофированном официозном культе «вечных огней» – элемент зороастрийской традиции огнепоклонников. При этом не требовалось, чтобы огонь был настоящим – в школах в струе вентилятора просто

трепетали красные лоскутки; а вентилятор большую часть времени был выключен. Важен принцип единообразия. И путь не говорят нам о кощунстве, ибо по сути кощунственно было тиражировать эти газовые горелки, не захоронив всех погибших и не позаботившись о составлении их списков и сборе документов.

Память о воинах – одно дело, а выбор ритуала и форма ее материального воплощения – другое. Мы говорим не о памяти, а о символике. Дореволюционная Россия предпочитала единичный памятник героям Плевны или Шипки. И в этом смысле она следовала европейскому канону.

Советская традиция предпочитала рассеять как можно больше одинаковых меток своего внетерриториального менталитета, заботясь чтобы микроалтарь единой для всех веры горел и на севере Сибири, и на берегу Аральского моря, где не было боев.

Нет смысла перечислять далее. СССР незаметно для себя перенял из политического жаргона самоназвание «Восток» и свыкся с почетным имиджем и выразителя интересов восточных стран. Шаг, на который едва ли пошла бы Россия Романовых. Если она и звала себя Востоком (устами Тютчева), то лишь по отношению к Западной Европе, но отнюдь не в глобальном смысле. Советские ракеты тоже назывались «Восток», наши партийные лидеры до Горбачева, как типично восточные люди, считали невозможным появиться перед трудящимися без головного убора и т. п. и т. д. Масса больших и малых деталей отражает плавный, но последовательный дрейф официальной общегосударственной идеологии все дальше и дальше от Европы.

Вплоть до того, что реальные понятия о сторонах света были подчистую заменены идеологическим клише и газеты привычно включали Японию в число «семи промышленно развитых стран Запада». Очень точная обмолвка: раз мы и наши друзья Восток, значит, все наши противники – Запад.

Несомненно, с момента осознания себя некоторой территориальной структурой с вполне естественными экономическими, информационными, геополитическими интересами, СССР был вынужден все чаще оглядываться на Запад. Западное влияние быстро росло по мере экономического развития страны. «Жигули» строили по итальянской технологии, ядерные секреты воровали в Америке и даже злополучную кукурузу Хрущев привез оттуда же. С Востока заимствовать было нечего. Мы сами были Востоком! Постепенно и неизбежно готовился западный поворот страны, а с ним и территориальный раскол.

Сегодня, тоскуя о благодатных временах единого СССР, российское общественное мнение тем не менее едва ли захочет брать на себя заботы о поддержании благополучия о постоянно дерущемся и требующем помощи восточном обозе. Рационализм мышления растет

быстро, хотя тенденции к удорожанию жизни толкают людей в противоположную сторону. Но кажется достаточно ясным, что Союз в его прежнем виде уже не собрать без большой войны, а на это никто пойти не сможет.

Русское национальное мышление было слишком глубоко травмировано и размазано по огромной территории СССР во времена разгула ленинско-сталинской кочевой вольницы. Русские перестали быть компактной в духовном и территориальном смысле общностью. Один стиль мышления характерен для русскоязычных жителей Средней Азии, другой – для районов старорусского центра, третий – для русских в Прибалтике. Тщетны надежды разыграть русскую карту для восстановления прежней государственной структуры. Единственное, на что у нас хватит сил (дай Бог, чтоб хватило!) – это налаживание более или менее упорядоченных государственных структур в рамках Российской Федерации.

Пуст и расчет на православие. В лучшем случае оно способно заполнить духовную пустоту и залечить ушибы у пострадавшего русского народа. Но и тогда вектор его активности будет направлен не вовне, как во времена Тютчева, а внутрь, врачуя глубокую рану на месте опустевшего старорусского центра – сиречь Нечерноземья.

Точно также ущербны и новые игры патриотов и державников с евразийской сущностью русской культуры. О да, евразийство – наша плоть. Но в сегодняшней оранжировке это открытая концепция превратилась в знамя ортодоксальной автаркии. Вместо тютчевского союза христианских церквей России предлагают симбиоз наиболее фундаменталистских течений православия с исламом в надежде еще раз затвориться в недрах континента и пересидеть волну ненавистного западничества.

Идея вытекает не из географических реалий, а из умозрений эксцентричных российских эстетов, на закате серебряного века умилявшихся панмонголизму, а затем передавших наследство группе левых эмигрантов-«евразийцев» во главе с князьми Н. Трубецким и Д. Святополк-Мирским. В традициях Шпенглера они торопливо предрекали закат Европы, а русскую революцию и мировую войну понимая как «...результат ложного пути, по которому шла европейская культура. Эта культура гибнет, а на смену ей с Востока – из Азии и соседних с ней частей Европы идет новая культура, проникнутая национализмом, монархизмом и идеями православной церкви. Учение Е. было проникнуто глубокой мистикой, отголосками старого славянофильства...» – назидательно разъясняет Малая Советская Энциклопедия (1929); и затем резюмирует в стиле эпохи: «Е. не имеет никакого влияния».

Трепетные аристократы 20-х годов, возможно, еще могли искренне любоваться темной, но мощной силой, грядущей с Востока и несущей смерть затхлому европейскому мирку. Характерно, одна-

ко, что они предпочитали делать это из Парижа. Но когда сами представители «силы», чуждые сантиментов и мало склонные к «глубокой мистике и отголоскам старого славянофильства», лишь в третьем поколении отмывшиеся от лубянской крови и слизи, повторяют тезис об упадке Запада, это выглядит как холодный обман с целью сохранить тоталитарную государственную структуру по образцу восточной деспотии, которая давала им стол и кров. Кому-кому, а им лучше других известно, что Советский Союз черпал технологию и науку, в том числе и военную, не в Монголии и не на Тибете.

В отличие от Тютчева этих людей интересует не Россия, а СССР. Не культурно-этническая, а тоталитарно-идеологическая консолидация, для которой необходим огромный штат казенных людей, неусыпно блюдущих равенство, братство, государственную безопасность, идеологическую выдержанность, моральную устойчивость и т. п. Неважно, под лозунгами коммунизма, ортодоксальной церкви, евразийства или, скажем, панславизма, пантуранизма. Слова не имеют смысла, раз евразийство понимается как отрыв России от Европы и ее разворот в Азию, поближе к надежным людям вроде Саддама Хусейна или аятоллы Хомейни. Впрочем, слишком далеко на Восток тоже нельзя: там, черт возьми, Япония.

Невелика хитрость сообразить, откуда дует ветер. У европейских историков нет сомнений в том, что Д. Святополк-Мирский и его окружение опирались на отеческую опеку НКВД – до той поры, покуда их считали полезными. О втором источнике и составной части евразийства – Русской православной церкви – мы скромно умолчим. Где кончаются ее органы и начинаются органы иных учреждений, до конца, видимо, выяснить никому не удастся. Что же касается новых евразийцев, пасущихся на страницах газеты «День» и «Нашего современника», то они не особенно и скрывают, из каких источников черпают свою премудрость.

Да бог с ними. Их право, в конце концов. Только давайте будем последовательны и назовем этот державный идеал не евразийским, а азиевропским. Так будет ближе к истине и дальше от честных мыслителей России серебряного века. Если те в чем и виноваты, то лишь в чрезмерной увлеченности и наивности.

Покуда с легкой руки сталинских молодцев СССР отсиживался в вымышленном мире тоталитарной внегеографичности (все республики, все народы и нации равны, а равнее всех Комитет!), в освободившуюся нишу реального евразийства потихоньку втиснулась Япония. Она нашла удачное сочетание восточного коллективизма, самоотречения, культа императора с западной предприимчивостью, индивидуализмом и буржуазным парламентаризмом. Теперь, глядь, туда же целит и Турция, тоже склонная черпать из двух источников... Россия же все глубже погружалась в Азию, размазывая

свой этнокультурный и экономический потенциал по огромным пространствам Союза и не слишком богатых братских стран. Тем временем шло сначала незаметное культурное отставание, затем технологическое и, наконец, примитивно-территориальное геополитическое отступление.

Если еще раз замкнуться за железным занавесом в самообольстительной попытке накопить сил и выскочить этаким чертиком из шкатулки, то в реальности это приведет лишь к циклическому повторению спазма: культурный, экономический и, наконец, территориальный упадок. Так великий Хорезм, разъедаемый изнутри идеологией кочевничества, столетиями мучительно скукоживался до размеров ничтожного Хивинского ханства, которое в XIX веке контролировало лишь четыреста квадратных миль пригодной для жизни территории.

Геополитический выбор ясен. Или Россия, сохраняя истинно евразийскую прозрачность с Запада на Восток, преобразует и транслирует европейскую культуру, как это было до Октября, и таким образом вписывается в глобальную тенденцию расширения европейского ареала. Или она опять поворачивается к Западу бронированной задницей и замирает в привычной позиции ленинско-сталинского азиевропства. В этом случае она тоже впишется в мировую тенденцию. Но с другого конца, как это случилось с Ираном, Ираком и брежневским Союзом ССР. Точнее говоря, ее в эту тенденцию впишут.

Юрий Каграманов

ЭКОНОМИКА ± ИКОНОМИЯ

Икономия (церк.) – строительство душ. Сугубым прагматикам оно может показаться делом если вообще нужным, то где-то «на своем месте» или « в свое время», а к экономике имеющим, в лучшем случае, лишь косвенное отношение. Это результат не только незнания истории, но также и недооценки психологического контекста, в каком ныне развертываются экономические реформы.

Судя по всему, психологию нашего общества, в его отношении к рыночной экономике, определяют сейчас две основные составляющие. Первая из них – инерция антикапиталистических настроений. Целые поколения воспитаны на том, что класс капиталистов есть воплощение мирового зла. Очень неоднозначная фигура реального капиталиста была подменена грубой карикатурой – как на плакатах какого-нибудь Дени или Моора, где «буржуй» представлен самодовольным толстяком в цилиндре, буквально купающимся в золотых монетах (кубизм тогда кстати подвернулся – он отлично передает грубость, элементарность, угловатость коммунистического мышления). То, что осталось от этого, мягко говоря, предубеждения, может получить новую пищу, ибо нарождающийся класс нуворишей пока что не столько делает настоящее дело, сколько спешит напомнить о тех сторонах капитализма, которые во все времена были действительно отталкивающими. Беспардонное флибустьерство и

Юрий КАГРАМАНОВ – родился в Москве в 1934 г. Закончил исторический факультет МГУ. Автор книг о западной культуре и философии, большого числа статей, публиковавшихся в журналах «Вопросы философии», «Иностранная литература» и др.

необузданное жуирование, коими отличаются наши новоявленные «бароны–разбойники», особенно режут глаз на фоне усиливающегося обнищания значительной части населения.

Вновь богатый зол и рад,
Вновь унижен бедный

Это, между прочим, не Демьян Бедный, это Блок написал.

Вторую составляющую назовем голым прагматизмом, или экономическим эгоизмом. Он может быть (а может и не быть – это зависит от того, к чему прилагается) полезен в смысле узкоэкономическом, но даже в таком случае он оставляет желать иного в смысле нравственном и гражданском.

Наверное, многие наши соотечественники готовы теперь разделить мысль, высказанную одним из корреспондентов Достоевского и попавшую в его «Дневник писателя»: «Пусть лучше идеалы будут дурны, да действительность хороша». Но в том-то и дело, что действительность бывает хороша лишь тогда, когда с идеалами тоже все более или менее в порядке. Нужна увязка практического с идеальным. Вот чего нам остро не хватает: м и р о в о з з р е н и я, которое отводило бы хозяйственным заботам определенное место, именно то, которого они заслуживают.

Где его взять, мировоззрение? Самый простой ответ: перечеркнуть проклятое коммунистическое прошлое, вернуться в 1913 год, там и поискать. Полагаю, что это в общем и целом правильный ответ, надо только иметь в виду, что ничего годного к употреблению мы там не найдем, а найдем лишь богатый материал для переосмысления. Оно тем более необходимо, что коммунистическая идеология опиралась у нас не только на Маркса, но и на некоторые собственно российские традиции.

Я не касаюсь вопроса об общинном сознании, о котором уже достаточно сказано; меня сейчас больше интересует сознание образованных слоев. На протяжении всего XIX и добольшевистской части XX века оно в очень сильной степени пронизано антикапиталистическим духом. Наилучшим образом это передает художественная литература. Мы найдем в ней и чисто патриархальное недоверие к таким «сомнительным» сферам деятельности, как торговля и промышленность, и акцентированное понятие о дворянской чести (особенно характерное для пушкинского поколения), скопированное у западного (только не английского) дворянства, свысока смотревшего на третье сословие, и интеллигентское гнушение (частью у дворянства перенятое) «барышничеством», и идеализацию «свободного» люмпена, босяка (Горький). И очень мало найдем в ней по-человечески привлекательных и просто порядочных промышленников или купцов. Сколько таковых, например, у Островского, лучше других знакомого с этим кругом?

Наверное, три-четыре, не больше. И сколько на них приходится разных кит китычей? Положительных деловых людей легче встретить у писателей второго ряда, вроде Мельникова- Печерского.

Так что отчасти купцы и промышленники в нашем отечестве были обойдены любовью, в которой они, естественно, нуждаются, как и все остальные люди. Более других испытывает потребность в общественной поддержке инициативный предприниматель, создающий новое, перспективное дело, множащее рабочие места, расширяющее рынок и т.д. Французский экономист Жан Батист Сей, чью книгу (вероятно, «Катехизис политической экономии») Андрей Штольц подарил Илье Обломову в день его именин, сравнил предпринимателя с канатоходцем: бывает, что он смертельно рискует и потому нуждается в том, чтобы те, кто внизу, следили за ним с сочувствием, а не с осуждением. Кстати говоря, подлинное признание книга Сея получила совсем недавно, лет двадцать-тридцать назад, и не у себя на родине, а в

Соединенных Штатах: как теперь считают, впервые в истории Сей указал, что именно предприниматель (а не просто капиталист или, скажем,менеджер) является душой индустриального общества и что им движет не столько стремление к прибыли, сколько жажда отличиться, выйти в люди или паче того прославиться. Выходит, что выбор Андрея Штольца был в высшей степени точным. А с другой стороны, надо признать, что нелюбовь к деловым людям была продиктована не просто теми или иными предубеждениями; сама жизненная практика ее питала. Тем более что у нас долгое время преобладал торговый, непродуктивный капитализм, обычно движимый наиболее элементарными – приобретательско-накопительскими мотивами. Когда «дедушка» Крылов жаловался на современных скопидомов:

Почти у всех во всем один расчет:
Кого кто лучше подведет,
И кто кого хитрей обманет, –

он, может, что-то и сгущал, но, в общем-то, наверное, основывался на известных фактах. И Островский не стал бы слишком наговаривать на социально близких ему купцов. Заметим, что в обоих случаях дело касается более (в первом случае) или менее (во втором случае) патриархальной среды, где еще крепки устои и никому не надо объяснять, что такое грех. Парадокс, который в нынешние нерелигиозные времена не так-то легко понять (и который по этой причине обычно относится на счет лицемерия): вроде бы купчина истово верующий, если судить по тому, что и крестится он на все церковные маковки, и на пожертвования не скупится, а как окажется на своем «рабочем месте», так все норовит кого-то обмерить или обвесить. Да еще пословицу припомнит: «На то щука в море, чтоб карась не дремал».

По мере того, как устои расшатывались, карасям все больше приходилось держать ухо востро. Пореформенная эпоха изобилует

сетованиями по поводу того, что не хватает-де русским купцам и промышленникам торговой чести. В первую очередь это относилось к нуворишам – «чумазым» мильонщикам, колупаевым-разуваевым, легко и отнюдь не только в порядке исключения приминавшим многие освященные традицией понятия. Так что утверждение другого классика, Щедрина, о том, что «чумазый» идет «с фальшивою метою, с фальшивым аршином и с неутолимою алчностью», видимо, имело достаточные основания. Вместе с тем поостережемся, основываясь на подобных текстах, проецировать в прошлое наши нынешние представления об алчности, цинизме и т.д.: подозреваю, что в те времена добропорядочности было гораздо больше, чем это нам под силу вообразить.

Опять же факты говорят о высокой порядочности очень многих купцов и промышленников, особенно из старообрядческой среды. Вообще, феномен старообрядческого предпринимательства никем еще, кажется, всерьез не исследован. Чем объяснить довольно неожиданную, на первый взгляд, деловитость у тех, кто в религиозных вопросах были сугубыми традиционалистами? Может быть, все дело в относительной маргинальности старообрядцев, насильственно выброшенных на обочину русской жизни, в том, что они (особенно беспоповцы) были как бы «сами себе хозяева» (в этом – но только в этом, то есть в социальном, но никак не религиозном – смысле они близки западным протестантам). Во всяком случае, сочетание деловитости со строгостью нравов делает из старообрядчества элиту в истории русской торговли и промышленности.

В конце XIX – начале XX века складывается еще один тип делового человека – более просвещенного, а подчас и высококультурного. Лучшие его представители вошли в историю благодаря своей общественной и филантропической деятельности; нет нужды называть их имена – они у всех на виду и на слуху.

Но так как старообрядцы составили меньшую часть русского торгово-промышленного класса, а европейская косточка – и вовсе малую, то общий уровень торговой чести оставлял желать лучшего. Г.П.Федотов объяснял этот факт исторически: в России никогда не существовало развитого, хорошо организованного торгово-ремесленного сословия, сколько-нибудь влиятельного в народной жизни; отсюда в отличие от Запада – слабость корпоративного самосознания. А с распространением просвещения у нас получил развитие антикапиталистический дух, который сбивал с толку наших капиталистов, загоняя их в угол. «Русская интеллигенция, – по словам Федотова, – отказывалась понять разницу между торговлей и спекуляцией, между эксплуатацией и предпринимательством. Что удивительного, если сами представители торговли и промышленности легко теряли сознание этой разницы?».[1]

[1] Г. Федотов. Проблемы будущей России. / «Современные записки», 1930. № XLIII, с. 422.

Слабость профессиональной этики можно объяснить также и отнологически – исходя из особенностей российского сознания, в своих основах сформированного христианством.

Человечество прошло через теологическую школу, в частности по классу экономики, вот почему, пытаясь объяснить эволюцию экономических представлений начиная со средних веков, мы неизбежно упираемся в христианскую теологию. И очень трудно представить, как можно двигаться дальше, не повторив азов.

Сейчас стали заслуженно популярными взгляды Макса Вебера, изложенные в его трудах о протестантской этике. Вебер (который сам был неверующим, точнее, агностиком) блестяще показал, что решающий толчок развитию капитализма дала именно теология. Над колыбелью «экономического человека» склонялся женевский реформатор Жан Кальвин, благословивший свою паству трудиться в поте лица на ниве хозяйственной жизни. Ни о какой пользе, ни о каком земном счастье здесь не было речи. Для кальвинистов и производных от них пуритан жизнь состояла из сплошных постов и воздержаний; в сущности, они были монахами в миру, выполнявшими небесный урок, как они его понимали, – преобразовывать земную, хозяйственную жизнь на рациональной основе, *не* столько ради ее самой, сколько ради того, чтобы показать себя достойным спасения.[1]

Работы Вебера подтверждают то, что у нас долго считалось крамолой: сознание определяет бытие. Правда, перегибать палку в обратную сторону тоже не стоит: бытие, в свою очередь, в большой степени определяет сознание. В аспекте нашей темы это означает, что общественная практика подталкивала реформаторов в определенном направлении. (Некоторые западные авторы берут в расчет также и факторы антропологического ряда, указывая на особо деятельный характер романо-германских этносов). Но никакая практика не привела бы к капитализму, если бы не произошли решающие перемены на уровне религиозного сознания.

Перемены, хотя и кажется, что они произошли вдруг, исподволь готовились на протяжении долгого времени. Известный оппонент Вебера Вернер Зомбарт (тоже немецкий социолог) не то чтобы опроверг, а, скорее, дополнил его, указав, что благоприятный для зарождающегося капитализма менталитет создавался уже в лоне католицизма. Над колыбелью «экономического человека», писал Зомбарт, склонялся св. Фома Аквинский, живший двумя-тремя столетиями раньше Кальвина. Разделив этику на две «целевые ступени», мирскую и надмирную, св. Фома признал за первой некоторую

[1] Ю.Бородай в статье «Почему православным не годится протестантский капитализм» («Наш современник», № 10, 1980) полагает, что конечной целью кальвинистов был «успех, приносящий власть». Но так говорить о кальвинистах XVI–XVII веков – значит путать их с их отдаленными потомками. На самом деле конечной целью для них было войти в Царствие Небесное.

самостоятельность. Тем самым он благословил тип энергичного, толкового в практическом смысле мирянина, будь то лавочный сиделец, мореплаватель или цеховой мастер. Вебер отвечал на это, что в католической и ренессансной Италии получили большее развитие другие типы – капиталиста-авантюриста, иногда почти разбойника, калькулятора и спекулянта, тогда как тип капиталиста – истового труженика стал возможен только в рамках кальвинизма. Наверное, здесь Вебер был прав, и все же не подлежит сомнению, что «дух капитализма» (по Веберу), он же «дух современной хозяйственной жизни» (по Зомбарту) пробудился задолго до Кальвина.

Не следует, таким образом, представлять дело упрощенно: некий богослов нашел счастливую формулу, которая направила западное человечество на путь истинный, приведший в конечном счете к нынешнему обществу изобилия. За этой формулой – «работа веков» (а может быть, еще и природа этноса), нащупывание, шаг за шагом, своего пути и, главное, сложная диалектика отношений «сознание – бытие», словом, все то, что создает облик цивилизации, ее конкретно-исторический тип.

Отличие русского пути от западного нередко преувеличивается; все-таки в обоих случаях направляющей силой было христианство. В конце концов католическая и православная его версии весьма близки друг другу. Лишь Реформация существенно выломилась из этой двуединой традиции.

Принято считать созерцательность склонностью русского ума, отличающей его от западного активно-практического типа (пара Обломов – Штольц). Но элемент созерцательности всегда был и в католическом христианстве, оно без него немыслимо. Св. Бернард Клервосский отнюдь не выглядел в свое время (XII век) белой вороной, когда писал, например, такое: «Работать на мельнице хорошо, в поле лучше, но еще лучше – лежать на печи». (Надо ли пояснять, что лежание на печи в данном случае бесконечно далеко от того, что сегодня именуется кайфом).

Другое отличие: считают, что чувство собственности развито на Западе, а у нас оно слабее, зато сильна привычка (не в советское время родившаяся, но в советское время, в конечном счете, окарикатуренная) быть выше таких понятий, как «твое» и «мое». В общем, это, конечно, так, но учтем, что и на Западе тоже умеют быть выше. Ибо отношение христианства к собственности в принципе неоднозначно. За примером не обязательно залезать в средневековье. Вот широко читаемый сейчас К.С.Льюис, почти наш современник, влагает в уста дьявола следующие слова: «Вообще чувство собственности всегда следует поощрять. Люди вечно заявляют о своем праве собственности, что звучит одинаково смешно как на Небесах, так и в аду. Мы же должны их в этом поддержать» [1]. Повторяю: это говорит дьявол.

[1] К.С.Льюис. Письма Баламута. М., 1991. С. 98.

Антиномичная обращенность одновременно к миру иному и к миру сему (чем и объясняется сочетание созерцательности и активности, положительного и отрицательного отношения к собственности) равно свойственна католичеству и православию, только выражается несколько по-разному. В православии (русском, во всяком случае) сильнее «мистический запой» и в то же время больше доверия к «плотяному» миру, зато в католичестве больше заботы об устроении здешнего бытия. Эта его черта была резко акцентирована кальвинизмом, ставшим на путь методической организации всей хозяйственной жизни (ценой почти полного отвержения мистико-поэтической и созерцательной стороны христианства). Хозяйственный стиль кальвинизма («хозяйственный запой», если угодно) постепенно был усвоен также иноконфессиональным Западом (разница в экономических успехах между протестантскими и католическими странами уменьшалась со временем, а в настоящем совершенно стерлась: скажем, католическая Италия за последнее десятилетие опередила в этом отношении протестантскую Англию).

То, что было в русской душе привлекательного – широта, «песни ветровые», – сочеталось с некоторой неряшливостью (если сравнивать с Западом) в практическом, бытовом отношении, некоторым пренебрежением рациональной стороной ради «живой встречи с Богом». Вот отчего в плане профессиональной этики Россия проигрывала в сравнении с «Европою пригожей» (хотя и не слишком сильно – преувеличивать разницу тоже не следует), где, в частности, торгово-промышленная среда обращала на себя внимание своей вышколенностью, культурной «причесанностью». Здесь, впрочем, сказался не только религиозный фактор, но также и фактор культуры, в нашем отечестве гораздо менее укорененной: как-никак Западная Европа – прямая наследница античной культуры, а Россия – косвенная. На Западе быт глубоко «обработан» культурой, что русским, странствовавшим по «Европиям», бросалось в глаза уже в XV–XVI веках, если не раньше.

Из христианского источника берут начало и представления о справедливости, в определенных условиях претворяющиеся в требования экономического равенства (в нехристианских странах всегда было сколько угодно бедных, которые завидовали богатым и хотели бы очутиться на их месте, но идея равенства там никогда не рождалась).

Сегодня, наверное, уже нет необходимости доказывать, что идея справедливого уравнения материальных благ есть вульгаризация христианской идеи, годной *только* для монастырской жизни, о чем писал еще в IV веке Василий Великий. Христос учил, что все люди равны *перед Богом*. Не только «на небеси», на земле тоже. Но – перед Богом. Этим нисколько не перечеркивалось естественное неравенство людей, слишком очевидное, чтобы оно нуждалось в

каких-то специальных подтверждениях (аналогичным образом в наше время равенство людей перед законом вовсе не означает их равноценности в естественном, неюридическом смысле). Гераклитовское «один для меня десять тысяч, если он лучший» не утратило своей истинности, но лишь отступило в тень перед истиной Христа. Просто здесь две разноуровневые истины, которые надо принимать в их противоречивом единстве, не пытаясь оторвать друг от друга.

Коммунистическая идеология, оформившаяся в XIX веке и наломавшая столько дров в XX, была нова лишь своим «научным» обличьем; соблазн же, сидевший в ее основе, далеко не нов, он возник задолго до Маркса и Энгельса, задолго даже до первых социалистов-утопистов (сочетавших принцип равенства, взятый ими из христианства, с принципом всеобщей регламентации, заимствованным у языческих деспотий вроде Китая или империи инков). Хорошо известно, что коммунистический идеал зародился в некоторых христианских сектах еще в эпоху средневековья. Что лозунг «Грабь награбленное» впервые выдвинул в XIV веке Иоанн Брюнский, проповедних-хилиаст из Кельна. Что развернутая программа уничтожения частной собственности или хотя бы уравнения имуществ была, например, у гуситов в XV веке, у анабаптистов в XVI веке и так далее, и так далее.

«Ход» мысли был один и тот же: высшее мерило всех вещей пытались превратить в некий элементарный, естественный аршин, с которым можно было бы подходить к явлениям повседневной жизни. Те, кого обуревает такого рода «революционое нетерпение», ставят себя в положение людей, о ком говорят, что они слышат звон, да не знают, откуда он. У земли свои права, иначе почему бы «Слово стало плотью»? А с другой стороны, «плоть» мира повреждена грехопадением, с коего момента он «во зле лежит». Грехопадением человек обречен на «хозяйственный плен», на то, чтобы «в поте лица зарабатывать хлеб свой», а в то же время в хозяйстве есть своя «софийность» (С.Н.Булгаков), есть элемент творчества, дающего место свободе, а значит, и неравенству. От этой коренной двусмысленности никуда не скрыться, надо просто различать, где небесное и где земное, не отделяя совершенно одно от другого, но и не смешивая одно с другим, не путая относительное с абсолютным, ибо в противном случае такая путаница выходит боком.

Особенность коммунизма нового времени в том, что он возник на волне механицистского и редукционистского мышления, которое в XIX веке культивировалось в научных кругах, от них перешло к разным семинаристам-расстригам и прочим недоучкам, а в нашем веке «овладело массами». Сам по себе этот тип мышления совершенно независим от коммунистической идеи (и совсем не обязательно к ней ведет, напротив, он может вести в противоположную сторону – эгоистического прагматизма) и потому благополучно ее пережил. Сейчас остро не хватает того

интуитивизма, который веками воспитывался христианством и умел обходиться без угловатых формулировок. Я бы сказал, что религиозное мышление сродни художественному в том смысле, что способно «объять необъятное»; оно сочетает противоречивые суждения, которые с логической точки зрения сочетать нельзя. Так обстоит дело с равенством: все люди равны, если смотреть на них «сверху», и неравны, если смотреть «снизу». Подобным же образом можно сказать о собственности, что это – одновременно и хорошо («снизу»), и плохо («сверху»). Партитура живой жизни вмещает и то и другое.

Идею равенства надо водрузить, так сказать, на то место, откуда она взята, и не пытаться осмыслить ее вне того контекста, в каком она была явлена миру. Только не следует понимать это, как приглашение к пассивному, квиетическому приятию хода вещей: дескать, пусть богатые богатеют, а бедные беднеют – в церкви все уравняются, а на том свете Бог воздаст каждому по делам его. Небесная мера не может не прилагаться к земным вещам (другое дело – *как* она прилагается); исходя из этого и нравственные суждения интересующего нас рода вполне категоричны: экономическое неравенство есть зло, собственность есть зло. Евангельские строки, относящиеся к богатству и богатым, слишком известны, чтобы их здесь приводить. Менее известны высказывания некоторых отцов Церкви, например, св. Иоанна Златоуста, обличавшего богачей столь же решительно, как и Карл Маркс, и за пятнадцать веков до Прудона сказавшего, что «собственность есть воровство»[1] но, конечно, в отличие от этих двух мыслителей, никогда не призывающего что-то *отнимать* у богатых).

Надо, правда, учитывать, что эти обличения были направлены против античных богачей – сибаритствующих и во всяком случае «гребущих под себя» (других в античности и не было). Фома Аквинский имел перед глазами жирующих флорентийских буржуа и потому, при всем своем «либерализме» в экономических вопросах, строго учил, что каждый должен оставаться «при пище своей» и что негоже бедняку стремиться к тому, чтобы стать богатым. Подлинное новаторство в этом отношении явил кальвинизм, расщепивший понятие «богатство» надвое – «для себя» и «для дела». Кальвинисты решительно порицали природную жадность, маммонизм, и на уровне потребления мало чем отличались друг от друга – тут у них было фактически «равенство в бедности». Но стремление разбогатеть «для дела», то есть для того, чтобы расширять его, не только допускалось, но и всячески поощрялось (у пуритан даже появились собственные святые – те, кому удалось приумножить состояние и в то же время опровергнуть римскую

[1] Точности ради заметим, что в рамках Церкви изначально прослеживаются две линии – более или менее терпимого отношения к социальному злу и решительного осуждения его. Последняя представлена, в частности, Иоанном Златоустом.

пословицу: «Добродетель – после денег»). С течением времени власть мирских благ вновь дала о себе знать, что уже в век Просвещения («смеющегося наследника аскезы», по выражению Вебера) стало заметно. И все-таки воспитанный кальвинизмом идеальный тип предпринимателя сыграл огромную роль в экономической истории Запада; его влияние оставалось весьма сильным на протяжении всего XIX и приблизительно первых двух третей XX века, да и сейчас еще ощущается, хотя значительно меньше.

Богатство, расходуемое на себя, даже с кальвинистской, а тем более с точки зрения других христианских конфессий есть зло, и наоборот, бедность есть благо. Оценка – из тех, которые в нынешние времена не так просто переварить (потому- то папа римский недавно вынужден был напомнить, что в отношении католической церкви к бедности ничего принципиально не менялось). Но из того, что бедность есть благо, отнюдь еще не следует, что на всех тех, кто беден, почила благодать. Св. Франциск «обручился» с «госпожой» Бедностью», Данте и Сервантес, каждый по-своему, прославили ее, но никто из них не обманывался на счет бедняков как таковых – это взяла на себя позднейшая (XIX века) «гуманистическая» литература. Бедняк, который мечтает стать богатым (а так ли уж много среди бедняков тех, кто довольствуется своим жребием?), не грешнее ли богатого?Не зря у немцев родилась пословица: за богатым стоит один черт, за бедным – сразу двое. Когда бедному выпадает жребий стать богатым или хотя бы зажиточным, он может стать лучше в нравственном отношении, а может стать хуже (а в сравнении с потомственными богачами нувориши обычно отличаются в худшую сторону). Поэтому максимализм сочетается в христианстве с реализмом: небесная мера прилагается к земным вещам не ради каких-то внешних социальных перестроений. Последние могут улучшить положение бедняков, или, наоборот, ухудшить, но в любом случае они не могут искоренить зло.

Ибо корень его – в природе человека. Это то, чего не хотели признать все коммунистические и социалистические перестроители. Ложь коммунизма сейчас понимается у нас преимущественно как ложь конкретных социально-экономических и политических программ; тогда как принципиальные, стратегические ошибки метафизического свойства, лежащие в их основе, осознаны явно недостаточно.

Первая из этих ошибок состоит в том, что зло пытались уничтожить, вырезать с корнем (в действительности пытались вырезать не только реальное зло, но еще больше – мнимое, то есть то, что злом на самом деле не является). Тщетные усилия – зло нельзя уничтожить, его можно лишь повязать, усыпить, в какой-то мере даже приручить.

Знаменитый психолог К.Г.Юнг сравнивал зло с тенью, кото-

рая неотъемлема от человека. Если человек пытается от нее оторваться, тень приходит в ярость; она тут же вырастает в размерах и нападает на своего хозяина, порою нанося ему серьезные увечья.

Вторая ошибка – пытаться схлестнуться со злом лицом к лицу. Образ рыцаря в белых одеждах, поражающего копьем дракона, вполне годится как метафора, но и только. В реальной жизни подобное фольклорное простодушие чаще всего не дает желаемого эффекта. Это ведь только на картинке дракон предстает таким глупым и заведомо обреченным страшилищем. На самом деле драконы хитры и коварны, они избегают прямых столкновений, предпочитая нападать с тыла, а также искусно прибегают к камуфляжу и другим испытанным уловкам (пореволюционная наша история снабдила нас в этом плане богатым иллюстративным материалом).

Локализовать зло, отождествить его, скажем, с буржуем (или с кем-нибудь еще психологически удобно, зато потом за это временное удобство приходится расплачиваться. На самом деле в экономическом неравенстве – лишь малая толика зла, которое не может быть сведено к определенным формам собственности, организации производства и распределения и т.п. Все эти вещи не являются самыми важными в жизни человечества. Непропорциональное смещение интересов в сторону экономики – вообще отличительная черта современной эпохи, а советскому человеку в этом смысле «повезло» более других: его ткнули носом в экономику, приказав не подымать очи горе, что привело к почти маниакальной сосредоточенности на процессе производства, на том, как сеют, жнут, варят сталь, водят поезда и т.д. (при том, что сеять, жать и прочее у нас стали хуже, чем прежде, и хуже, чем это делают в других странах). И сейчас шея остается в прежнем фиксированном положении, только внимание переключается с процесса производства на распределение собственности – кому что достается; в очередной раз приходится вспомнить Мольера: «Завистники умрут, но зависть будет вечно».

Не так важно, богат ты или беден, гораздо важнее другое, – что опять-таки по нынешним временам переварить нелегко – степень внутренней свободы от каких бы то ни было материальных благ. Сам ап.Павел служит в этом смысле примером: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке...» (Фил. 4, 12). Это очень высокий пример, но каждый, наверное, мог бы привести примеры, взятые из жизни. Мне, скажем, приходят на память многие из тех, кого в советское время называли «бывшими» и кто легко переносил утрату прежнего благосостояния, а иногда и подлинного богатства.

У нас настолько все плохо, с какой стороны ни посмотри, что остается верить лишь в некую таинственную диалектику, ставящую падение непременным условием последующего восхождения. Об этой

«последней вере» хочется сказать словами одного из персонажей «Униженных и оскорбленных» Достоевского: «Мы не потеряем, а, напротив, еще выиграем; мы всплывем, всплывем, и девиз наш в настоящую минуту должен быть: Pire ça va, mieux ça est» (чем хуже, тем лучше).

Если мы действительно «всплывем», то на этот случай нам полезно иметь некоторые представления *о должном*, не в последнюю очередь в той части, которую Вебер назвал «морально-хозяйственным климатом». Чтобы климат был сколько-нибудь здоровым, нужны, как я полагаю, следующие вещи.

Во-первых, необходимо подлинное религиозное возрождение. Нельзя отказать в высокой нравственности многим из тех, кто сами себя считают атеистами, но можно усомниться в их атеизме. Очень туманная это вещь – атеизм; обычно за ним скрывается подсознательное ощущение Бога, которое дает о себе знать или позитивно, или негативно, то есть как богоборчество [1]. И уж во всяком случае, никогда не был и наверное не будет безрелигиозным целый народ (не был безрелигиозным и советский народ, в чьем подсознании произошло смешение различных богов и идолов). Так что речь, в сущности, о том, чтобы от разных преходящих вер и полувер обратиться к великой религии, вере отцов, которая все или почти все расставит по своим местам.

Если исключить нечто чудесное, на что можно надеяться, но рассчитывать нельзя, останется допустить, что это произойдет (если произойдет) в результате усилий, приложенных главным образом снизу: где-то появятся крепкие приходы, а за ними и своего рода освобожденные зоны (освобожденные – от всех разновидностей духовного распада), с которых начнется собирание воцерковленной России. Хотя, конечно, должны сыграть свою роль и какие-то централизованные, так сказать, усилия, идущие сверху, в частности, по каналам масс-медиа.

Но вот что еще важно: воцерковление России не должно привести в какому-то новому изоляционизму. Нельзя свернуть с того пути – в мировой простор, – по которому направил ее Петр Великий. Чем бы ни отталкивал сегодня Запад, тщетно пытаться как-то опять от него отгородиться (да и от чего отгораживаться? все худшее, что там есть, уже перетекло к нам; так может быть, еще и лучшее потечет). Россия всегда была своеобразной частью христианской цивилизации, и ее судьба сплетена с судьбой всего христианского человечества (а сегодня скажем: всего человечества, ибо оно движется так или иначе в фарватере христианской

1 Сошлюсь на Б.П.Вышеславцева, считавшего, что «безрелигиозность в своем чистом виде» встречается редко и «очень загадочна и мало исследована» и что «в атеистическом миросозерцании всякая «гуманность» есть непоследовательность, религиозный атавизм, остаток благоволения». (Б.Вышеславцев. Религия и безрелигиозность/ Проблемы русского религиозного сознания. Берлин, 1924. С. 11, 20).

цивилизации). И если цивилизация эта стала слишком мало христианской, то это еще недостаточное основание для того, чтобы сторониться ее (а сами-то мы нынче кто?). Будет помнить, что за фасадом внешнего благополучия на Западе, особенно в Европе, идут сложные духовные процессы, которые когда-нибудь во что-нибудь выльются. Чтобы определить стратегию нашего отношения к Западу в духовном плане, лучше всего, я думаю, воспользоваться термином, взятым из области политики, – «гибкое реагирование»: где-то должна быть вовлеченность, а где-то дистанцированность (это, впрочем, особая тема).

Отсюда – во-вторых: целомудренно-опасливое отношение православия к миру истории и культуры должно быть не то чтобы поколеблено, но дополнено глубоким («змеиным», если угодно) пониманием проблем века сего (слава Богу, у нас есть в этом отношении «задел», созданный русскими религиозными философами как до революции, так и особенно в эмиграции). В частности, наверное, нельзя будет избегнуть некоторой метафизической операции, которая позволит привить к древу православия идеальный тип предпринимателя, описанный Вебером («пробежав» в короткое время путь, некогда проделанный Западом). Уж если элементы протестантской этики были успешно наложены, к примеру, на самурайскую этику, то надо полагать, что они могут быть наложены также и на православную этику, несравненно более близкую к западнохристианским. Поскольку метафизическая основа у западных и восточных христиан – одна и та же.

Конкретно я это представляю себе так, что в обществе должно быть место и штольцам, не обязательно с нерусскими фамилиями (но не обязательно и с русскими тоже), и обломовым, разумеется, в смысле душевного склада, а не в смысле захребетничанья на чей-то счет (полагаю, что специально защищать Обломова нет нужды, он у нас давно уже реабилитирован), и каким-то другим социально-психологическим типам, альтернативным как по отношению к Штольцу, так и по отношению к Обломову. В конце концов, штольцы у нас уже были: в дореволюционной России хозяйственники активно – преобразовательского, рискового («для дела») типа де-факто, явочным порядком, так сказать, постепенно заполняли собою сцену экономической и общественной жизни; так что речь идет сейчас лишь о том, чтобы этот тип хозяйствования был освоен (о-своен – сделан своим) национальным сознанием.

В-третьих, пришло время расстаться с роскошью былых времен – взглядом свысока на «вексельную честность». Нужно было дойти до нынешнего бескультурья, граничащего с дикостью, чтобы оценить, сколь это необходимая вещь – профессиональный аккуратизм, точность и исполнительность в торговле и на производстве. Здесь опять-таки Запад, где у каждой профессии есть свое моральное «зерцало», служит образцом.

Хочу подчеркнуть, что профессиональная этика, – нужда в

которой очевиднее и бесспорнее других нужд (из тех, что здесь перечислены), не должна рассматриваться автономно, то есть как некая совокупность правил игры, которым можно научиться (наподобие того, как учатся играть в спортивные игры), и тогда все будет о'кей. На Западе профессиональные этики вышли из христианской этики и, как далеко ни зашел процесс секуляризации, сохраняют изначальную привязку к Небу. Более того, они и держатся-то благодаря этой привязке, хотя она сейчас довольно слабая. И если мы хотим, чтобы наша торгово-промышленная культура была хотя бы сравнимой с западной, мы должны иметь в виду не только непосредственную цель, но брать выше.

Воспользуюсь лексикой нестареющего Фомы Аквинского: нужны две «целевые ступени», мирская и надмирная. Важны обе, хотя первична все-таки – надмирная.

Иван Беллюстин

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

КАЛЯЗИНСКИЙ ЛЮТЕР

«Русь православная» – неопубликованная глава из книги И. С. Беллюстина «Описание сельского духовенства», изданной в 1858 году в Лейпциге без имени автора. В наши дни об этой книге и ее авторе знают не более десятка специалистов, а в момент своего появления она стала настоящим событием. В ней впервые было рассказано о том, как живет основная масса русского духовенства: как учится будущий сельский священник, как добивается места, как женится, как зарабатывает свой хлеб, как складываются его отношения с крестьянами и помещиками, с причтом, с церковным начальством и чиновничеством. Несмотря на запрет, «Описание сельского духовенства» проникло в Россию. Картина глубочайшего социального унижения большей части православного духовенства, нарисованная в книге, произвела в обществе – вплоть до его высших сфер – самое сильное впечатление. Обер-прокурор Синода граф А. П. Толстой даже назвал анонимного автора «духовным Щедриным». С этого времени проблемы церковной и религиозной жизни, обсуждение которых в печати ранее было просто немыслимым, стали достоянием гласности, началась подготовка некоторых преобразований в духовном ведомстве.

Автор книги, калязинский священник Иван Степанович Беллюстин (ок. 1820–1890) – фигура очень своеобразная, но практически не изученная[1]*. «Описание сельского духовенства» было его первой книгой. Ранее он напечатал лишь несколько небольших очерков в журнале «Московитянин». Издатель этого журнала известный историк М.П.По-*

[1] Сведения о биографии и творчестве И.С.Беллюстина впервые собраны в статье о нем в т. 1 словаря «Русские писатели. 1800-1917», выпущенном издательством «Советская энциклопедия» в 1989 г..

годин и посоветовал ему написать книгу о сельском духовенстве, пообещав познакомить с ней влиятельных лиц. Он же подготовил рукопись Беллюстина к публикации и передал за границу – без ведома и вопреки воле автора, не предназначавшего свое сочинение для печати.

«Описание» во многом определило дальнейшую судьбу отца Иоанна. Хотя для широкой публики имя автора книги тогда осталось неизвестным, церковное начальство узнало его и попыталось наказать Беллюстина – сослать на Соловки. По слухам, только заступничество великой княгини Елены Павловны спасло его от этой участи. Тем не менее он, священник по призванию, ревностно исполнявший свои обязанности и любимый прихожанами, навсегда остался в глазах церковной элиты человеком опасным и подозрительным. Обремененный большим семейством, Беллюстин всю жизнь бедствовал, но все попытки как-то улучшить его положение – неоднократные ходатайства жителей Калязина о назначении его настоятелем Никольского собора, где он служил вторым священником, хлопоты столичных друзей о переводе его в другое место – наталкивались на сопротивление его недоброжелателей и оставались безуспешными.

В то же время именно «Описание сельского духовенства» сделало Беллюстина писателем. С конца 50-х годов он начинает активно выступать в печати по проблемам церковной жизни, народного просвещения, положения крестьян (в *«Журнале для землевладельцев», «Московских ведомостях», «Журнале министерства народного просвещения» при К. Д. Ушинском, в газетах И.С.Аксакова «День» и «Москва», в «Русском вестнике» и «Современной летописи» у М.Н.Каткова, в газете М.П.Погодина «Русский», в 70-е годы – в славянофильском журнале «Беседа», демократической «Неделе» и либеральной газете «Церковно-общественный вестник», наиболее близкой ему по духу),* выпускает одну за другой несколько книг. *Человеческая и творческая натура отца Иоанна имела как бы две ипостаси: обличитель и просветитель. Первое качество проявлялось главным образом в его публицистике, второе – в основном в книгах. Ему принадлежат три книги религиозно-просветительного характера: «О церковном богослужении» (СПб., 1862; выдержала 6 изданий), «О божественной литургии» (СПб., 1863; 6 изданий), «Страстная неделя» (СПб., 1869), а также книга «Вечерние беседы с крестьянами», (кн. 1–2, (СПб., 1865–1867; два издания), запечатлевшая его многолетний опыт религиозно- нравственного учительства.*

В основе всего, что писал Иван Беллюстин, лежал очень своеобразный взгляд на вещи, не позволяющий привычно занести его в разряд западников или славянофилов, либералов или консерваторов. Он был убежден, что благополучие общества определяется состоянием нравственности, а оно, в свою очередь, в значительной степени зависит от того, какую роль играет в обществе Церковь. Главный источник всех социальных бедствий отец Иоанн видел в том, что христианство, став еще в Византии государственной религией, превратилось в «фарисейство», «религию обрядов и внешностей» и утратило свое нравственное воздействие на жизнь общества. В России же, по его мнению, положение усугубляется всевластием церковной элиты, приниженностью основной массы духовенства, его сословной замкнутостью, невежеством. Путь к возрождению – социальному и духовному – он видел в обеспечении полной свободы совести, отделении Церкви от государства, демократизации ее устройства, религиозно-нравственном просвещении народа. Ни одно из тогдашних изданий не ставило своей целью пропаганду подобных взглядов, да и делать это в подцензурной печати было крайне сложно. Когда в 1879 году Беллюстин решился наконец с полной откровенностью изложить свою позицию в печати (статья «К вопросу о раскольниках» в «Церковно-общественном вестнике» от 11 и 13 апреля), над ним вновь (уже в который раз!) разразилась гроза: «калязинского Лютера», как не без злой иронии назвала его одна газета, Синод приговорил к двухмесячному заключению в монастыре и временно запретил ему исполнять обязанности священника. Ставился даже вопрос о лишении престарелого отца Иоанна духовного сана. Ему пришлось покаяться и отказаться от литературной деятельности.

И.С.Беллюстин был знаком и поддерживал переписку со многими писателями, учеными и журналистами, однако из-за несовпадения позиций он в конце концов разошелся почти со всеми. Ближе других по взглядам был для него, пожалуй, Н.С.Лесков, на которого он, по-видимому, оказал определенное влияние. Воздействие личности отца Иоанна и его книги «Описание сельского духовенства» явственно ощущается в романе Лескова «Соборяне», особенно в образе его главного героя – протоиерея Савелия Туберозова.

Глава «Русь православная », по неизвестным причинам не вошедшая в книгу «Описание сельского духовенства», – один из лучших образцов публицистики Ивана Беллюстина. Публикуется по автогра-

фу, хранящемуся в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (бывшая Библиотека им.Ленина). Автограф содержит редакторскую правку, принадлежащую, очевидно, М.П.Погодину (см. подстрочные примечания).

Е. БУРТИНА

«Русь православная...»

Всякий раз, когда мы слышим эти слова, вся душа наша возмущается чувствами скорби, досады, негодования и невыносимой боли. Где оно, это православие, которым хвалится Россия, в каком звании, в каком сословии? Судьба сталкивала нас с лицами всех званий, всех сословий, кроме самых высших, – и редко где встречали мы Православие истинное, твердое, чистое, ничем не сокрушимое; везде или полное отсутствие его, ярко выражающееся в жизни, делах и даже словах, или один призрак, ограничивающийся внешностью, обнаруживающийся в возгласах об испорченности века, в праздном разглагольствии о высоких тайнах христианства, в иезуитской нетерпимости по отношению к другим, прикрывающейся ревностью о славе Божией, в глубочайшем фарисейском лицемерии. Где оно, Православие истинное, – в этом ли господине, который смело и небоязненно попирает все заповеди Евангелия, все уставы и постановления Церкви, который не считает грехом всячески давить подчиненных своих, отовсюду выжимать копейку, который на всяком шагу готов ограбить, обмануть, стереть с лица земли другого и который зле приобретенное иждивает еще хуже – на удовлетворение самых грубых, скотских страстей? В этом ли монахе, который поставил себе целию жизни грубейший эпикуреизм и домогательство, во что бы то ни стало, честей и отличий, если б даже для этого пришлось сжечь всю свою совесть, сгубить сотни собратий своих? В этом ли священнике, с головою погрязшем в поганом омуте жизни? И не из таких ли неделимых состоит почти вся Русь? Нам укажут на исключения. Да, исключения встречаются, но часто ли? Что значит какая-нибудь единица при десятках и даже сотнях тысяч?! «Русь православная!!»

Наши архипастыри, уже не осмеливаясь назвать православными другие сословия, говорят обыкновенно, что Православие сохраняется неизменным в сословиях низших, именно – в простонародье. Но знают ли они сами, что говорят? Имеют ли хоть какое-нибудь понятие о вере и верованиях нашего простонародья? Нет, скажем прямо и положительно, они не имеют ни малейшего понятия об этом и говорят или с чужих слов, или для того, чтобы

сказать что-нибудь. Не сказали бы они этого, если бы пожили среди крестьян. Мы жили, мы знаем и выскажем, не обинуясь, всю правду. Пусть каждый из них на деле поверит наши слова; и если найдет одно слово, одну букву лжи, мы заранее обрекаем себя на казнь, какую только угодно будет ему придумать.

Крепко сохраняет наше простонародье привязанность к некоторым внешностям Религии. Крестьяне считают обязанностью ходить изредка в церковь, исправлять праздники (то есть проводить их в объедении и пьянстве) и т.п.; считают смертельным грехом в пост поесть скоромного, есть яблоки до Спасова дня и т.п. Но вглядитесь за эту внешность – все ваше сердце растерзается невольно: ни малейшего понятия о духе, об истинном пути ко спасению, об основных догматах религии! «Ты христианин?» – «Да». – «Расскажи что-нибудь о Христе». – «Где нам; мы люди безграмотные». Вот ответ, который вы услышите от крестьян на всем пространстве Руси. «Ты веруешь в Троицу?» – «Как же, верую». – «Какие же лица пресвятой Троицы?» – «Да сначала Бог, потом Божья матерь и Никола-чудотворец». Таковы познания их в основных догматах веры. «Ты обманул, солгал; разве это можно?» – «Кто же Богу не грешен!» – «А заповеди-то на что?» – «А что это за заповеди, батюшка?» Таковы познания их о долге нравственном!

Да прикажите крестьянину прочитать Символ Веры. Из сотни разве один без толку, смыслу и понятия проболтает вам его. Прикажите прочитать заповеди – из тысячи разве один пробормочет их кое-как. Правда, то и другое бойко прочтет мальчик, учащийся или недавно учившийся в сельском училище. Но эти училища существуют лишь в казенных селениях – в имениях господских их нет. В этих училищах учится самое ничтожное число крестьянских детей, не больше как один на сто. Да и учившийся слишком скоро забывает приобретенное в училище, потому что ничем не поддерживается знание его, когда он примется за обыкновенную крестьянскую жизнь. Об женщинах уже и говорить нечего. И это христиане и еще православные!!

После этого можно судить, какова должна быть нравственность их. Как в высших слоях общества qu'en-dira-t-on[1] - величайший двигатель поступков и мерило их внутреннего достоинства; так у крестьян не совесть, не сознание нравственного долга руководят всеми поступками, а боязнь быть наказанными. Самый противный христианству поступок он допускает легко и свободно, если только уверен, что его не будет за то преследовать закон в лице станового. Женщина ничтоже сумняшеся пускается в разврат, если только над ней не тяготеет рука мужа или свекра. Понятно, как глубоко должны быть извращены в них все понятия нравственные. Как образчик, вот один из тысяч нам известных случаев. Женщина исповедовалась. После обыкновенных вопросов священник спро-

[1] Людские толки, молва (франц.)

сил ее: не знает ли она за собою особенно тяжкого греха. После долгого колебания она, заливаясь слезами, сказала: «Ох, есть такой грех, страшный грех, в котором и прощения мне не будет; такой-то тяжкий грех, что и вымолвить боюсь...» Немалого труда стоило священнику уговорить ее вымолвить. Среди тягчайших вздыханий она сказала: «В прошедший великий пост, снимая с молока сметану, я соблазнилась, не вытерпела, лизнула два раза сметанки... Вот что сделала я, окаянная». – «Да, нехорошо, очень нехорошо, – сказал ей священник. – Ну а еще чего не сделала? Например, не соблудила ли от мужа?» – «Как же, былое дело!» – преравнодушно и прехладнокровно отвечала она. Могут подумать, что это выдумано нами, но свидетельствуемся Богом, – нет. Именно таковы понятия нравственные у крестьян наших, за чрезвычайно редкими исключениями. Таково христианство православное в наших православных!

И после этого мы еще дерзаем так тщеславиться своим Православием! И наши...[1] с таким презрением отзываются об других вероисповеданиях! Но, о вы, считающие и называющие себя главами, столпами, оплотами, стражами христианства и чуть-чуть не наместниками Христа, скажите, что сделали вы во многолетнее служение свое истинно полезного для христианства? Мы знаем, что английские епископы на свой собственный счет содержат тысячи училищ, в которых десятки тысяч мальчиков из низших сословий получают первоначальное образование под прямым влиянием духовенства; сделали ль вы что-либо подобное? Пожертвовали ль вы хоть сотою частью своих доходов на издание, для бесплатной раздачи, каких-нибудь особенно важных и нужных для христианина книг, как это делается в Англии? Даже озаботились ли вы. называющие себя ревнителями христианства, снабдить Евангелием православных христиан, всех, которые пожелали бы иметь его? Стыд и позор! У нас Евангелие (славяно-русское) – такая редкость, которую можно купить лишь в столицах и по цене весьма высокой!!! То ли должно быть в Церкви истинно православной? Посмотрите, например, в церкви лютеранской, которую вы называете неправославною: при лютеранской церкви в С.-<Петербурге> продаются за совершенный бесценок Библия и отдельно Новый Завет, псалмы Давида и пропасть сочинений мелких; даже бедным раздаются даром. Мы сами, во время студенчества, из любопытства зашли однажды в эту церковь и сказали пастору, что желали бы иметь Библию на немецком языке. По его приказанию нам немедленно подали великолепнейшее издание с превосходными гравюрами. Со страхом спросили мы о цене, думая, что за такую редкость спросят цену, для нас недоступную. «Цены у нас не назначено, – отвечал пастор, – дают кто что может». – «Но такое превосходное издание...» – начали было мы. «Бедным отдается да-

[1] Далее в рукописи густо зачеркнуто несколько слов. – *Ред.*

ром, – прервал он, – а вам я дарю». – «Но хоть что-нибудь позвольте заплатить». – «На бедных – извольте». Мы отдали рубль серебром, и он нам прибавил еще миньятюрное издание Евангелия... У нас делается где-нибудь что-нибудь подобное? Нет, нашим архипастырям не до того, чтобы заботиться о возможно большем распространении книг священных между христианами, так называемыми православными!

Этого мало, что сами не думают и не заботятся; даже повелений высших не хотят исполнять. Так, Государю Императору, при самом начале царствования своего, угодно было приказать, чтобы составлен был комитет для составления и издания популярных сочинений о предметах веры и нравственности. Комитет составлен; всему духовенству разосланы приглашения участвовать в этом прекрасном деле и программы. И что же? Едва ли не этим только все и ограничилось. По крайней мере доселе ни малейшего слуху о действиях его... А ведь в главе этого комитета все столпы православия! Самая программа, обдуманная всем Синодом, показывает, что он, Святейший и Правительствующий, вовсе не понимает духовных нужд и неотложных потребностей нашего простонародья...

Скажем кстати и о том, что, тогда как Библия переведена на все возможные языки, одна Русь православная не имеет ее на своем родном – живом языке. Кому не известно, что славянский язык уже не доступен для большинства, не говоря о простонародье, даже высших сословий. Даже знакомым с этим языком чтение, например, пророков составляет величайшую трудность по чрезвычайной темноте многих мест. А наши столпы и стражи и не помышляют о переводе его! Этого мало, – кто бы поверил, если б не было этого на самом деле? – всеми мерами они противодействуют намерениям и попыткам приступить к переводу его. Какому жестокому иезуитскому гонению подвергся Павский за то, что сделал было величайшую услугу для Церкви, отлитографировал свой академический перевод![1] Если б только было возможно, его, как злейшего еретика, сожгли бы на костре...[2] Нашлись в переводе недостатки? Исправьте их, мудрые

---

1 Несмотря на все усилия истребить этот перевод так, чтобы и помину о нем не было, он разлетелся во все концы России в рукописях. Немногие литографированные, сохранившиеся от всесожжения, приобретаются, если только представится кому случай, по чрезвычайно высокой цене. *(Примечание автора.)*

Имеется ввиду перевод ветхозаветных книг с древнееврейского на русский язык, впервые выполненный профессором Петербургского университета и духовной академии, придворным протоиереем Герасимом Петровичем Павским (1787–1863). Рукописный перевод был литографирован студентами академии без разрешения Синода, за что Павский чуть не поплатился лишением духовного сана. – *Ред.*

2 Окончание предложения в рукописи густо зачеркнуто. – *Ред.*

и благонамеренные архипастыри. Совсем не годится перевод? Поспешите сделать сами лучший и вернейший, для предупреждения новых попыток. Нет, сами не хотят, и другой никто не смей сделать этого; иначе – кара жестокая, неумолимая, беспощадная, такая, какая была возможна на Западе в Средние века и возможна теперь на всем земном шаре только в православной Руси от столпов Церкви христовой! Чем объяснить такие их действия? Одним – упорнейшим и злонамереннейшим стремлением, чтобы свет знаний божественных не проникал в массы, чтобы все бродили в неисходной тьме и сени смертной...

И это Русь православная!!

Правда, Синод наконец нашел нужным учредить по городам и селам катехизаторов. Катехизаторы назначены. Епархиальные архиереи требуют, чтобы они говорили катихизические поучения и в конце года представляли их в особо назначенные комитеты. Но что требования без возможности исполнения? А мы уже видели положение сельского священника: не до поучений ему, измученному работами! И о действиях комитетов мы уже говорили. Как же выполняется дело, в сущности весьма важное? Очень просто: в конце года катехизатор пошлет в комитет деньги и – прав; а не поскупится, так еще и благодарность получит за свое усердное катехизаторство. Но положим, что катехизатор сознает важность дела и, по мере возможности, говорит поучения; вполне ли достигается цель этого дела – просвещения христиан в основных истинах веры? Не только не вполне, но едва ли и сколько-нибудь достигается. Поверить это нетрудно. Пусть крестьянина в любом селе, лишь только выслушавшего наилучшим образом составленное поучение, спросят: о чем говорил священник? Ни один не ответит толком. А через день, через неделю, через месяц он и слова не вспомнит. Почему? Да потому, что он ничем не был приготовлен к слушанию поучения. И внимательно слушал он, но предмет так нов для него, так труден для его огрубелого разумения, что все слова катехизатора лишь отзывались в его слухе, и ни одно не заронилось в душу и не осталось в ней навсегда. На почве неприготовленной и всей покрытой бурьяном и репейником бесполезно сеять самое лучшее семя. И в этом, в учреждении катехизаторства, как и во всем, Синод выразил полное непонимание дела, решительное неведение нашего простонародья. Прекрасное, бесконечно полезное дело – катихизаторство, если смотреть на него с настоящей точки зрения, но решительно бесполезное – с точки зрения Синода, что подтверждает повсюдный опыт. Цель поучений катихизических должна быть – напоминать слушателям, поддерживать в них узнанное ими прежде, а не в первый раз только сообщать важнейшие истины веры. Выучить с кафедры крестьянина тому, чего он не слыхивал никогда прежде, дело решительно невозможное. Кто преподавал катехизис, тот знает, что успех дела возможен только при одном условии: если он преподается в

строгой последовательности, а не афористически; какой же успех может быть, когда крестьянин выслушает одно поучение, потом пропустит пять и снова явится слушателем? Для самого толкового поучение непонятно, потому что он не слыхал сказанного прежде. Притом поучение - не частная беседа: проповедник следует в нем ходу собственных мыслей, нисколько не сообразуясь с ходом мыслей слушателей; он *читает*, а не *учит*, разумея под этим словом возбуждение посредством вопросов, ответов, возражений собственного сознания учащегося и полное усвоение им преподаваемого. Он прочел и сам не в состоянии дать себе отчета, что для его слушателей осталось непонятным, темным, требующим полнейшего развития и подробнейших толкований. К следующему разу он готовит новое поучение, непонятое прежде так и останется непонятым, темное - темным, к прежнему присоединяется новое, и образуется в голове его слушателей какой-то хаос. Какая же польза от всего катехизаторства?

Нет, не так должны идти дела, если хотят, чтобы православные в самом деле были православными, а не по имени только.

1. При каждой сельской церкви должно быть училище для детей обоего пола – на полной ответственности священника. Главнейшим его делом, важнейшею обязанностью должно быть преподавание детям основных истин христианства и начал нравственности. Известно всем и каждому, что лишь в детстве все воспринимается легко и живо. А человеку в поре, задавленному заботами и тяготами жизни, и особенно такой жизни, как у крестьянина, трудно или, точнее, невозможно изучать что-либо новое и вполне усваивать его себе. У нас теперь семилетний возраст положен для начала исповеди, то есть как будто для сознательного участия в таинствах Церкви. Нет, не годы должны определять это начало, а успехи детей. Пусть начинают они исповедаться лишь тогда, как с толком и понятием сумеют прочитать Символ Веры, заповеди и важнейшие молитвы и уразумеют, сообразно со своим возрастом, к чему приступают. Пусть это будет в 8–10 лет, даже позднее, что нужды? Теперь с семи лет и до конца жизни вся исповедь их – не что иное, как бессознательная, ничтожная, бесплодная болтовня. Тогда годом, двумя исповедь начнется позднее, но уже – с сознанием.

2. Вменить в непременную обязанность священникам, чтобы они в каждый воскресный и праздничный день, по крайней мере, два часа между утренней и литургией посвящали на собеседования с своими прихожанами, обращая преимущественное внимание на тех, которые незадолго вышли из училищ, чтобы принятое ими постепенно развивалось, укреплялось и обращалось, так сказать, в плоть и кровь их. Из этих собеседований должен быть изгнан всякий дух школы. Это должны быть семейные, родственные разговоры, где всякий имеет право высказать свою мысль, свои недоумения, требовать объяснения непонятого и пр. И тем удобнее сделать это, что

крестьяне из деревень, особенно в зимнее время, бродят без всякого дела по селу из дома в дом, чтобы как-нибудь убить время до литургии, и с радостью согласятся сидеть в одном месте и заняться дельным разговором. Два таких собеседования, живых, искренних, сердечных, будут несравненно полезнее для крестьян, чем двадцать теперешних поучений – ex officio[1], холодных, коротких и безжизненных.

3. За учреждением школ и воскресных собеседований уже должно быть введено катехизаторство. Священник с кафедры коротко, ясно, определенно должен повторить то, о чем беседовал до литургии. Пусть каждое его слово будет понято, принято и врежется в память, потому что крестьянин, которому раскрыты все подробности, легко поймет, в чем дело; душа его будет совершенно настроена и приготовлена к принятию спасительного семени.

4. При каждой церкви должна быть библиотека из книг догматических и нравственных, составленных собственно для простонародья. Наш крестьянин жаждет просвещения; говорим это не с чужих слов, а основываясь на собственном многолетнем знакомстве с ними. В долгие осенние и зимние вечера в доме, где есть грамотей, всегда собрание. Он читает, толкует и объясняет; собравшиеся сначала безмолвно слушают, а потом сами рассуждают, спорят; нередко и вторые петухи пропоют, а они и не думают еще расходиться. К величайшему несчастию, в этом скрывается глубокое зло, о котором наши всезнающие архипастыри не имеют ни малейшего понятия. (Откуда и знать им при таком обращении с сельскими священниками?) Раскольники далеко опередили наших православных в просвещении, хоть и превратно понимаемом. Чрезвычайная редкость – раскольник неграмотный и неначитанный, тогда как редкость у православных – крестьянин грамотный и читавший что-либо дельное. Вот почему эти собрания почти всегда бывают в доме раскольника, и разговором управляет он, направляя его к убеждению слушателей в правоте своих верований. Вот почему в деревне, где нет грамотного (в господских имениях это сплошь и рядом: позволить крестьянам учиться они, слепцы бессмысленные и члены общества неблагонамеренные, считают вредным и гибельным), с восторгом принимают раскольника пришлого, угощают, чем только могут, и держат поочередно по целым неделям. Баба, девка-раскольница – лишь бы умела читать, а таких много – пользуются тем же. К большому несчастию, между раскольниками распространено множество сочинений (в рукописях), грубых, глупых, нелепых, но составленных совершенно в духе и языком крестьян; все это разносится, чтется, толкуется и - принимается. Противодействия же этому ни малейшего! Следствия понятны. Не раз мы укоряли крестьян, что они слушают какую-нибудь бабу. И вот что каждый раз отвечали

[1] По обязанности (*лат.*)

нам: «Что же делать? вечера долги, без дела сидеть скучно, а знать-то что-нибудь хорошее хочется...». – «Но у вас есть грамотный; пусть он читает, а вы слушайте». – «Да что читать? «Путь ко спасению», «Потерянный рай»[1] (самые распространенные книги между крестьянами) как-то темны и непонятны; четь-минею не достанешь, купить – не укупишь;[2] поневоле слушаешь бабу...» *Что читать?*! Думали ль когда-нибудь об этом наши столпы православия? Не удовлетворяться, в самом деле, крестьянину вздором, вроде сочинений Эмина или «Потерянным раем»: не научить, не вразумить могут эти и подобные им сочинения, а лишь сбить с толку и запутать все понятия его. Где ж сочинения чистые, светлые и по всему – и по способу изложения, и по цене – доступные для крестьян? Их нет!! «Но столько проповедей издано, есть совершенно годные для простонародья». Правда. Но какая цель всех этих изданий? Польза для православных? Нет, барыш!.. Книга в четыре-пять листов продается за полтора-два рубля; чем толще, тем дороже; какой же крестьянин решится купить ее? А если б богатый и решился на такой расход, где купит он ее? Не выписывать же через почту! Да и по чем еще узнает он о ее существовании? От священника? Но для сельских священников, так же как и для крестьян, недоступны никакие новости, потому что недоступны никакие газеты и журналы.[3] Вот, к чести нашего прославленного православия, в каком положении наше простонародье: оно должно читать или слушать всякий вздор от неимения чтения лучшего!

Вот почему, повторяем, при каждой сельской церкви должна быть библиотека, наполненная возможно большим числом сочинений, составленных собственно для простонародья. Пусть каждый воскресный или праздничный день (разумеется, осенью и зимой)

---

1 «Путь к спасению, или Разные набожные размышления, в которых заключается нужнейшая к общему знанию часть богословия» (СПб, 1780) – книга русского писателя XYIII века Ф. А. Эмина. «Потерянный рай» (1667) – поэма Дж. Мильтона. В XYIII и XIX веках переводилась и издавалась в России множество раз. – *Ред*

2 И это бесценное сокровище продается по цене банословно дорогой! Слова нет, что издание стоит очень дорого. Но почему же не приискать средств, которым издание покрылось бы, и потом не продавать по дешевейшей цене? Почему не оттиснуть брошюрами жития особенно чтимых святых и не продавать копеек по 10 за экземпляр? *(Примечание автора)*

3 О необходимости специальной газеты для сельских иереев, в которой бы сообщались полезеые указания, советы, сведения о книгах для простонародья и пр. и пр., будет говорено особо. А также и о необходимости журнала собственно для сельских священников и простонародья. Существующие теперь вовсе не годятся для тех и других. *Примечание автора(.*

священник раздает их для чтения желающим, а потом, принимая обратно, спрашивает, что особенно понравилось, что не понравилось, что показалось темным, требующим объяснения и т.п. Что такое чтение, направляемое и руководимое священником, принесет неисчислимую пользу для крестьян, об этом и говорить нечего, – понятно без объяснения. Кроме того, каждая церковь должна быть снабжена нужнейшими для христианина книгами на продажу. Ценность их должна быть соразмерена не с внутренним их достоинством, даже не с тем, что стоило издание, а со средствами крестьян и должна считаться не рублями, а гривнами. «Но где ж взять денег на издание?» – скажут. А почему, ради этой неоспоримо прекрасной цели, не брать из кошельковой суммы каждой церкви? Обирают же благочинные! Почему не брать из богатых монастырей? Поедают же все напрасно сонмы тунеядцев! Одна лавра преподобного Сергия могла бы уделять из своих огромных доходов (ведомых по книгам, не говоря о сокровенных) по крайней мере десять тысяч рублей в год; в Тверской[1] губернии есть несколько монастырей, которые, без малейшего стеснения для себя, могли бы уделить по тысяче рублей в год; так и в каждой губернии2;[2] отчего же не воспользоваться этими средствами? «Но как сделать? Возникнет ропот». Как сделать? А как же обирается прибыль от свечных доходов? Сделали же это, и никто не дерзает пререкать. Возникнет ропот – между монахами? Пусть от нечего делать ропщут, беда невеликая. Но нет ни малейшего сомнения, что угодники Божии, почивающие в этих монастырях, возрадуются от такого назначения сумм, сносимых к их ракам, и освятят своим благодатным благословением чистое и святое употребление их. Да, сказанное нами не пустая фантазия: если все небожители радуются неизреченною радостью и торжествуют при обращении на путь истинный одного заблуждающегося, то ужли не возрадуется, например, преподобный Сергий, когда книга, изданная на счет сумм, снесенных в лавру ради имени его, спасет от заблуждений и гибели и направит на прямой путь ко спасению многих?

Но какие сочинения? И где взять их столько, когда теперь не наберется и десяти, сообразных с указанною целию?

Отвечаем на первый вопрос.

Прежде всего Библия на *русском языке* собственно для чтения и отдельно некоторые части ее для продажи. Слово жизни и спасения, нетленная пища души – Евангелие – должно быть в руках каждого православного христианина. Поэтому в каждой церкви необходимо должно быть возможно большее число экземпляров на русском

---

1 В рукописи слово «Тверской» было вычеркнуто и вместо него другим почерком вписано слово «иной». – *Ред.*

2 В рукописи слова «так и в каждой губернии» были вычеркнуты редактором. – *Ред.*7

языке, и священник, не ограничиваясь требованиями, должен заботиться распространять его между прихожанами всеми средствами. Цена ему должна быть никак не выше 30 копеек. А чтобы сделать его еще доступнее, то печатать отдельно каждого евангелиста и продавать копеек по 10. Точно так и Апостол. Из книг Ветхого Завета: – Псалтирь, Соломоновы: «Премудрость», «Притчи», «Экклезиаст» и «Сын Сирахов» – отдельно каждая книга на *русском* языке. Странно и непостижимо, что комитет для составления и издания духовно-нравственных сочинений и не вздумал об этих дивных, ни с чем не сравнимых сокровищах! Вот с чего бы начать ему свои действия – с издания, в числе сотен тысяч экземпляров, этих книг, и потом уже заботиться о составлении новых сочинений. О псалтири мы уже и не говорим: с дивной поэзией ее, одинаково неотразимо действующей и на сердце образованного человека и грубейшего крестьянина, ничто на земле сравниться не может. Много раз мы читали ее (в русском переводе) крестьянам обоих полов и выразить не умеем всех тех чувств, которые обнаруживались явно и поразительно в слушателях.

Об одном горько жалели они, что не могут понимать так *своих* псалтирей (на славянском языке). Не меньшее влияние, но в другом роде, производило на них чтение книг Соломоновых (в пер<еводе> Павского) и Сираха[1]... «Что это за диковина, – не раз повторяли слушатели, – вот так и льется в душу каждое слово; ну точно, кто писал эти книжки, жил с нами: все-то знает, что ни слово, то правда, – все то ежеден так бывает у нас; да и как же складно, по-нашему; неужто и заподлинно все это писал не наш православный? Право слово, не верится». И понятно, почему эти книги производят на них такое влияние. Наш крестьянин, обладая по преимуществу практическим смыслом, не любит ни отвлеченных рассуждений, ни хитросплетенных речей. Речь его жива, быстра, обрывиста. Богато наделенный от природы рассудком, нередко он любит прикинуться простачком и под покровом шутки, аполога собственного изделия, высказывает горькую правду и поражает не в бровь, а прямо в глаз. Любимые его обороты в речи и особенно в песне – антитезы и уподобления. А книги Соломона и Сираха написаны именно этим языком. В них наш крестьянин слышит свой родной говор; вот почему он слушает и не наслушается их. Практические советы, полные глубокой житейской мудрости, облеченные в такую форму, вполне доступны для разумения самого необразованного, но не лишенного здравого смысла человека; вот почему каждое слово их льется в душу крестьянина и навсегда остается там. И эти-то книги забыты или презрены комитетом! Видно, что он понимает свое дело. Верно, надеется составить и издать лучшие сочинения. Увидим.

[1] Далее в рукописи густо зачеркнуто несколько слов в скобках. Кажется, это слова: «в нашем переводе с греческого». – *Ред.*

Отвечаем на второй вопрос.

Действительно, в настоящее время слишком мало сочинений, которые сейчас же бы можно было пустить в среду крестьян с полной надеждой, что они принесут пользу. Два-три сочинения, написанных духовными лицами, два-три светскими – и только! Даже и эти сочинения, неоспоримо прекрасные, заключают в себе важный недостаток: не языком крестьянским писаны (ближе всех к нему книга Наума[1]. Как жаль, что г. Максимович не продолжает больше этого прекраснейшего дела!). Видно, что сочинители не жили среди крестьян; прислушивались к говору их в городах, а не в деревнях, а потому подделка под этот говор совершенно неудачна. Мы читали крестьянам «Поучения сельского иерея» (ар<химандрита> Антония);[2] вот отзыв их: «Хорошо-то, хорошо, а все не по-нашему, все по-ученому». Следовательно, от них нельзя ожидать настоящей пользы, потому что крестьянин против всего ученого имеет сильное предубеждение. Лучше всех могли бы это сделать сельские иереи и даже иереи уездных городов, у которых в приходе есть крестьяне. «Но почему ж они не делают?» – спросят; и тем более, что комитет приглашал всех.

Почему? Есть важное, неодолимое препятствие для низшего белого духовенства издавать свои сочинения, в каком бы роде они ни были. Вкусившие от академической мудрости и затем поступившие в монахи с величайшим негодованием смотрят на попытки каждого иерея-неакадемика заняться чем-либо дельным и издать свой труд; с самым иезуитским ожесточением преследуют они и изданный труд, и самого трудившегося. Заседающие в консисториях, окунувшись всецело в подьячество, проникаются тем же духом; и горе иерею, дерзнувшему посвятить свой досуг на какие-либо сочинения и напечатать их! Ему скорее простят все – и пьянство, и лихоимство, – чем дерзкую мысль заняться делом полезным, чем не занимаются они. Дело невероятное, но оно подтверждается неисчислимыми фактами. Мы не приводим их, потому что слишком известны. После этого спрашиваем всякого благомыслящего и благонамеренного, есть ли человеческая возможность заняться сельскому иерею чем-либо дельным и напечатать свой труд?

Нам возразят: «Комитет – не консистория и не решится на подобные бесчестные проделки». Охотно верим. Поверим даже и тому, что глава комитета забудет на этот раз свой антагонизм к несчастным провинциальным иереям. Но эти иереи знают духовную цензуру и, пока не изменится она, не решатся иметь с нею никакого дела.

---

1 «Книга Наума о великом божьем мире» (М., 1833, 12-е изд. – 1876) известного натуралиста и филолога М. А. Максимовича – первый опыт научно-популярного издания для народа. – *Ред.*

2 Имеется в виду: *Антоний (Я. Г. Амфитеатров. Беседы* сельского священника к прихожанам. СПб., 1849 (6-е изд. – 1866). – *Ред.*

Везде, во всех народах, на всем земном шаре, обязанность цензора – смотреть, чтобы в сочинении не было ничего противного существующим постановлениям государства. Внутреннее достоинство сочинения – дело вовсе не его: суд произнесет общество! У нас цензор вместе и критик. Он смотрит

не столько на то, что позволено или не позволено напечатать, сколько на то, что, *по его мнению, достойно или нет печати.* Поэтому он, не задумавшись, черкает, марает, поправляет; и если сочинение почему-либо не нравится ему, запрещает печатать или позволяет, совершенно исказив его своими поправками, так что автор не решится сам напечатать свой испорченный труд. Если еще цензор вроде благороднейшего, вечно незабвенного Ф.Ал. Голубинского, то в критику сочинения хоть не внесется ничего оскорбительного для автора, а если какой-нибудь...[1] набитый книгами бездушный шкап, в ослеплении необъятного честолюбия считающий себя первым умным и ученым человеком в России, смотрящий с презрением – уже не на провинциальных иереев, а на самых протоиереев-магистров, заслуженнейших и прекраснейших профессоров; чего доброго ждать от него наилучшему сочинению, написанному не монахом? Ничего, кроме самых желчных выходок, злостных намеков, оскорбительнейших замечаний, бессмысленных вычеркиваний, нелепейших поправок и пр. и пр. Именно из этого и состоит всякая цензура. А не из таких ли...[2] и состоят все наши цензурные комитеты? Да, если так низко и постыдно поругались над прекраснейшим трудом Д.С.Вершинского (Месяцеслов Пр.Кат. Ц.[3] И охота была связываться с монашеской цензурой: будто не знает!! Напечатать бы за границей, хоть на французском языке – вся ученая Европа приняла бы с восторгом такое сочинение!), если позволили печатать, обрезав, исказив, изуродовав совершенно его сочинение, плод усерднейших, усиленнейших десятилетних занятий и изысканий; если он, составивший себе совершенно заслуженную известность человека образованнейшего и умнейшего, был оскорблен до горьких слез (пусть спросят его самого) цензурой, положим, архимандрита какого-нибудь, но еще мальчишки перед ним, что же может быть с сочинением какого-нибудь сельского иерея? Каким оно выйдет из рук злонамереннейшего иезуита-цензора? Даже и не проникнутый насквозь погибельным антагонизмом к белому духовенству монах не может, а следовательно, и не должен быть цензором подобных сочинений, разумея цензуру, какая теперь. Что возьмет он мерилом при оценке цензируемого сочинения?

1 Далее в рукописи густо зачеркнуто какое-то имя. – *Ред.*

2 Далее в рукописи густо зачеркнуто то же слово. – *Ред.*

3 Полное название книги: «Месяцеслов Православно-католической церкви». СПб., 1856. Автор – профессор Петербургской духовной академии, затем священник посольской церкви в Париже. – *Ред.*

Действие ли, какое оно может произвести на простонародье? Но откуда знать ему истинные потребности народа и верный способ действовать на него? Помогут ли ему самые усиленные размышления об этом в кабинете? Нисколько. Для этого нужно пожить, и пожить немалое время, в самом близком соприкосновении с народом, изучить его – от его оригинального способа мыслить и до еще более оригинального способа выражать свои мысли. Ничего этого не зная, монах-цензор возьмет мерилом свой собственный вкус, более или менее развитый, более или менее верный, но лишь годный для оценки ученых сочинений. <...> Но мало ли что может казаться прекрасным ученому монаху и никуда не годным безграмотному крестьянину, и наоборот? Что ж пользы, что добра от такой цензуры-критики? И не ей ли мы обязаны совершеннным отстуствием духовно-нравственных книг, действительно годных для простонародья? Расскажем кстати случай, бывший на наших глазах. Сельский священник, один из лучших и умнейших, каких мы только знаем, ревностно принялся за проповедание Слова Божия. Вполне понимая, отчего зависит успех проповеди, он излагал их именно так, как изложил бы умный и грамотный крестьянин: язык его поучений был вполне язык его слушателей, до малейших оттенков. Не больше, как в одну зиму, молва об его поучениях разнеслась далеко; из чужих дальних приходов собирались его послушать, и церковь обширная всегда была полна до давки. Мы читали эти поучения с истинным наслаждением; знакомые с крестьянами не понаслышке, понимали, отчего поучения производят на слушателей такое сильное впечатление; от души желали, чтобы эти поучения были напечатаны, и даже предсказывали проповеднику блестящую и заслуженную известность в духовной литературе. Что ж вышло? В конце года он представил в комитет. Там испачкали, истерзали все проповеди...[1] и возвратили автору с замечанием, чтобы он «выражался языком более правильным, грамматическим, не допускал повторений» и т.п. Через год повторилось то же. Предписано: «проповеднику учинить строгий выговор за то, что он держится прежде принятого способа изложения, и учинить надлежащее внушение». Еще через год ему не иначе позволено говорить, как с предварительного разрешения благочинного, т.е. ему из-за каждого поучения нужно было ездить за 25 верст от своего села. Естественно, он бросил все, потому что совершать непрерывные путешествия в 50 верст ему, обязанному приходом и службой, было решительно невозможно. Крестьяне плакали об этом, говорим без малейшего преувеличения. Некоторые из его проповедей, списанные грамотными, доселе ходят по рукам, несмотря на то, что священник уже более десяти лет

[1] Далее в рукописи несколько слов густо зачеркнуто. – *Ред.*

умер. К чему ж при таком непонимании, что нужно для народа, наших архипастырей, – к чему ж было бы трудиться сельским иереям над составлением популярных сочинений?

Нет, чтобы благая и спасительная воля Государя Императора была приведена в надлежащее исполнение, необходимо или совершенно изменить духовную цензуру, строжайше воспретив цензорам брать на себя права критиков и ограничив их общим правилом для цензоров: свободно пропускать все, что не противно существующим постановлениям Церкви и Государства (и какое им дело, если сочинение глупо и пошло в самом деле? Сочинитель достаточно накажется и тем, что сочинение его не пойдет); или назначить комитет из сельских иереев, совершенно избавив их от всякого влияния монашеской цензуры и предоставив право издавать сочинения прямо от себя. Только так, а не каким-нибудь другим способом, можно возбудить к деятельности сельских иереев.

Скажем еще несколько слов о книгах, особенно нужных для простонародья. Непосредственно за книгами, о которых мы говорили, должно следовать объяснение всех православных богослужений и преимущественно литургии. Это объяснение всего более должно быть чуждо тех софистических тонкостей, которыми полно сочинение архиепископа Веньямина («Новая Скрижаль»)[1] и полны сочинения в рукописях, известные в учебных заведениях под именем «Истолкования божественной литургии». Все эти тонкости, все эти усилия в каждой вещи, в каждом действии видеть символ бесполезны и там, лишь затрудняя память и не внося в душу ни света, ни жизни, и были бы решительно вредны для крестьян: они лишь запутали бы их понятия, сбили с толку – и только. Пусть крестьянин узнает, что значит: вечерня, утреня и т.п.; пусть поймет значение слов: «аллилуйя», «паки», «миром» («Господу помолимся») и пр. и пр.; с него довольно: не будет по крайней мере бессмысленно кивать головой и повторять без сознания слова молитв.

Далее – объяснение всех таинств и обрядов – от молитвы родившей и до отпевания почившего. Также объяснение значения праздников и постов.

Для чтения собственно нравственного выбрать из Четьих-миней и Пролога жития всех тех подвижников, которые во время земной жизни занимали низшие ступени в обществе, были и не учены и не образованы, но умели угодить Богу, даже не оставляя мира и всех мирских занятий.

---

[1] Вениамин (В. Ф. Румовский-Краснопевков). Новая скрижаль, или Пополнительное объяснение о Церкви, о литургии, о всех службах и утварях церковных. М., 1803 (17-е изд. – 1908). – *Ред.*

Исчислять все, что нужно для крестьян, мы не намерены, а указали лишь на самое главное.

Приведется ли в исполнение все, что мы сочли нужным высказать? Знает Господь Бог. Но доколе не приведется, доколе свет веры не проникнет во все слои общества и даже в простонародье, не озарит тьмы, среди которой оно влачит свою жизнь до могилы, дотоле название «Русь *православная*» – слово без значения...

Публикация Е. БУРТИНОЙ

ПИСЬМА ВАРЛАМА ШАЛАМОВА

В наших судьбах – Шаламова и моей, при всем различии, есть много общего. Мы оба, будучи студентами, были арестованы почти в одном возрасте: Шаламову шел двадцать второй год, мне – двадцать первый. Оба попали в одну и ту же тюрьму – Бутырскую. Между датами наших арестов пролегло восемь напряженных лет.

Второй арест Шаламова по времени совпал с моим. Варлам Шаламов был арестован 12 января 1937 года, я – 1 ноября. Оба в 1937. Первые шесть месяцев этого мрачного года резко отличались от последующих и по стилю ведения следствия, и, главное, по нормам юридическим и нравственным, если о таковых можно вообще говорить. Судьбы арестованных, по сути, были предрешены еще до ареста. Но до июля 1937 года не было пыток. По крайней мере, в том садистском, изуверском исполнении, которое господствовало далее в следственных изоляторах страны до XX съезда,а позже, в эпоху застоя несколько «модифицировалось».

На следствии 1937 года Шаламова не били, не истязали. Его осудили за то, что единожды был уже «бит», и дали скромный по тем временам срок – 5 лет. Я попал в тюрьму после того, как было дано «высочайшее» разрешение в средствах для получения «нужных» показаний не стесняться. Со мной уже не стеснялись – меня били. Мне было предъявлено обвинение по статье 58 пункты 8 и 11 – участие в контрреволюционной террористической организации.

Во время следствия, испытывая свою волю, я бросил курить, хотя курил уже десять лет. Я не признал себя виновным, не опорочил других... Снова закурил лишь тогда, когда, зачитав постановление особого совещания, меня перевели в тюремную церковь, превращенную в пересыльный корпус.

Из Бутырской тюрьмы мы оба, Варлам и я, попали на Колыму, на соседние прииски – Партизан и Верхний Ат-Урях, в забои с открытой добычей золота. Оба в два первые года работы в забое, приставленные к тачке, кайлу и лопате с 12 – 14-часовым рабочим днем в зной короткого лета и в долгую зимнюю стужу от голода, холода, непосильного труда и отчаяния успели д о й т и до предельного физического истощения (отсюда, кстати, и слово «доходяга»). Я был на десять лет моложе Варлама, физически подготовленнее и потому продержался в забое дольше. Мы оба стояли уже одной ногой на дне ледяной колымской могилы,

когда лагерная медицина пришла нам на помощь, оживила и оставила в своих рядах. Меня – раньше, Варлама – несколько позже. Именно это сохранило нам жизнь.

Мы познакомились с Шаламовым в больнице Севлага на Беличьей, где я работал фельдшером и операционным братом двух хирургических отделений. А Варлама после длительного и упорного лечения, уже окрепшего, готовили к выписке. Он пребывал в тоске и тревоге, предвидя пришсковые будни. Он искал какой-нибудь зацепки, чтобы отодвинуть эту встречу с полигонами уничтожения. Я без труда понял его заботы, еще недавно бывшие и моими. Я поговорил о нем с главврачом Ниной Владимировной Савоевой, которая была еще и хирургом, относилась ко мне с доверием и симпатией. У нас обоих уже сложилось представление о Шаламове. Мы относили его к тому тонкому, хрупкому, трудновосстановимому социальному слою, именуемому интеллигенцией, который формирует культуру и нравственное лицо народа. Сделано было все возможное, чтобы оставить Шаламова в больнице. Варлам оставался на Беличьей до конца 1945 – начала 1946-го года, когда на Беличьей уже не было ни Нины Владимировны, ни меня.

В 1946 году мой друг по В.Ат-Уряху и Беличьей, врач Андрей Пантюхов, в пересыльной зоне Сусумана снял Шаламова с этапа на Индигирку, а несколько позже помог ему *попасть на курсы фельдшеров, что и определило его лагерную судьбу до конца срока. Более подробно о Шаламове, о наших взаимоотношениях я рассказываю в книге воспоминаний «Неоконченные споры», в главе, ему посвященной. Отдельные главы этой книги печатаются в журналах. Надеюсь, что в скором и недалеком будущем книга увидит свет.*

1 ноября 1945 года, когда я уходил из больницы в Ягодное получать справку об освобождении, окончив восьмилетний срок, до полпути меня провожал Варлам. Он был грустен. Мы оба понимали, что на Беличьей ему долго не продержаться, – там у него не оставалось друзей. Мы пожелали друг другу удачи.

Шаламов освободился в 1951 году. В 1953-м он приезжал в Магадан хлопотать о выезде с Колымы. В Магадане остановился у нас. Я уже был женат, росла дочь, жили мы в общежитии медработников. Тогда Шаламову в выезде отказали.

Следующая встреча произошла в Москве в 1957 году. С этого времени началась регулярная переписка и встречи, когда случалось нам наезжать в Москву. До 1962 года писем я не сохранял вообще. Жили мы в крайне стесненных условиях. Комната являлась и спальней, и детской, и кухней, и столовой. Семья, работа, учеба в заочном техническом вузе, определенный провинциализм мой не располагали к хранению писем.

Из писем Шаламова сохранилась примерно половина –

более сорока. И сейчас, считая своевременным опубликовать какую-то часть их, я должен заметить, что письма эти не столько о литературе, писательстве, сколько о характере наших взаимоотношений и о самих наших характерах. И, конечно, о времени.

Склонен думать, в письмах этих четко прорисовывается характер и темперамент Шаламова, и также его оценки ряду людей, книг и социальных явлений. Для будущих исследователей творчества и жизни Варлама Шаламова, а также историков и читателей письма эти, как и любой другой свидетельский документ, представят определенный интерес.

Я не включил в подборку письма, связанные с хлопотами о справке, подтверждающей внутрилагерные перемещения Шаламова и перечень работ, на которых он использовался. Справка такого рода была необходима Шаламову для получения пенсии. Головное учреждение лагерей Колымы, куда я вынужден был обращаться многократно, не торопилось с ответом, и моя тяжба затягивалась по времени. Начальника учетно-распределительного отдела «Почтового ящика № ...» Ноэля Владимировича Журавлева помню до сих пор, словно расстались вчера.

Не вошли письма о лекарствах и рецептах, которые мы посылали Варламу из Магадана в Москву. И письма интимного содержания, срок которым еще не пришел.

В 1949 году, выезжая с Колымы на «материк» в свой первый после освобождения из лагеря отпуск, я был потрясен, услышав на улицах не только сибирских городов и весей, но и стольного града «родной» тюремный жаргон, перешагнувший через колючую проволоку «Архипелага» и обсеменивший все зазонное пространство. Тем не менее, почти уверенный во всезнании молодого читателя этих дней, в примечаниях я даю все же некоторые пояснения.

Б. ЛЕСНЯК

Борис ЛЕСНЯК – родился в 1917 году в Чите. В 1937 г., будучи студентом второго курса Московского медицинского института, арестован. Особым Совещанием НКВД приговорен к 8 годам исправительно-трудовых лагерей на Колыме, из которых четыре года проработал в открытом забое прииска Верхний Ат-Урях. В 1955-м полностью реабилитирован. Закончил Всесоюзный заочный политехнический институт.

Москва, 18 января 1962

Дорогие Нина Владимировна[1] и Борис.

У меня – просьба к вам обоим – помочь мне вспомнить одну смерть. На «Беличьей»[2] в 1943 году умер (в отделении Калембета) Роман Кривицкий, бывший ответственный секретарь «Известий», доходяга опухший такой. Койка его стояла рядом с моей, но я выписался, а он – оставался, и судьбы его я не знаю. Слышал, что умер тогда же. Не вспомните ли точнее, подробнее все о нем?

О.С.[3] шлет вам обоим привет.

Как дела с переездом в Москву?

Ваш В.Шаламов.

Москва, 22 февраля 1962.

Дорогой Борис.

О Романе Кривицком никого запрашивать не надо – об этом позаботится его брат.

В письме твоем очень много вопросов. Попытаюсь ответить, как могу и понимаю. Писать нужно все время, не стремясь обязательно к печатанию. Это вещи (нрзб) разные – печататься и писать. Конечно, рассказ психологического плана есть самый достойный род прозы. И уж кому, как не тебе, заставить проработать подробности, мелочи для этой цели. Надо иметь только волю отвлечься от текущего дня, вернуться к «утраченному времени», перечувствовать тот, прежний мир – обязательно с болью душевной, а без боли ничего не получится. Словом, надо пережить, перечувствовать больное, как бы разбередить раны. Ни о каких «позициях» и «реализмах» думать во время работы не надо, да и не писателя это дело, а дело критиков, литературоведов и т.д.

Присылай рассказ, прочту охотно. Убежден в его цельности, новизне, остроте зрения.

---

[1] Жена Б.Н.Лесняка. – *Ред*

[2] Беличья – поселок геологов, на базе которого была развернута Центральная больница Севлага *(Здесь и далее примечания Б.Лесняка).*

[3] Ольга Сергеевна Неклюдова, вторая жена В.Шаламова.

Сейчас Солженицын показывает нашим «писателям», что такое писательский долг, писательская честь. Все три рассказа его – чуть ли не лучшее, что писалось за 40 лет.

«Сюжеты», как ты выражаешься, вернутся, если поработать прилежно. Ты не разучился наблюдать жизнь, а не приобрел еще писательских навыков, как мне кажется.

О лагере надо писать обязательно. Скорее. Память – инструмент несовершенный, ненадежный. Потому у тебя и затруднения с «сюжетом». Надо вернуться не столько мыслями, сколько чувствами в лагерный мир.

За почерк меня прости. Это не по торопливости, не по небрежности, это – вследствие моей болезни – дрожит рука и равновесие не могу сохранить.

Что касается Нефедовых, Лившицев и Николаевых, то недавно ко мне приезжал журналист Виленский (он был недолгое время на Колыме в Берлаге – уже после войны, так что ничего «настоящего» лично не видел)[1] и просил у меня дать стихи для альманаха «На Севере дальнем». Виленский знает тебя. Когда-то года 4 назад я с господином Нефедовым и господином Николаевым обменялся письмом по такому же точно поводу.

В последнем № альманаха (2 – 1962) напечатана повесть Козлова о Берзине.[2] Первые главы крайне поверхностны, слабы. Вишера (на Северном Урале) занимает в берзинской жизни важное место – он проводил там правительственный эксперимент особого рода (отнюдь не секретный), что и было содержанием его работы на Вишере – а в повести об этом даже не упомянуто. Козлов даже не догадывается о сути вещей.

Там были люди, его сотрудники, не мельче самого Берзина. Но, конечно, это – не Эпштейн и не Алмазов (бухгалтер и плановик!), и не Эпштейна и Алмазова имеют в виду, когда говорят о «вишерцах» на Колыме. Я ведь Берзина знаю, был с ним на Вишере, знаю все его окружение. В Москве живет немало людей тогдашней Вишеры, и можно только удивляться, что Козлов за 10 лет собрал

---

[1] Тут Шаламов ошибается. Виленский хлебнул лиха полной мерой, участвовал в лагерном восстании и очень плодотворно занимался общественной деятельностью после освобождения.

[2] Берзин Э.П. – бывший офицер русской армии – помог ВЧК в разоблачении «заговора послов» Рейли–Локкарта и в подавлении оппозиции левых эсеров. В 1929 г. Берзин возглавил строительство Березниковского химкомбината на Северном Урале. В.Шаламов, отбывавший на Вишере адм. ссылку 1929 года, был там кем-то вроде старшего нарядчика и находился в свите Берзина, поэтому хорошо знал все его окружение. С 1932 по 1937 год Берзин был начальником Дальстроя НКВД СССР.

такой удивительно несерьезный и беспечный материал. Не знаю, что будет дальше. Ну, бог с ним.

Нине Владимировне – мой сердечный привет. Это письмо вам обоим, и Нине Владимировне и тебе.

Здоровье мое плохое. Впрочем, я продолжаю верить, что начатое на XX съезде партии не остановится и поборет все препятствия, которые очень велики.

Вот тебе сюжет для рассказа. «История болезни» – по форме, по бланку, каких были тысячи, десятки тысяч. С лабораторным анализом, следами переломов от побоев, пеллагры. Анамнез морби и анамнез вита. И смерть. И секционный акт, где диагноз не сходится, но подгоняется под какой-нибудь «нейтральный».

Никогда еще, кажется, такого длинного письма я тебе не писал.

О.С. шлет вам обоим привет. Желает счастья, бодрости.

Пиши.

В.

Москва, 23 марта 1963

Дорогой Борис.

Прости меня, что отвечаю поздно – здоровье так плохо, что проходят недели, пока напишешь два слова (в этом и ответ на твои настоятельные просьбы сообщить о моих планах). Рассказ «Три Д» неудачен – за текстом не чувствуется трагедии. Райский же хвостик в виде дочери, играющей на пианино, – это дешевый газетный штамп. Даже не беллетристический, а газетный – прием, который может угробить любой материал.

Помнить нужно вот что: успех художественного произведения решает его новизна. Эта новизна многосторонняя: новизна материала или сюжета, идеи, характеров, психологических наблюдений, которые должны быть новы, тонки и точны, новизна описаний в пейзаже, в портрете, свежесть и своеобразие языка. Второе, что тебе надо очень хорошо понять: правда действительности и художественная правда – вещи разные. Истинно художественное произведение – всегда отбор, обобщение, вывод. В рассказе нужна выдумка, вымысел, «заострение сюжета». К основной схеме должны быть присоединены наблюдения, разновременные, ибо рассказ – не описание случая. Третье: наша сила в нашем материале, в его достоверности. И любой прямой мемуар в полном согласии с датами и именами более «соответствует» нашим знаниям о предмете.

У произведения, имеющего вид документа, – сила особая.

Конечно, есть художники, добивающиеся успеха в преодолении действительности, не потерявшие силу мемуара, преодолевая мемуар (Достоевский с «Записками из мертвого дома», Солженицын с «Одним днем Ивана Денисовича»). Но уже Толстой в «Воскресении» с его тюремными сценами слабоват, второсортен.

Я думаю, что тебе нужно беспрерывно писать, (нрзб), не предлагая пока Козлову [1] того, что выйдет из-под пера.

Не сердись на меня за такой «отзыв». Я бы мог найти в «Трех Д» и плюсы, и достоинства, но по рассказу вижу, что кое-что важное в литературном деле ушло из поля твоего зрения. Пиши. Ты же рассказчик гоголевского склада, обличитель: и вдруг... пианино.

Нине Владимировне мой сердечный привет.

Твой В.

О.С. шлет тебе и Н.В. свои лучшие пожелания.

Москва, 8 января 1964.

Дорогой Борис.

Жестокий грипп не дает мне возможности поблагодарить тебя достойным образом за твой отличный подарок. Самое удивительное, что стланик[2] оказался невиданным зверем для москвичей, саратовцев, вологжан. Нюхали, главное – говорили: «пахнет елкой». А пахнет стланик не елкой, а хвоей в ее родовом значении, где есть и сосна, и ель, и можжевельник. Словом – жму руку.

Привет Н.В.

Мама твоя звонила перед Новым годом.

Твой В.Шаламов.

---

1 Козлов Н.В. – был некоторое время главным редактором Магаданского книжного издательства и писал роман о «солдате революции» Э.П.Берзине «Хранить вечно».

2 Стланик кедровый – единственное на Колыме хвойное вечнозеленое растение. К Новому, 1964 году я послал Шаламову из Магадана в Москву несколько веток стланика, вырытых из-под снега на марчеканской сопке. Этот подарок послужил Шаламову поводом для написания двух произведений: рассказа «Воскрешение лиственницы» и стихотворения «Я не лекарственные травы в столе храню...», опубликованного в книге стихов «Дорога и судьба».

Москва, 26 апреля 1964

Дорогой Борис.

В № 4 «Нового мира» за этот год, только что вышедшем, помещены воспоминания о Колыме одного из колымских доходяг – генерала армии Горбатова («Годы и войны»). Речь идет о 1939 годе, о Мальдяке и о больнице 23-го километра. Обязательно найди и прочти. Это – первая вещь о Колыме, в которой есть дыхание лагеря (и истина), хотя в уменьшенном «масштабе». Я думаю, что ты вспомнишь и то, что забыл Горбатов, – фамилию того фельдшера, который работал на Мальдяке в 1939 году. Прошу ответить мне незамедлительно.

Привет Н.В.

В.Шаламов.

Москва, 4 июня 1964

Дорогой Борис.

Сердечно благодарю за великолепные фотографии, которые ты прислал. Я давно должен был написать это, да все прибаливаю и не нашел сил для письма. Я не думал, что ты так чудесно делаешь эти вещи. О справках. Я написал письмо (уже давно) начальнику аркагалинской шахты (он на пенсии и живет в Москве), но никакого ответа не получил пока. Напишет и Андрей Максимович[1] (он в Москве сейчас).

Нине Владимировне мой привет самый лучший.

В.Шаламов.

Москва, 5 июня 1964

Дорогой Борис.

Пишу карандашом потому, что котята изгрызли авторучку, а

[1] А.М.Пантюхов.

новую пока не купил. Посылаю тебе текст свидетельства, заверенного в нотариальной конторе б.начальником аркагалинской шахты И.Ф.Цепковым. Это – не б. з/к, а договорник. За первые годы (с 11 авг. 1937 г. по 1 апр. 1939 г.) дает свидетельство доктор Лоскутов (я уже написал ему). Время войны (1942–1945) удостоверит, надо надеяться, А.М.Пантюхов, который сейчас в Москве. Достаточен ли текст нотариального свидетельства Цепкова? Сообщи, и я вышлю тебе подлинник (он выдается в одном экземпляре). И Лоскутов и Пантюхов были в тех же горных управлениях в годы 1937–1939 и 1942–45, что и я. И Лоскутов и Пантюхов дают свидетельства по форме, которую я посылаю.

Привет Н.В.

В.Ш.

26 июня 1964. Москва.

Дорогой Борис.

Почему ты не пишешь? Разве «деловая» сторона – единственная в наших отношениях? Ты не ответил о времени вашего возвращения в Москву, не рассказал о своих издательских делах, магаданских и столичных.

Жду писем. Привет Н.В.

О.С. и Сережа[1] приветствуют вас обоих (они оба на даче сейчас).

В.Ш.

Москва, 2 июля 1964.

Дорогой Борис.

Я сердечно благодарю тебя за рецензию, где ты выступаешь по всем критическим канонам, заслуживая отличной отметки. Но это – пустяки, я хочу написать (в связи с рецензией твоей) письмо как можно толковей, но чувствую себя очень плохо и не в силах сейчас изложить то, что хочу. Это короткое письмо как бы извинение за задержку ответа.

---

[1] Сын О. С. Пантюховой.

Фотография с лошадью и университетом – (нрзб) должна что-то озарить? ошеломить? – и вертится уже в голове что-то.

Н.В. привет мой сердечный.

В.

Письмо твое подробное, предваряющее телеграмму, получил, разумеется, и очень благодарен.

В.

Москва, 5 июля 1964

Дорогой Борис.

Необходимые мне документы я уже получил в Москве – сердечно тебя благодарю за все хлопоты и беспокойство.

Рецензия[1] твоя вышла чуть не в один день с рецензией В.М. Инбер (ЛГ) о той же самой книжке.

Разумеется, «трудный» и «сложный» разные понятия. Это ясно и магаданскому редактору.

Тон статьи твоей считаю во многом очень удачным, полезным и обещающим – и для тебя, и для меня. Нехорош заголовок.

Нельзя ли несколько (два-три) экземпляра «Магаданской правды» за 24 июня получить?

В общем, рецензия принадлежит перу квалифицированного литератора, знающего, на какие именно вопросы должна отвечать такая статья. «Рубежи» произвели отличное впечатление.

А если по-серьезному – я очень доволен и грамотностью статьи, и чувством, и умом.

Стихи – это ведь такая тонкая материя, где пейзаж без человеческой речи – нем, мертв. Суть «Шоссе» – в последней строке – в море, которое затаскивает бурлацкой веревкой к ангелам.

Хорошо, что примеры взяты из обоих книжек («Огниво» и «Шелест»).

Когда вы вернетесь в Москву? Осенью? Или будущей весной?

---

[1] Рецензия. Первая книжка стихов Шаламова «Огниво» вышла в 1961 г., вторая – «Шелест листьев» – в 1964 г. Обе книжки Шаламов прислал нам с трогательными надписями. По выходе «Шелеста листьев» я написал для «Магаданской правды» отзыв на обе книжки, дав ему название «Дорога». Редактор, не согласовав со мной, изменила название на «Север, Север...» И я и Варлам были огорчены этим нелепым заголовком.

Напиши.

Фотографии я все роздал. Ту, что в шапке, презентовал Солженицыну. А у кошки какие-то двойные глаза? Отчего бы это? Я не предполагал столь высокого качества фотографий.

О.С. и Сережа на даче. Ремонт, начатый в марте, еще не закончен.

Сердечный привет Нине Владимировне.

В.Ш.

Москва, 5 августа 1964

Дорогой Борис!

Получил твою посылку и за все благодарю. Магаданский значок изящен, символичен, но был бы еще лучше, если бы вместо елки в левой половине щита стоял стланиковый куст или лиственница – никакие другие деревья не могут быть символом Магадана, знаком Дальнего Севера, в том числе и ель. В комиссии, утверждающей проекты, должны быть люди, понимающие разницу между елью и лиственницей – именно в нашем, Колымском, лагерном плане. Для нас не всякая хвоя была символом жестокости, недружелюбия, угнетения и не всякая хвоя была знаком надежды. Очень хорош учебник географии Петрова. Благодарю за подарок. В нем, конечно, нет очень многого – и, в частности, исторического содержания и в подробностях – Колымской природы (стланик, поднимающий свои ветви среди зимы от костра и опускающий их, когда костер погаснет; грибы-великаны, будто выращенные модным гидропонным способом, цветы без запаха, птицы без весеннего пения, весна без дождей и многое, многое другое), и все же работа Петрова – лучшее в своем роде издание, наиболее ответственное (поскольку это – учебник). Я вспоминаю, что в школьные географические учебники в течение сорока лет не включали одну восьмую часть Советского Союза – ту самую, о которой написана работа Иванова.[1]

Теперь о вопросах принципиальных. Ты пишешь, что не понял моего замечания о стихотворении «Шоссе». Постараюсь объяснить подробнее. Стихи пишутся не для того, чтобы по ним изучали природу, топографию местности, улицы и площади. Стихи – не путеводитель по городу. Ни при возникновении замысла, ни при

---

[1] В.Шаламов в письмах часто вспоминает учебник географии Магаданской области В.М.Петрова, но постоянно путает фамилию автора, называя его то Ивановым, то Карповым, то Кузьминым.

записи, ни при окончательном контроле и шлифовке – нигде и никогда в творчестве не ставится <задача> изучения природы, описания природы. В стихотворении речь идет о душе, и только о душе. Более того: пока пейзаж не заговорит по-человечески – его нельзя и называть пейзажем. Это будет лишь мертвое описание, лишенное поэзии, не способное тронуть человеческое сердце. Стихотворение «Шоссе» (которое выбрано тобой как пример изображения «труженицы-дороги») написано только для того и только потому, чтобы показать, что все бурлацкое, все каторжное, что я знаю об этом море – заслуживает ангельской, небесной жизни.

Вот суть этого стихотворения, его мотив и смысл.

О рецензиях. Твоя рецензия, повторяю, мне понравилась, хотя она и написана по тем канонам, которые преподаются в школе и литературных кружках. Я должен всегда помнить, что ничего другого редакция и не напечатала бы, вероятно. По всей вероятности – это максимум возможного.

Рецензию В.М.Инбер ты оценил очень невнимательно. Дело не только в доброжелательности. В рецензии начат очень важный разговор о том, что делать с бесчисленными «самородками» вроде шелестовского и творениями Алдан-Семенова, заполнившими поэтический рынок. Можно ли простить выступления целой тучи бездарностей – только потому, что они «сидели» в свое время. Может ли простить их выступления поэзия – «пресволочнейшая штуковина». В.М.Инбер считает, что нельзя. Ибо искусству (к сожалению или к счастью, как на чей вкус) нет дела до того, страдал бездарный автор или нет. И я считаю, что нельзя. Возможно, эту мысль надо было, можно было выразить яснее. Возможно, редакции «Литературной газеты» кое-что в этом отношении следовало прояснить. Но В.М.Инбер принадлежит уже не один десяток лет к числу писателей, которых в редакциях не правят. В.М.Инбер не понравилось в «Огниве» стихотворение «Камея» (неполный текст), пока я не познакомил ее с полным текстом этого маленького стихотворения. Свое изменившееся мнение В.М. сочла нужным подтвердить публично, официально (в рецензии). В рецензии В.М.Инбер есть одна ошибка. Речь идет о стихотворении «Виктору Гюго». В.М. показалось, что это стихотворение относится к лагерю, тогда как «нетопленый театр» – это Вологда моего детства, двадцатые годы, самый первый увиденный мной театральный спектакль – «Эрнани» с Н.П.Россовым (был такой в России знаменитый бродячий актер-трагик), игравший глубоким стариком роль молодого короля Карла в этой пьесе. Вот это – восхищение, ошеломление детских лет, вызванные первым театральным спектаклем, восхищение гением Виктора Гюго – я и старался выразить. (Человек, сказавший , что Виктор Гюго жил и умер мальчиком с церковного клироса – Анатоль Франс, – фигура ничтожная по сравнению с Виктором Гюго.

Вот о чем шла речь в стихотворении «Виктору Гюго». А Вере Михайловне Инбер показалось, что тут речь идет о лагере, о нетопленом театре в снежной Вологде, которая кажется В.М. чуть

ли не краем света.

Я хотел написать ей об этом в письме (у меня есть ее письма), но потом передумал и оставляю ее отклик как некий общественный и литературный факт, как своеобразную аберрацию.

Лагерь был и остается Книгой за семью печатями – В.М.Инбер считает худшим наказанием смотреть «Эрнани» в снежной Вологде, дальше этого представить человеческие страдания автор «Пулковского меридиана» решается. В этой ошибке есть нечто общее с впечатлением читателей повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Большое количество читателей принимают повесть как изображение картины «ужасов» – а до подлинного ужаса там очень, очень далеко, и надо было десятилетие по крайней мере смертей, произвола (который только сейчас называется произволом, чтобы получить этот «каторжный лагерь». Все это – такой интересный и психологически значительный оборот дела, что я решил не нарушать иллюзию.

Наконец, третий вопрос – о значении Крайнего Севера в моей работе (или творчестве, как теперь говорят). В пушкинские и даже в некрасовские времена слово «автор» обозначало «сочинитель», писатель. Теперь же пишут: «автор гола в ворота «Спартака» и так далее. Я пишу стихи с детства, а в юности собирался стать Шекспиром или по крайней мере Лермонтовым и был уверен, что имею для этого силы. Дальний Север – точнее лагерь, ибо север только в лагерном своем обличье являлся мне – уничтожил эти мои намерения. Север изуродовал, обеднил, сузил, обезобразил мое искусство и оставил в душе только великий гнев, которому я и служу остатками своих слабеющих сил. В этом и только в этом значение Дальнего Севера в моем творчестве. Колымский лагерь (как и всякий лагерь) – школа отрицательная с первого до последнего часа. Человеку, чтобы быть человеком, не надо вовсе знать и даже просто видеть лагерную Колыму. Никаких тайн искусства Север мне не открыл.

Есть одно важное наблюдение, заслуживающее особого разговора, но связанное и со сказанным только что. Писатель не должен слишком хорошо знать свой материал. Если писатель знает материал «слишком» – он переходит на сторону материала и теряет способность выступать от имени читателей, для которых он пишет (в смысле настоящего писательства, а не заказа). Читатели перестают понимать его. Связь нарушается. То, что казалось раньше важным (ему и его читателю) – сейчас кажется чушью, пустяками – и это не новое открытие, не мир, в который он может ввести читателя (это бывает всегдашней писательской задачей), а страна, где говорят на другом языке и думают по-другому. Драка из-за куска селедки важнее мировых событий – это простой пример «сдвига», «смещения масштабов». То, о чем сказано скороговоркой, походя, и автору понятно и близко (иное решение нарушает художественность словесной ткани, как примечания-сноски разрушают стихи) – для читателя требует подробного, постепенного, а главное – талантливого предварительного

объяснения. Писателю же в это время такая подготовка кажется не нужной. Да и не всегда возможно объяснить. Таких примеров ты можешь сам представить бесчисленное количество.

Вот кое-что из того, что я тебе хотел сказать по поводу и твоего письма, и твоей рецензии.

Нине Владимировне – сердечный мой привет. О.С. – на даче, а Сережа – в Прибалтике.

Жму руку.

В.Шаламов

Прошу прощения за машинку. Переписывать такое большое письмо нет сил, а черновики неважны.

В.

Москва, 3 декабря 1964

Дорогой Борис.

По встретившейся срочной надобности сообщи мне, как можно скорее, имя и отчество Уманского [1] (Яков Михайлович или Яков Моисеевич?), а также месяц и год его смерти. Буду очень, очень благодарен. О деньгах (долге) тебе думать не надо. Пусть это будет уплата в самую последнюю очередь.

Нине Владимировне сердечный привет.

Твой В.Шаламов.

---

1 Уманский Яков Михайлович (1877 г.р.) – врач, приехал в Дальстрой по договору, работал врачом в лагере. По доносу вольнонаемной медсестры, члена ВКП(б), Уманский был арестован и осужден «тройкой» НКВД к 10 годам лагерей за помощь моральную и материальную (хлеб, масло, сахар) православному священнику-заключенному. Срок свой отбыл полностью. В шестидесятые годы Шаламов написал рассказы «Вейсманист» и «Курсы». Героем и является Уманский. По просьбе Варлама я в письмах подробно рассказал ему об Уманском – о внешности, характере, круге интересов, поведении в быту и т.д. В 1950–1951 годах в Магадане я жил с Уманским в одной комнате общежития медработников. У нас были теплые, дружеские отношения. Уманский умер в 1951 году по дороге на работу. Он работал паталогоанатомом Магаданской областной больницы. Я очень переживал эту смерть. И впервые в жизни участвовал в похоронах.

И вот еще что. Нельзя ли купить в Магадане все, подобное «Географии Магаданской области», которую ты послал мне? Книжка эта – документ удивительный, очень мне нужный. Все сочинения такого рода, а также все и всяческие мемуарные работы, вплоть до книжки Вяткина – тоже. Есть ли там что-нибудь путное? Хотелось бы приобрести. Не затруднит ли тебя просьба? Отвечай об Уманском быстрее.

В.Ш.

Москва, 15 декабря 1964

Дорогой Борис.

Спасибо тебе за письмо и сведения об Уманском. Как часто бывает в рассказах, я угадал дочерей героя, угадал отношение их к отцу, хотя и не знал об этом ровным счетом ничего – все выдумал. Я написал рассказ «Вейсманист», где суть – в крепости духа, в надеждах, разбивающихся о жизнь и т.д. Если бы я получил твое письмо раньше – кое-что, вроде грузинского языка и немытого стакана, я бы мог вставить. Но рассказ уже написан. Исправлять его, переписывать – нет сил. Я никогда этого не делаю. Для сути рассказа герой должен умереть 4 марта 1953 года. Но и смерть в 51 году тоже годится.

Желаю тебе здоровья. Пиши обо всем, что есть интересного в Магадане (или было).

Н.В.Сердечный мой привет.

В. Шаламов.

Знал ли Уманский, что изобретен электронный микроскоп и хромозомная теория Моргана и Вейсмана была подтверждена экспериментально? Вот что было бы важно для рассказа. Напиши, пожалуйста.

В.

Конверт заклеен моей собственной рукой, чтоб «не пропадало доброе», как говорили в старину.

В.

Москва, 26 декабря 1964

Дорогие Нина Владимировна и Борис, поздравляю вас с Новым годом, желаю, чтобы позитивные начала нашей текущей жизни укрепились окончательно и бесповоротно. Желаю здоровья, сил. Желаю оставить Дальний Север и переехать в Москву в 1955 году – весной, конечно.

Борис. Твоя мама звонила недавно и говорила с О.С. Ты не получил ответа на свое письмо об Уманском. Я послал ответ за несколько дней до звонка твоей мамы. Сейчас план того рассказа несколько изменился (рассказ сейчас на научной консультации), и если потребуют переделки – я внесу все изменения, которые можно и должно ввести по тем материалам, которые есть в твоем письме. Сердечно благодарю.

Нельзя ли мне прислать (заказным письмом?) несколько фотографий писем[1]? Сейчас настал момент, когда придется эти письма отсылать в журналы.

Твой В.Шаламов

О.С. и Сережа поздравляют вас с Н.г. и шлют вам обоим привет.

В.Ш.

Москва, 14 января 1965

Дорогой Борис.

Спасибо за книжную посылку. Не скрою, что подбор меня удивил. Мне ведь хотелось: описания географические, исторические работы, документы, дневники, записки, мемуары, исследования – все, что угодно, но не бессовестную болтовню господина Вяткина.

Из уважения к затраченному тобой труду по пересылке почтовой я просмотрел роман. Эту «книгу» написал подлец.Ведь

---

1 Это письма Бориса Пастернака, писавшиеся в 1952–1953 годах Шаламову на Колыму. По тем временам для Пастернака это было смелым гражданским поступком, что Шаламов понимал и ценил. Под большим давлением Варлама я переснял те письма в Москве в самых неподходящих условиях. Я предлагал сделать фотокопии в Магадане на самом высоком уровне. Варламу не хотелось расставаться с письмами. Проявлял и печатал я уже в Магадане. Негативы этих снимков сохранились.

печатались и Вронский, Галченко[1] – неужели все исчезло? Учебник географии был превосходным подарком, и я думал, что в издательстве есть и еще кое-что дельное.

Рассказ «Вейсманист» я тебе покажу в Москве.

Разумеется, упоминая Вяткина в предыдущем письме, я думал, что это дневник, документ... Прошу прощения. Отрицательная оценка «романа» (о котором мои корреспонденты писали, как о книге, в которой есть все, кроме правды) – не желание получить из Магадана что-либо. Но построже, построже... Без повестей и рассказов.

Н.В. сердечный привет.

О.С. и Сережа шлют вам обоим свои добрые пожелания.

В.Ш.

Москва, 1 марта 1965

Борис, некоторое время назад звонила твоя мама – почему я тебе ничего не пишу... Но я тебе ответил на твое письмо и посылку. Мой скептицизм тебе не следует принимать всерьез – в конце концов то, что тебе покажется интересным и полезным для меня – то и посылай. У меня вот какая к тебе просьба, необычая. Небезызвестная Женя

---

[1] В. Вяткин – договорник, член ВКП(б), много лет руководил ремонтными мастерскими промышленного района. Единственной рабочей силой на Колыме были заключенные. На склоне лет Вяткиным написана книга «Человек рождается дважды». В ней кое-что рассказано и о заключенных. Книга не раскрывает всей правды о Колыме, ее трагедийном облике, о цене, заплаченной за освоение этого края. Книгу я прислал Варламу по его просьбе. Резкие оценки и безапелляционность суждений – присущие Шарламову черты – к середине шестидесятых годов резко обострились. Б.Вронский – геолог, приехавший на Колыму в 1931 году. Им написана серьезная документальная книга о колымском золоте с массой фотографий, описаний природных и климатических особенностей промышленного района. Книга называется «На золотой Колыме». (М.: Мысль). Книги Галченко я не помню.

Гинзбург[1] выдает здесь себя не за то, кем она была, и мне хотелось бы получить от тебя разъяснений по этому поводу, справку, хотя бы в виде впечатления. Я ее и сам немножко помню и знаю, но очень мало. Привет Нине Владимировне. Жду вас обоих в Москву.

Ваш, твой В.Шаламов

Удивительная вещь. Никто из тех, кому я показывал присланную тобой ветку стланика – не представляют, не воображают себе это растение. Им легче химеры с Собора Парижской богоматери вообразить, чем стланик. Большое спасибо тебе за подарок.

В.Ш.

Москва, 10 июля 1967

Дорогие Нина Владимировна и Борис.

Прошу принять с добрым сердцем мою новую книжку «Дорога и судьба».

Борис, пошли несколько лучших своих фотографий Магадана

1

Женя Гинзбург – Евгения Семеновна Гинзбург, автор автобиографической повести «Крутой маршрут», мать писателя Василия Аксенова. В 1944 и 1945 годах я, Шаламов и Гинзбург одновременно находились в больнице Севлага на Беличьей. Я – в качестве фельдшера и операционного брата хирургических отделений, Шаламов – после выздоровления был оставлен в больнице культоргом. Гинзбург – в качестве сестры-хозяйки дома отдыха (оздоровительного пункта) для заключенных забойщиков прииска Бурхала, в те годы передового прииска. ОП находился на территории больницы и в административном ей подчинении. Положение Жени Гинзбург было привилегированным: она жила при ОП одна в изолированной комнате с отдельным входом, питалась из «котла» отдыхающих, а не из общего больничного, как весь медперсонал. Продукты для отдыхающих отпускались по приисковым нормам первой категории! Ни один врач этой больницы не имел таких условий. Шаламов и я считали Гинзбург партийным фанатиком из элитарного слоя и сторонились ее. Лагерную судьбу Жени мы знали. Она была более чем благополучной на фоне вопиющей трагедии ее соузниц по женскому лагерю. В Москве, по словам Шаламова, Женя выдавала себя за лагерную страдалицу и страстотерпицу, каковой не была. Сохранившиеся групповые снимки медперсонала больницы красноречиво об этом свидетельствуют.

(бухты, моря, гор), какие ты считаешь лучшими. Все, что у меня было, я давно раздарил. Это надо сделать срочно. Фотография для книжки, как ты видишь, твоя.

С глубокой симпатией

В.Шаламов.

Еще просьба. Купить в Магадане все экземпляры книжки О.Мандельштама «Разговор о Данте». Эту работу только что выпустило из-во «Искусство». Но в Москве она продавалась час. И еще: если возможно, купи с десяток экземпляров моей книги – пригодится. В Москве ее в продаже нет.

В.

Борис[1].

Вот тебе подарок от Надежды Яковлевны. Книжка Мандельштама вряд ли до Магадана дойдет. Здесь она продавалась час. Издание этой книги – первой работы Мандельштама за сорок лет – большое событие истории русской культуры.

Спасибо тебе за фотографии. Кажется, раньше были более выразительные: море, бухта, город, уходящая вверх дорога.

Если ты остаешься на зиму в Магадане и на осень, то купи учебник Карпова по колымской географии для восьмого класса. И поищи старых газет и журналов 1935, 1936, 37, 38 годов, журнал «Колыма» и другие,. И еще просьба: выясни год и род смерти Александра Александровича Тамарина, б. заведующего Колымской опытной с/х станцией и вообще растеневода известного, награжденного вместе с Берзиным в 1935 году орденом Ленина. В 1937 году летом Александр Александрович был еще жив и работал не то на Дукче, не то в Магадане. Я знал его по Вишере.

Привет Н.В.

Пиши. В.Ш.

Дорогой Борис.[2]

Раз ты остаешься в Магадане, не мог ли бы ты собрать любые материалы о колонистах, о Колонбюро. Когда все это началось и кончилось?

---

1 Письмо не датировано. Ориентировочно – вторая половина июля 1967 г.

2 Дата не проставлена. Примерно – YII. 67.

В Магадане, наверно, есть бывшие старые колонисты.

Колонбюро имело поселок на Оле, в Веселой и пр.

Не вышли ли в Магадане любые справочные издания вроде сборника к десятилетию, который ты посылал?

И вообще всю Колымскую географо-историческую прозу, включая ведомственные доклады, что ли.

Магадан выпустил когда-то книгу Н.А.Жихарева – Очерки Северо-востока РСФСР. Нельзя ли эту книгу приобрести?

Пиши.

Привет Н.В.

Нельзя ли еще экземпляр получить учебника географии для средней школы (Карпова) и все новое, непредусмотренное?

В.Ш.

Москва, 17 апреля 1969

Дорогой Борис.

Спасибо за книжку Яновского.[1] Эту книжку написал подлец. Учебник географии Кузьмина выглядит много порядочнее.

Автор видит решение Колымского вопроса в навечном прикреплении людей к Северу – ясно, что для «комплекса» не имеет значения , чем прикрепляют – длинным рублем или колючей проволокой, – до концлагерей тут один шаг.

Как ни безразлична мне современная Колыма, я с жадностью ловлю каждую кроху сведений о любом дне из тех двадцати лет нашей колымской жизни. Тот исторический период (с 1932 по 1956 год) бесконечно важнее всей Колымы исторической и всей Колымы современной для русской истории.

Поистине мы с тобой наблюдали «мир в его минуты роковые».

Автор брошюры «Человек и Север» хотел бы отменить мороз и ветер, отменить климат. Увы – автор не в силах отменить географию. Он не в силах отменить и историю, как бы ни хотел замолчать, исказить, отрицать все, что было, оболгать мертвецов и прославить убийц.

Привет Н.В.

С уважением и симпатией В.Шаламов.

---

1 В. В. Яновский – научный сотрудник Северно-Восточного комплексного НИИ-1, издал книжку «Чсловек и Север» (Маг. кн. изд., 1969).

Москва, 7 мая 1972.

Дорогая Нина Владимировна.

Сердечное Вам спасибо за рецепты. Помощь оказалась экстренной, хотя и удалена от Москвы за девять (или двенадцать) тысяч километров.

Даже рецепты с датой магаданской удалось использовать – не прошел еще десятидневный срок.

Борису передайте тысячу приветов в больницу, если он уже (или еще) не вышел оттуда. А что с ним? Опасное что-нибудь? Вы не написали.

Шлю вам обоим привет.

Пишите.

Ваш В.Шаламов

Христос Яннарас

ВЕРА ЦЕРКВИ

В этом номере завершается начатая в № 72 публикация глав из книги современного православного теолога Христоса Яннараса. Всем, кого заинтересовала эта публикация, сообщаем, что полностью книга греческого богослова издана московским Центром по изучению религий. Заявки на ее приобретение можно направлять по адресу: 107078, Москва, а/я 426. Книги высылаются наложенным платежом.

Мы сопроводили главы из книги текстом выступления Христоса Яннараса в Марселе 15 марта 1992 года.

АПОФАТИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ

Догмат и ересь

Итак, путь Богопознания представляет собой образ жизни, а не образ мыслей. С другой стороны, известно, что сама Церковь выработала определенные теоретические положения, или *догматы веры*, как их принято называть сегодня. Не возникает ли здесь противоречия?

Если мы подойдем к этому вопросу с исторической точки зрения, то увидим, что в течение первых трех веков своего существования Церковь не прибегала к теоретическим формулировкам хранимой ею истины, не обладала еще системой определяющих веру догматов. Ранняя Церковь просто жила верой; истина воспринималась и переживалась первыми христианами как нечто очевидное, непосредственно данное и потому не нуждающееся в теоретической обработке. Конечно, уже в первые десятилетия новой эры возник

особый язык, способный в терминах и образах выражать церковный опыт, – язык Евангелия, апостольских посланий, текстов, связанных с внутренней жизнью общин. но в этом языке мы не обнаружим ни теоретических положений, ни умозрительных формулировок. он просто выявляет и обобщает живой опыт веры.

То, что мы сегодня называем *догматом*, возникает лишь в тот момент, когда истина Церкви подвергается опасности со стороны *ереси*. Слово «ересь» означает выбор, предпочтение какой-либо одной части истины в ущерб целому, в ущерб истине «кафолической». *Ересь* противостоит *кафоличности*. Еретик возводит в абсолют одну из граней цельного опыта Церкви, таким образом неизбежно превращая его в нечто одностороннее и ограниченное. Подобная абсолютизация всегда носит рассудочный характер; она есть результат умозрительного выбора, связанного, как правило, с упрощенным и схематичным восприятием церковной истины. Классические примеры ересей – несторианство и монофизитство. Первое абсолютизирует человеческую природу во Христе, второе – природу Божественную. В обоих случаях подрывается и в конце концов разрушается полнота веры в Божественное воплощение, Богочеловечество Христа. Несторианство сводит ее к провозглашению нравственного идеала совершенного человека, монофизитство – к абстрактной идее невоплощенного Бога.

Церковь отвечает на еретическую угрозу тем, что устанавливает пределы истины, то есть определяет границы живого религиозного опыта. Знаменательно, что первым наименованием догмата было греческое слово horos – предел, граница (лат. terminus). Сегодняшние догматы – это «пределы», установленные Вселенскими Соборами; это те отвлеченные положения, в которых Церковь выражает свой опыт веры, указывая границы, отделяющие истину от ее еретических искажений.

Границы опыта

Можно привести наглядный пример того, каким образом опыт выявляет «пределы» истины. Допустим, некто станет утверждать, что материнская любовь выражается в непреклонной суровости к ребенку и ежедневной порке. Если нам довелось в жизни испытать на себе подлинную материнскую любовь, мы немедленно возмутимся против подобной лжи и противопоставим ей другое определение этого чувства, извлеченное из нашего собственного опыта. Возможно, мы скажем, что любовь матери к детям проявляется в нежной привязанности и заботливости, соединенных с мудрой требовательностью.

Пока настоящая материнская любовь не подверглась опасности фальсификации, не было никакой необходимости прибегать к

определениям. Для нас это чувство было чем-то само собой разумеющимся, непосредственно пережитым, не поддающимся объективным формулировкам и в то же время понятным и очевидным. Потребность в определении возникла лишь в связи с опасностью искажения, смешения материнской любви с тем, чем она не является.

Однако формула не с состоянии подменить собою опыта; она лишь обозначает его границы. Если человек сам не испытал в жизни родительской любви (будучи сиротой или по иным причинам), он в состоянии усвоить ее определение, но так и не узнает, что такое сама любовь. Другими словами, знание определений и формулировок истины не есть знание истины как таковой. Вот почему атеист может очень хорошо изучить догматы Церкви о Троичном Боге, о том, что Христос – совершенный Бог и совершенный человек, но из этого вовсе не следует, что атеист познал заключенную в них реальность.

Апофатизм

Мы подошли к пониманию того пути, которым Церковь ведет ведет нас к познанию истины. Этот путь получил наименование *апофитического.* Апофатизм означает отказ от попыток исчерпать глубины веры логическим путем. Теоретические положения нужны и необходимы, поскольку они оПРЕДЕЛяют истину, то есть устанавливают пределы, границы, за которыми начинаются искажения и подмены. Для членов Церкви пределы – догматы представляют собой константы, не допускающие имений либо перетолкований в своих формулировках. Но в то же время определение не исчерпывает и не заменяет непосредственного познания истины, доступного лишь живому опыту и находящего выражение не в умозрительных построениях, но в конкретном образе жизни.

Апофатический подход заставляет христианское богословие использовать не столько язык формальной логики и схематизированных понятий, сколько язык поэзии. Дело в том, что привычный нам логико-понятийный способ выражения рождает в людях обманчивое ощущение полного и прочного обладания знанием, если им удалось уложить в голове соответствующую цепочку рассуждений. Между тем поэзия с помощью образов и символов всегда указывает на некий смысл, таящийся за прямым значением слов, – смысл, доступный скорее непосредственному опыту жизни, нежели отвлеченному умозрению.

Образно-символический язык

В богословских текстах отцов Церкви часто сопоставляются взаимоисключающие понятия. В этих антитезах понятия отрицают друг друга на уровне значений, чтобы с тем большей полнотой смог выявиться их внутренний смысл, не вмещающийся ни в какие схемы; чтобы весь человек, а не только его рассудок, обрел возможность опытного приобщения к истине. Бог Церкви есть *сверхсущностная Сущность; Божественность, превосходящая Божественное; безымянное имя, безначальное начало; дух, не вмещаемый духом; неизреченное слово; смысл, не выразимый никаким смыслом.* Познание Бога есть *ведение в неведении, непричастная причастность.* Богословие же представляет собой *оформление бесформенного, образ не имеющего образа, представление непредставимого, начало завершившегося*; оно выражает *неподобное подобие, в котором все вещи соединяются воедино.* Истина отождествляется с непосредственным опытом, а богословие – с *видением Бога,* этим *исполнением неисполнимого.* Богословы, которым даровано видение Бога, «несозерцаемо созерцают невыразимую красоту Божию; они, не прикасаясь, обретают и, не постигая, постигают Его образ, не имеющий образа; Его бесформенную форму и неявленное явление – в Его безвидном облике, в сокровенной красоте, одновременно простой и вечно иной».[1]

Не случайно в неразделенной Церкви первых восьми веков новой эры и в ее историческом продолжении – восточном Православии – одна из основных функций богослужения – *катехизаторская,* то есть обучение вере и передача истины верующим. В литургическом цикле, в церковных службах (вечерне, утрене, литургии, часах) теология становится песнью и поэмой; она не столько усваивается чисто интеллектуальным путем, сколько непосредственно переживается. Приобщиться к истине Церкви – значит участвовать в ее образе жизни, в праздничном собрании верующих, в явлении нового человечества, победившего смерть.

---

[1] Последняя цитата – из преподобного Симеона Нового Богослова: Biblos ton ethikon. – Sources chretiennes. 129. P. 68, 70.

Возможно, читатель сочтет излишним возвращение к этому вопросу. И все же для того, чтобы внести полную ясность, повторим еще раз: если Церковь в деле познания истины отдает предпочтение живому опыту перед чисто интеллектуальным подходом, это вовсе не означает, что она проповедует туманный мистицизм и эмоциональную экзальтацию как средство спасения от мира. Равным образом и речи быть не может о каком-либо пренебрежении или недооценке рационально мышления. Не следует забывать о том, что ранняя Церковь родилась и развивалась в рамках эллинистической цивилизации, эллинизированной римской империи. Между тем духовный климат, психология греческой культуры были несовместимы ни с темным мистицизмом, ни с наивными восторгами. Напротив, грек того времени, приобщаясь к новому опыту церковной жизни, искал ответ на вопросы и проблемы, поставленные еще античными мыслителями и подвергшиеся уникальному по глубине и силе анализу в рамках философской традиции.

Потребность греческого мышления выразить христианскую истину языком философии оказалась дерзким вызовом как для Церкви, так и для эллинистической культуры. Драматическое столкновение двух экзистенциально различных типов сознания, заведомо непримиримых между собой, породило крупнейшие ереси первых веков новой эры. Однако создание вероучительных догматов в ходе напряженных интеллектуальных и духовных поисков той эпохи продемонстрировало, что греческая философия способна выжить и найти свое место внутри христианского мира. В конце концов в судьбе двух враждующих сторон (эллинской философии и церковного опыта) с поразительной ясностью выразилась творческая сила жизни: противостояние обратилось в плодотворный синтез. Христианская Церковь сумела на основе собственного опыта ответить на вопросы греческого умозрения. С другой стороны, эллинская философия раскрыла все богатство своего понятийного языка и своей методологии, обосновав с их помощью новое понимание бытия, мира и человеческой истории. То был триумф греческой мысли, сумевшей не поступиться принципами логической точности формулировок и в то же время сохранить нерушимую верность христианской истине и апофатическому подходу к ее познанию. Таким образом был устранен разрыв в истории философии: противоположности сошлись. Творцами этого синтеза были греческие отцы Церкви, деятельность которых продолжалась непрерывно с II по XV век.

ТРОИЧНЫЙ БОГ

Свидетельство Библии

Бог христианской Церкви есть Бог исторического опыта, в отличие от Верховного Существа умозрительных гипотез и абстрактных рассуждений. Именно церковный опыт свидетельствует о том, что Бог открывает Себя в истории не как простая Единичность, не как автономная Монада или индивидуальная Природа, но как Троица: Три Ипостаси, вполне различные в своей инаковости по отношению друг к другу, но обладающие общей Природой, Волей и Действием.

В еврейской традиции, зафиксированной в ветхозаветных книгах Библии, мы отчетливо видим неоднократные попытки приблизиться к тайне Троицы, выразить интуитивное предчувствие истины о Троичном Боге. Так, в описании акта творения, согласно которому мир был создан Божественным Словом – творческим волеизъявлением Бога, наблюдается удивительный факт, когда речь заходит о сотворении человека: этот замысел выражен в библейском тексте в форме множественного числа, как некое совместное решение нескольких лиц: «Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему...» (Быт. 1, 26).

Другой пример: когда Бог является Аврааму возле дубравы Мамре, тот видит перед собою трех мужей, но без колебаний обращается к ним так, словно видит одного человека: «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер, во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул: и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал: Владыка! Если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего» (Быт. 18, 1–3).

Ветхозаветные предчувствия и образы обретают непосредственную очевидность Откровения в пространстве Нового Завета. Христос говорит ученикам о Боге – Отце Своем и о Духе Божием – Параклете (Утешителе). Трое из учеников, Петр, Иоанн и Иаков, удостоились услышать глас Бога Отца на горе Фавор и были осенены сияющим облаком, в котором явился Святой Дух. Также Иоанн Предтеча и его ученики слышали в момент крещения Христа в Иорданских водах глас Отца, подтвердивший Богосыновство Иисуса; и видели сошедшего на Него Духа в образе белого голубя.

Во всех подобных случаях речь идет о непосредственном чувственном опыте, не ограниченном, однако, ни какой-либо одной

определенной формой явления Божества, ни строго заданными условиями его восприятия людьми. Вот почему этот опыт с таким трудом поддается словесному описанию и образному представлению: то Библия говорит о гласе, пришедшем с неба (Ин. 12, 28), то о схождении Духа Божия из отверзшихся небес (Мф. 3, 16; Мк. 1, 10), то о светлом облаке, осеняющем учеников (Мф. 17, 5; Мк. 9, 7; Лк. 9, 34), то о порыве ветра и огненных языках, почивших на Апостолах (Деян. 2, 2–3).

В живом опыте и проповеди первой апостольской общины явственно выступает учение Самого Христа о Троичном Боге. Христос как Сын отличен от Отца: Он пришел в мир «во имя Отца» (Ин. 5, 43), чтобы творить волю Отца (Ин. 4, 34; 5, 30) и соблюсти заповеди Отца (Ин. 15, 10), чтобы прославить Отца на земле, открыть имя Его человекам и совершить дело, порученное Ему Отцом (Ин. 17, 4–6). Иисус обращается к Отцу с молитвой (Мф. 11, 25; 26, 39; Ин. 17, 1–26) и предает в Его руки дух Свой в момент смерти на кресте (Лк. 23, 46).

Но в то же время Христос утверждает: «Я и Отец – одно» (Ин. 10, 30), «все, что имеет Отец, есть Мое» (Ин. 16, 15). Отец и Сын являют Собой нерасторжимое единство, оставаясь при этом двумя разными Личностями. Так, Христос молится Отцу о Своих учениках и последователях следующими словами: «Да будут все едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино... как Мы едино» (Ин. 17, 21–22).

Столь же явно Христос отличает и от Отца, и от Себя Самого третье Лицо – Святого Духа, Который есть Дух истины, Параклет-Утешитель. Сын предвещает ученикам, что Святой Дух «будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 15, 26), что Он «научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин. 14, 26), «наставит вас на всякую истину» (Ин. 16, 13). Однако как Сын «ничего не может творить Сам от Себя» (Ин. 5, 19), так и Дух истины «не от Себя говорить будет» (Ин. 16, 13), но, по словам Христа, «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам» (Ин. 16, 14).

Знаменательно, что в новозаветном тексте сам способ выражения неоспоримо указывает на три разные личности, Три Божественных Лица, которые в то же время не существуют отдельно друг от друга. Лица Троицы не обладают обособленным бытием, не обнаруживают сущностной автономии. Напротив, из слов Христа явствует нерасторжимое единство жизни, воли и действия Бога-Троицы, Трех Божественных Лиц.

Таким образом, Отец – Тот, Кто порождает Сына. Следовательно, Отец есть Источник и Причина Его существования как Сына и Божественного Слова (Логоса). Но Отец является также Источником и Причиной существования Святого Духа. Если Сын представляет Собою Слово Божие, то Параклет есть Дух Божий, «Который от Отца исходит» (Ин. 15, 25), Который имеет Свое начало, свой

источник в Отце. Однако миссия Святого Духа в мире выражает совместную и единую волю Пресвятой Троицы, Ее общее действие. Об этом недвусмысленно говорит текст Евангелия: «Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца» (Ин. 15, 26); «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя... Духа истины» (Ин. 14, 16–17); «Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое» (Ин. 14, 26).

Свидетельства Писания о единой воле и едином действии трех Божественных Лиц равным образом относятся и к воплощению Слова, к рождению Богочеловека: Отец посылает в мир Сына, и Дух Святой участвует в его воплощении, «осеняя» Деву Марию.

Философский вызов

Библийские образы и выражения, относящиеся к Троице, не имеют ничего общего с философской проблематикой. Они нисколько не претендуют на разрешение теоретических вопросов, не содержат никаких терминов и понятий из области философии. В тексте Писания мы видим простое выражение опыта первой апостольской общины, с одной стороны, и высказывания Христа, проясняющие этот опыт, – с другой.

Между тем соблазны философского мышления подстерегали на каждом шагу человека эллинистического мира – того мира, в котором родилась и росла ранняя Церковь. Одна из ключевых истин христианства – вера в Троичного Бога – представлялась грекам настоящим безумием, вопиющей нелепостью и стала тем камнем преткновения, о который споткнулась изощренная эллинская мысль. Бог, чтобы быть Богом, должен быть Бытием абсолютным и бесконечным. Если это справедливо, то каким образом возможно мыслить существование трех Абсолютов? Каждый из них для того, чтобы остаться Абсолютом, по необходимости должен ущемлять, ограничивать остальные, ибо Абсолют и множественность суть два противоречащие друг другу и потому несовместимые понятия.

Наиболее хитроумный и, на первый взгляд, устраняющий все противоречия ответ на сформулированный выше вопрос греческой мысли дал Савеллий, образованный римлянин, воспитанный в традициях эллинистической культуры и живший в начале III века. Савеллий считал, что Бог греческой философии, абсолютное и бесконечное Верховное Существо, ничем не отличается от христианского Бога. Три Божественных Лица, о которых свидетельствует исторический опыт Церкви, представляют собой не что иное, как три различных «роли», три разных модуса проявления и действия единого Бога. Так, в эпоху Ветхого Завета Бог открывает Себя и действует как Отец, в Новом

Завете – как Сын, а в жизни Церкви – как Святой Дух.

Несомненно, предложенное Савеллием объяснение не было его собственным изобретением. Он всего лишь обобщил и придал окончательный вид тем богословским течениям, что возникли на Востоке и особенное распространение получили на Западе под именем *монархианства.* Монархианство (от греч. *monarchia* – единоначалие) пыталось примирить христианского Бога с требованиями рационального мышления: лишь один-единственный трансцендентный принцип должен был представлять собой «Божество в собственном смысле слова». Вообще римское мышление не только обнаруживает очевидную склонность к рационализации и схематизации явлений, но и постоянно стремится ограничить себя самое жесткими рамками формальной логики. В частности, этим объясняется исключительно высокий уровень развития римского права.

Кроме того, Савеллий просто применил к Пресвятой Троице термин «лицо, личность» в том смысле, в каком он обыкновенно употреблялся в греческом и латинском языках той эпохи. Греческое слово *prosopon* (как и его латинский перевод: *persona*) означало не личность в современном ее понимании, но личину, маску, которую надевали во время представления театральные актеры.

Христианская Церковь решительно отвергла интерпретацию Савеллия. Особенно бурное неприятие она встретила на Востоке. Церковный опыт и Священное Писание утверждали реальное различие Божественных Лиц, экзистенциальную самостоятельность каждого из Них. Так, Они способны общаться между Собой, ссылаться друг на друга, при этом явно выступая как различные «ипостаси», нетождественные друг другу «самости». Предложенная же Савеллием теория «масок» отрицала как прямой смысл евангельских изречений Христа, так и живой опыт Церкви, свидетельствующий о личности Отца личности Сына и личности Святого Духа.

Однако, несмотря на то, что савеллианство (учение Савеллия) было отвергнуто Церковью, оно продолжало существовать как теория и при этом находить себе последователей. Сильной стороной савеллианства была его приспособленность к логике человеческого мышления. Его концепция благодаря своему схематичному и упрощенному характеру, казалось, удовлетворительно объясняла учение о том, что Бог одновременно и един, и троичен.

В конце III века савеллианство распространяется в Ливии. Вызванные им дискуссии повлекли за собой вмешательство в теологические споры богословов и церковных деятелей крупнейшего города юго-восточного побережья Средиземного моря – Александрии. С этого времени в ходе богословских диспутов начинают широко употребляться термины греческой философии. Так, александрийцы

говорили о единой Сущности Бога и трех Его *Ипостасях*: Отце, Сыне и Святом Духе.

В то же время на Западе отстаивали положение в единой *Ипостаси Бога,* исторически проявляющейся в трех *Лицах*. Результатом терминологической неопределенности было то, что александрийцы видели в западной формулировке пережиток савеллианской ереси, в то время как западные богословы усматривали в александрийском тезисе опасность тритеизма (учения о существовании трех различных Богов).

В самом разгаре этих споров, в начале IV века, появляется *арианство.* Раздоры, вызванные рождением нового лжеучения, в течение нескольких десятилетий сотрясали Римскую империю. Арий, основоположник новоявленной ереси, был александрийским священником и ярым противником савеллианства. В своем стремлении отстоять взгляд на Отца, Сына и Святого Духа как на самостоятельные личности и в то же время сохранить верность принципам логического мышления Арий пришел к выводу, что в Божественных Лицах необходимо видеть не только различные Ипостаси, но и различные сущности.

Согласно этому учению Сын не является *единосущным (homooysios)* Отцу, то есть не обладает той же сущностью, но представляет Собой сущность принципиально иную – «тварную», созданную Отцом, хотя и опережающую в порядке возникновения прочее творение.

Таким образом, Арий в полемике с Савеллием угодил в ту же ловушку формально-логических законов мышления, что и его противник. Правда, при этом он впал в противоположную крайность: отождествив единую Божественную Сущность с Отцом, он низвел Сына до уровня «твари».

Не будем углубляться далее в историю тринитарных споров. Сказанного достаточно, чтобы понять, сколь живо должна была ощущаться христианской Церковью необходимость дать свою философскую интерпретацию единства и троичности Бога. В конце концов эту задачу удалось решить греческим отцам Церкви, сумевшим использовать богатейшие традиции эллинской философии – прежде всего в плане терминологии и метода, – не отступив при этом ни на шаг от явленной в живом опыте религиозной истины.

Основная заслуга в разработке учения о Троице принадлежит, несомненно, трем великим Каппадокийцам: Василию Кесарийскому, Григорию Назианзину и Григорию Нисскому. Но необходимо отдать должное также более ранним христианским мыслителям, заложившим фундамент величественного здания тринитарного богословия: Игнатию Антиохийскому, Иринею Лионскому и Афанасю Алексан-

дрийскому. Продолжателем традиций великих богословов и автором наиболее полного религиозно- философского синтеза является Максим Исповедник (VII в.) Его непосредственными предшественниками были Леонтий Византийский и Феодор Раифский, а крупнейшими последователями и систематизаторами – Иоанн Дамаскин и Фотий Великий. Вершина в развитии греческого богословия приходится на XIV век и связана с именами Григория Паламы, Нила Константинопольского и Николая Кавасилы.

Языковая «плоть» истины

Учение греческих отцов было принято и освящено Вселенскими Соборами в качестве определения церковной истины. Вообще, Церковь усматривает в миссии святых отцов аналогию тому, что совершила Пресвятая Богородица: как Пречистая Дева предоставила Свою плоть для того, чтобы могло вочеловечиться Божественное Слово, так великие отцы в святости и чистоте помыслов принесли свой удивительный интеллектуальный дар истине Откровения, облекшейся благодаря им в историческую «плоть» человеческого языка.

Однако здесь возникает вопрос: для чего отцам Церкви потребовалось прибегать к терминам греческой философии? Не затемнил ли философский язык Евангельскую истину, не сделал ли ее менее доступной для простых людей?

Подобные вопросы встают перед нами сегодня, когда философия и свойственный ей способ выражения стали достоянием относительно узкого круга специалистов, посвятивших себя так называемой «академической науке». Однако в святоотеческую эпоху ситуация была иной. Можно с уверенностью сказать, что в эллинском и эллинистическом мире со времен классической древности и вплоть до византийского периода философские проблемы глубоко волновали все слои населения, вызывая страстные споры среди людей самых разных общественных классов и групп, самого различного культурного уровня. Греческая цивилизация на всем протяжении своей истории – и в дохристианскую и в христианскую эпоху – основывалась на абсолютном приоритете *истины* над прочими жизненными ценностями. Современная цивилизация, напротив, предпочитает истине *пользу*. Поэтому уже не философия, но политика будоражит общество сверху донизу. Естественно, нам сейчас трудно представить, что в святоотеческие времена простой народ мог с жаром обсуждать на улицах и в лавках проблему единой Божественной Сущности и трех Ипостасей. Наверное, рядовой византиец был бы

не менее потрясен, услышав беседу между «ортодоксальным» рабочим-марксистом и его «товарищем»-троцкистом о понятиях прибавочной стоимости и накопления капитала.

Попробуем же изложить основные моменты Священного Предания (учения отцов Церкви и постановлений Вселенских Соборов) в отношении Троичного Бога, используя при этом простой и понятный современному человеку язык.

Сущность и ипостась

Бог церковного опыта одновременно Един и Троичен. Для выражения идеи Божественного единства Церковь преимущественно использует философское понятии единой сущности; чтобы подчеркнуть троичный характер Божества, она прибегает к понятию трех Ипостасей, или лиц. Таким образом, христианский Бог единосущен (обладает одной Сущностью) и триипостасен (представляет Собой три Ипостаси, или Лица).

Мы пользуемся термином «сущность» – словом, означающим «участие в бытии», – со значительной долей условности. По-гречески «сущность» (oysia) восходит к причастию настоящего времени женского рода от глагола «быть» (eimi). Однако, говоря о Боге, мы имеем в виду не Его участие в Бытии, но само Бытие как таковое, всю возможную полноту существования и жизни. Вот почему апофатическая формула «сверхсущностная сущность», часто встречающаяся у отцов Церкви, точнее выражает истину о Боге.

Тем не менее четкое различение сущности, с одной стороны, и ипостасей сущности – с другой, помогает отчетливее сформулировать и описать опыт Божественного Откровения. Возможно, мы лучше поймем разницу между указанными двумя понятиями, если обратим внимание на следующий факт: человек, созданный «по образу и подобию» Божию, также представляет собой *единую сущность* (и значит, единосущен) и *множество ипостасей*, или личностей (то есть, многоипостасен). Понятие единой сущности мы выводим из некоего набора свойств и отличительных черт, в той или иной степени присущих всем людям. Так, каждое человеческое существо обладает разумом, волей, способностью суждения, воображением, памятью и т. д. Все люди участвуют в бытии посредством указанных свойств, общих всему человеческому роду. Следовательно, все люди обладают единой

природой, или сущностью.[1] Однако каждая конкретная реализация (ипостась) общей природы, то есть каждый человек, взятый в отдельности, воплощает в себе сущностные свойства особым и неповторимым образом. Каждый из нас говорит, думает, судит, фантазирует по-своему, отличаясь в этом от всех прочих людей; и поэтому всякий конкретный человек представляет собой абсолютно уникальную экзистенцию.

Таким образом, сущность, или природа, о которой идет речь – как в отношении человека, так и Бога, – не существует вне отдельных личностей, но только лишь благодаря им. Личности *ипостазируют* сущность, дают ей *ипостась*, то есть реальное и конкретное существование. Природа не обладает бытием иначе как в личностях; личности представляют собой *модус существования природы*.

Это не означает тем не менее, что сущность есть просто абстрактное понятие (будь то «божественность» или «человечность»), образующееся в нашем сознании как некое резюме общих качеств и свойств. Да, мы говорим, что природа не существует вне своих конкретных воплощений в отдельных ипостасях. Тем не менее каждый из нас, людей, вполне реально ощущает разницу между своей личностью и своей природой, или сущностью. Часто мы осознаем в себе одновременное присутствие двух желаний, двух волевых импульсов, двух потребностей, каждая из которых требует удовлетворения. Одно из этих проявлений выражает наш свободный выбор, наше *личностное предпочтение*, в то время как другое представляет собой естественное, *природное* влечение. Оно может входить в противоречие с нашими сознательными стремлениями, выступая как некая безличная сила (наподобие инстинкта) и действуя помимо нашей воли и рассудка. На эту внутреннюю противоречивость человека указывает Апостол Павел в Послании к Римлянам: «...Не понимаю, что делаю; потому что не то, что хочу, а что ненавижу, то делаю... ...Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю.... По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего...» (Рим. 7, 15–23).

В свое время мы попытаемся рассмотреть глубже проблему «бунта» природы человека против его личности, проблему стремления естества к самоутверждению и самодостаточности, его нежелания выражать себя через личностную свободу. Тогда мы увидим, что этот разрыв между природой и ипостасью составляет трагедию («грех») человеческого существования, последним следствием которой является смерть. Но в данный момент нас интересует само понятие сущности,

[1] Оба термина, *природа* и *сущность*, обыкновенно употребляются как синонимы.

или природы. Мы исследуем его на примере человека и видим, что здесь природа выступает как экзистенциальная оппозиция личностной свободе. Что же касается Бога, у нас нет никаких данных, позволяющих проникнуть в Его Сущность; мы можем лишь предполагать, что в Боге отсутствует противостояние между Природой и Лицом, поскольку в Нем нет ни смерти, ни греха. Осмелимся высказать утверждение (насколько ограниченные возможности человеческого языка вообще позволяют утверждать что-либо относительно подобных предметов), что полнота бытия Божественной Сущности находится в совершенной гармонии со свободой Божественных Ипостасей, так что они обладают одной общей волей и одним действием. Единство внутренней жизни Троицы нерушимо. Речь идет о единстве как природы, так и личностной свободы – той свободы, что преобразует единение по естеству в Любовь. Божественное *Бытие* есть *Любовь*. Но что представляет собой ипостазированная в трех Лицах Сущность Божества сама по себе, мы знать не можем: это таинство превосходит не только возможности нашего языка, но и нашу способность восприятия, а также границы нашего опыта. Мы в состоянии говорить лишь о неизреченной глубине внутренней жизни Троицы, о непостижимой и сокровенной тайне Божественной Сущности.

Перевод с новогреческого Г. ВДОВИНОЙ

ЦЕРКОВЬ: ОБРАЗ СУЩЕСТВОВАНИЯ, ПОБЕЖДАЮЩИЙ СМЕРТЬ[1]

В наши дни слово «ортодоксия» (греч. – «православие») зачастую употребляется в более или менее негативном смысле...

В самом деле, этот термин обозначает абсолютную верность букве учения, а в конечном счете – идеологический фанатизм, не допускающий никаких изменений, улучшений и соответственно никакого развития в отношении первоначальной идеи или учения.

С моей точки зрения, такое понимание ортодоксии представляет собой разновидность идолопоклонства: веру в идолов, которыми становятся некогда замечательные учения, – но ведь в идолов можно превратить что угодно, даже самые лучшие вещи... Кроме того, такое понимание ортодоксии в духовной жизни, а также и в других сферах – является не просто идеологизацией, но в то же время и психологической защитой для людей, чувствующих потребность во власти авторитета. Откуда в нас эта потребность? Именно от стремления найти защиту, ибо мы не *хотим рисковать*. Слишком часто ортодоксия служит зонтиком, укрывающим от опасности, *от необходимости рисковать*, от подлинно свободного выбора – другими словами, от достижения настоящей зрелости – зрелости личности.

На языке Церкви мы говорим об ортодоксии (православии, в противовес ереси. Если православию придается смысл вполне оформленной и законченной идеологии, не нуждающейся ни в каком творческом развитии, но лишь в простом сохранении, что не допускает каких-либо отклонений или переосмысления изначальных формулировок, – тогда ересь также представляет собой разновидность идеологии, только иной, нарушающей кодекс учения, ставшего авторитетом. Так дилемма Православие – ересь становится чисто идеологической, а непременное порождение идеологий – фанатизм.

Что такое фанатизм? Фанатизм – это позиция, коренящаяся в нашей естественной потребности укрепить собственный эгоизм. Мы становимся фанатичными, замыкаясь в своих суждениях и убеждениях и *отвергая риск отношения, риск опыта присутствия другого, правды другого.* В этом случае – то есть оставаясь на уровне идеологии – очень трудно дать определение Православию. Более того, подобная, собственно идеологическая, перспектива означает отказ от самой сути веры.

---

[1] Выступление Х. Яннараса на собрании представителей православных приходов, состоявшемся в Марселе (Франция) в день Торжества Православия 15 марта 1992 года. Перевод сделан с публикации в «S.O.P.», № 169. P. 25–31.

Именно исходя из этого я хотел бы начать с определения веры как необходимой предпосылки для понимания истинного смысла Православия. У меня складывается впечатление, что сегодня мы понимаем слово «вера» в смысле личного убеждения или убеждений: хранить верность чему-либо означает, как я уже сказал, хранить верность некой идеологии или учению, иметь убеждения более или менее интеллектуального характера... Между тем изначально слово «вера» (греч. *«пистас»*) означает доверие. К счастью, этот смысл слова не исчез: он еще сохраняется – особенно в практике коммерции, когда говорят о «кредите».

В опыте Церкви вера всегда означает доверие, но такое, которое предполагает личное отношение. Мы не можем доверять малознакомому человеку, для этого нужно узнать его, подойти к нему ближе, установить с ним отношения. Нужно полюбить его, чтобы доверять. Если же мы доверяем ему, то принимаем не только его присутствие, его характер, образ мыслей, но прежде всего *доверяем тому, о чем он свидетельствует*, то есть доверяем его опыту.

В Церкви мы приходим к вере через доверие Богу. Речь идет не о психологических переживаниях и не об интеллектуальном опыте, но о доверии к конкретным историческим вещам, ибо все в Церкви, все элементы нашей церковной жизни суть вполне конкретные исторические реальности. Начало всему положено в опыте первохристианской общины, жившей со Христом. В этом смысле чрезвычайно характерно начало первого Послания апостола Иоанна. Иоанн подчеркивает, что передает то, что он и другие апостолы *видели, слышали, осязали* – Слово Жизни. Он сообщает нам конкретный и реальный опыт.

В жизни Церкви мы призваны к участию в этом опыте. Наше знание Бога происходит не от чтения книг и не от размышления. Для обретения знания Бога необходимо установить личные отношения с Ним. Мы знаем Бога не как понятие, то есть не через умственное усилие, речь о другом: нужно познать Бога в непосредственном отношении. Именно к этому мы должны стремиться.

Церковь предлагает нам некоторую практику, цель которой именно в культивировании всецело личного отношения к Богу, – практику, поначалу кажущуюся не слишком эффективной. Например, речь идет о соблюдении поста и церковного молитвенного правила, о том, что нужно избегать так называемых спонтанных молитв, то есть всякого индивидуализма, и участвовать в литургии и т. д. Все это – практика, позволяющая культивировать личное отношение.

Почему Церковь призывает нас к вере, которая есть доверие, к доверию, которое есть отношение? Потому что Церковь благовествует, возвещает жизнь новую, то есть *иную жизнь* по сравнению с

той, что известна нам по опыту: жизнь, не ограниченную ни временем, ни пространством, ни тлением, ни смертью. Позвольте мне настаивать на этом. Ведь порой складывается впечатление, что люди приходят в Церковь для удовлетворения своих индивидуальных нужд.

В повседневной жизни мы пользуемся определенным комфортом, занимаемся своим профессиональным делом, встречаемся с друзьями. Но у нас есть и более сильная потребность: в чем-то, что может удовлетворить наши метафизические интересы. Для удовлетворения этой потребности мы можем выбрать какую-либо Церковь, религию, духовную традицию, но при этом мы остаемся в пределах индивидуальной самодостаточности, в конечном счете эгоцентрической. Это выбор смерти, то есть образа существования, неизбежно ведущего к смерти. Евангелие же призывает нас не к другой религии, не к лучшей религии, не к лучшей духовности, но к образу существования, способному преодолеть смерть через утверждение истинной жизни.

Как это возможно? В Евангелии мы встречаем множество примеров, но я хотел бы привести лишь один, определяющий эту реальность *жизни как отношения*.

Однажды ночью ученики переплывали на лодке Тивериадское озеро во время бури. Лодка грозила перевернуться, когда они вдруг увидели Христа, идущего по волнам. Сомнения длились лишь одно мгновение: ученики узнали Христа, и Петр сказал Иисусу: «Если Ты в самом деле Господь, позволь мне присоединиться к Тебе и пройти по водам вместе с Тобой». Христос сказал ему: «Иди...» Это «иди» – призыв, с которым Бог обращается ко всем человеческим существам. Это призыв к нам перейти от небытия к бытию, как говорит апостол Павел.

Что означает этот призыв? Он означает: ты можешь прийти ко Мне, но не силою тварной человеческой природы, а через иной образ бытия – образ отношения. Петр слышит этот призыв, выходит из лодки и ступает по поверхности моря. Петр – природная человеческая индивидуальность, но в этот момент он существует не по образу тварного бытия, а по образу отношения. Это значит, что в этот конкретный момент Петр черпает свое существование не из своей природы, но из отношения к Богу, ко Христу. Однако, увидев вокруг себя бурно волнующееся море, Петр возвращается к естественному образу существования и отказывается от доверия. Тогда Христос протягивает ему руку и привлекает к Себе.

Мне кажется, что это чрезвычайно выразительный пример, точно указывающий на тот образ жизни, к которому нас призывает Церковь. Он не имеет ничего общего с идеологией, с духовностью, то есть с тем пиетизмом, который создает и культивирует в нас индивидуалистическую духовную «крепость». Здесь речь идет об

ином образе существования, ином подходе, который означает тотальную самоотдачу, существование через другого, для другого, принятие жизни как отношения.

Я приведу и другой общеизвестный пример, чтобы показать, как Церковь и Евангелие призывают нас к образу бытия, преодолевающему индивидуализм. Но для нас, существ тварных, очень трудно по-настоящему понять эту возможность «сверхиндивидуального» существования. Поэтому соблазн морализма, соблазн самооправдания нашего «эго» присутствует в истории Церкви на каждом шагу. Этот соблазн таится в недрах нашей повседневной жизни и становится основанием нашего менталитета. Чрезвычайно трудно достичь свободы, а не просто поступать как принято, то есть быть верным *только* вере как убеждению, предписаниям веры, тогда как смысл этих предписаний – указывать путь к жизни.

Второй пример – это рассказ о мытаре и фарисее. Я не уверен, что мы всегда правильно понимаем смысл этой притчи. У нас складывается впечатление, что фарисей – грешник. Но это совсем не так! Это человек добродетельный, исключительно высокой нравственности, абсолютно верный закону, неуклонно исполняющий свой религиозный долг: часто посещающий храм, подающий бедным... И тем не менее ему нет места в Царстве.

Почему? Да потому, что фарисей не нуждается в Боге. Он полон самим собой и вполне удовлетворен своими добродетелями, своей высокой нравственностью... Он не нуждается в отношении. Он обладает Богом – обладает через саму верность Ему. Между тем мытарь ничего не может принести и представить Богу: он поистине грешник, поистине человек падший. В Боге его последняя надежда, единственная возможность обрести уверенность. Молитва мытаря всецело обращена к Богу и взывает к Его милосердию.

Один из отцов Церкви, святой Исаак Сирин, высказал парадоксальную мысль: «Нет ничего сильнее, чем отчаяние». Необходимо пройти через подлинное отчаяние, чтобы прийти к отношению с Богом. Что это значит? Это значит, что нужно отчаяться во всем: в нашей нравственности, наших добродетелях, нашей церковной организации – пусть даже очень сильной и крепкой, – в нашем учении, в нашей вполне убедительной идеологии; нужно отчаяться во всем этом! Нужно поистине пройти через смерть... И в этой ситуации смерти и абсолютного отчаяния у нас не остается ничего, кроме личности Христа. И, обращаясь к Нему, мы встречаем Его – и только Его. С этого момента начинается иной образ бытия: теперь мы можем идти по водам...

Как бы это понять? Мы тронуты «червоточиной» интеллектуализма, и нам очень трудно усвоить, что в представлении Церкви все это – не просто учение, но реальность. И реальность эта в том, что жизнь есть личное отношение, а не природная индивидуальность.

Церковь представляет нам эту реальность как факт – факт исторического присутствия Христа. Мы говорим о том, что Христос есть Воплощение Бога в истории и на земле. Первым апостолам был дан опыт видения Его, преодоления границ тварного и смертного естества. Они касались этого присутствия, выраженного не во всемогуществе, но в предельной слабости и униженности. Христос был свидетелем об Отце, то есть существовал не ради Себя Самого, но был Сыном Отца. У Него не было индивидуального существования, если можно так выразиться, но Его индивидуальное историческое присутствие было указанием на присутствие Отца, свидетельством о бытии и присутствии Отца.

Церковь имеет также и исторический опыт Отца – Он присутствует в истории через Свой глас и Фаворский свет. Но Отец и сокрыт – чтобы указать на присутствие Сына: «Сей есть Сын Мой возлюбленный». Сокрыт и Дух Святой, чтобы свидетельствовать об Отце через воплощенное Слово. Событие воплощения есть сосредоточение и проявление образа бытия Бога – образа бытия Троицы, означающего отношения любви.

Во всех религиях, как и во всех метафизических системах, существует идея верховного существа как логически необходимой первопричины бытия. Но опыт Церкви говорит не о верховном существе, а об общении Личностей, о присутствии трех Лиц, сообщающих жизнь и существующих в общении. Поэтому единственное определение Бога, содержащееся в Библии, гласит: Бог есть Любовь. Библия говорит не о том, что Любовь является нравственным качеством Бога, Его добродетелью или особенностью «поведения». Она учит, что Любовь есть образ бытия Бога: Бог существует потому, что Он есть Любовь, и существование Его есть само событие Любви.

Таков ответ Церкви на проблематику древнегреческой философии, которая искала источник и первопричину бытия и была вынуждена признавать интеллектуальную, логическую необходимость, предшествующую самому существованию Бога. ... Бог греческой философии «обязан» существовать по природе: Богу предшествует необходимость, вынуждающая Его быть тем, что Он есть.

Эта проблема была вполне ясна для отцов Церкви, и прежде всего для каппадокийцев[2]. В поисках ответа они говорили о *монархии* (единоначалии) Отца, то есть рассматривали личность Отца как «причину» жизни Троицы. Они говорили, что Отец есть Личность, личностная ипостась, свободная от всякой обусловленности. Личность означает здесь существование, не знающее границ, ничем не обусловленное. Бог определяет Свое бытие через Свою собственную

[2] Каппадокийцы – три великих богослова и учителя Церкви: Василий Великий, епископ Кесарии Каппадокийской (ум, 379), его друг Григорий Богослов, епископ Назианза (ум. ок. 390) и его брат Григорий, епископ Нисский (ум. ок. 395). – *Прим. пер.*

свободу, Свою собственную волю.

Таким образом мы приходим к формулировке реальности личности: в Библии нам дан опыт того, что Отец называется Отцом, является Отцом через осуществление, «ипостазирование» Своего существования – через то, что на языке богословия мы выражаем как рождение Сына и исхождение Святого Духа.

Эти формулировки – не абстрактные теории, но способ объяснить, выразить, как и почему в начале всякого бытия стоит личная свобода Бога. В абсолютной свободе Бог реализует Свое бытие как любовь. «В любви и вневременно Отец рождает Сына и изводит Духа Святого», – говорит преподобный Максим Исповедник.

Итак, наш Бог есть Жизнь, осуществленная как отношение любви. Мне кажется, что вне этого богословского основания невозможно понять Церковь. Церковь – не религия, не школа духовности, но место, где мы призваны преобразить наше бытие в *бытие-отношение*. Мы приглашены на трапезу, но трапеза – это способ существования жизни как общения.

Но ведь и наша биологическая жизнь предполагает общение. Мы не можем существовать, не потребляя пищу, то есть не сообщаясь с материальной реальностью мира, не общаясь с другими людьми. Однако здесь это общение превращается в желание обладать всем ради самих себя: и пища, и другие люди – все должно быть подчинено нашему желанию. Церковь же призывает нас к изменению образа бытия: нужно сообщать жизнь, и тогда она становится причастна образу бытия Христа, Его Телу и Крови.

Конечно, все это логические формулировки и могут быть поняты как таковые. Чтобы прийти к причастности, к самой реальности, необходимо следовать практике, к которой призывает нас Церковь, практике, постепенно подводящей нас к опытному переживанию святого причастия как общения. (Слово, обозначающее церковное таинство *причастия*, на языке Нового Завета и европейских языках – «кинония» (греч.), «коммунио» (лат.) – значит *общение. – Прим. пер.*) Это не отдельный, выделенный факт нашей жизни, но завершение всего нашего существования – завершение поистине экклезиальное (то есть церковное).

Если, следуя этим путем, мы подойдем к реальности Православия, то есть к истине Евангелия и Церкви, то получим ответ на фундаментальный вопрос всякой человеческой экзистенции. Речь идет о проблеме смерти. Ответ дан в самом слове «Евангелие», что значит «Благая Весть». Она возвещает нам возможность преодолеть смерть и растворение нашего бытия в небытии, преодолеть эту грозящую нам тьму – Ничто... Не случайно православные литургические песнопения, молитвы, а также очень часто святоотеческие тексты обращаются к этому ответу Церкви на вопрос о смерти. Если бы я попытался сформулировать этот ответ, то сказал бы, что смерть

есть природная реальность. Святому Анастасию Синаиту принадлежат чрезвычайно характерные слова: «Со смертью все мертво». Мертво все наше естество: наш ум, наши душевные и телесные энергии... Все кончено! Ни памяти, ни мысли, ни чувства – ничего: все это принадлежит природе. Остается лишь то, что мы называем ипостасью.

Но что такое ипостась? Мы не можем дать ей определение, мы можем только сказать, что речь идет о нашей экзистенциальной реальности, вызванной к бытию призывом Божиим. Не случайно даже современный психоанализ не в состоянии определить, что такое «субъект». Мы – ипостаси, то есть представляем собой экзистенциальную реальность, существуем потому, что Бог призвал нас к существованию. Но мы ипостаси лишь в той мере, в какой способны «ипостазировать» экзистенциальные возможности тварной природы. Когда эта природа умирает, то что остается? Что тогда может ипостазировать наша ипостась?

Святой Григорий Палама учит, что после смерти наша ипостась будет ипостазировать наше существование благодаря энергиям Божественной природы, через энергии Святого Духа. Поэтому Православие говорит об обожении человека. <...> Поэтому мы называем Духа Святого Утешителем, Царем небесным и Источником жизни и призываем Его: «Приди к нам!»

Что это? Сентиментализм? Вовсе нет. Это предвосхищение жизни после смерти, когда Утешитель станет нашей «природой», если позволено так выразиться, когда Дух Святой станет нашим образом бытия. И это верно для всех и каждого.

Известен ответ Максима Исповедника на эту проблему: «Весь мир после смерти соединится с Богом и Божественными энергиями. Но для тех, кто следовал благим путем, то есть для тех, кто готов приобщиться к существованию и самой жизни Бога, – для них это единение с энергиями Святого Духа будет раем, в то время как для не умеющих любить единение с Богом обернется мучением и будет поистине адом».

Это означает радикальное изменение в концепции вечной жизни и понимании Бога! Это значит, что рай и ад не зависят от своего рода Божественного правосудия: не Бог карает грешников. В действительности все зависит от способности или бессилия человека поистине приобщиться к существованию и жизни Бога. Бог отдает Себя всем и каждому, Он *будет* – со всеми, но это единение осуществится согласно различным образам бытия: как рай или как ад. Достоевский говорил, что ад – это мука неспособности любить. Святой Исаак Сирин говорит в точности то же самое.

Я надеюсь, что эти размышления могли бы стать тем отправным пунктом – не интеллектуального толка, – исходя из которого мы когда-нибудь, возможно, поймем, что есть Православие. Повто-

ряю: Православие («ортодоксия» – в церковном смысле) – не идеология, не объективность, но нечто, подлежащее открытию. И мы призваны открыть Православие, то есть жизнь, истинную жизнь, не ограниченную временем, пространством, тлением и смертью.

Тогда и только тогда мы будем достойны участия в Церкви. Не в том случае, когда Церковь *представляется нам неким пиетизмом*, укрепляющим нашу индивидуальность, наш эгоизм, и *вне зависимости* от того, способна ли она утвердить наши идеологические взгляды и убеждения. Это было бы предательством. Все это можно найти и в другом месте. То, что нам предлагает Церковь, возвещающая Евангелие, и Евангелие, возвещающее Церковь, – это предвосхищение и опыт истинной жизни, жизни-любви, жизни, не ведающей смерти.

Перевод с французского Г. ВДОВИНОЙ

Игумен Вениамин (Новик)

ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ

Важнейшим свойством религиозного миропонимания является его целостность: и как данность, и как заданность. Само слово «религия», как известно, происходит от латинского «religio» означающего «связывать». Мир понимается не как некий бездушный конгломерат пусть и связанных в бесконечном разнообразии явлений, а как многоуровневое органическое целое, каждый элемент которого одушевлен связью с неким смысловым средоточием. Эта целостность обладает положительной смысловой направленностью, которую можно охарактеризовать в традиционных понятиях Истины, Добра, Красоты – как некое всеобъемлющее единство разумного, нравственного и эстетического начал, выражавшееся в русской религиозной философии понятием «положительного Всеединства». Средоточием же Высшего смысла является личностный Бог, и именно поэтому высшее предчувствие языческой мудрости, выразившееся в греческом учении о Логосе, в христианском Откровении естественно отождествляется с Сыном Божиим.

Личностность Божества, получившая свое наивысшее откровение в Богочеловеке Иисусе Христе, исключает все разновидности пантеизма. Было бы непоследовательным также ограничивать сферу личностности только человеческой природой, микрокосмосом, отказывая в ней макрокосмосу, произвольно обедняя полноту вселенского многообразия. Смысл человеческой жизни, таким образом, определяется через соотнесенность с глобальным смыслом. Отсюда – религиозное понимание цели и смысла жизни как служения Высшему

Игумен ВЕНИАМИН – (в миру Валерий Николаевич Новик). Родился в 1946 г. в Ленинграде. Окончил факультет ЭВМ Ленинградского Политехнического института. В 1983 г., сдав экстерном экзамены за курс семинарии, поступил в Ленинградскую Духовную академию. По окончании академии оставлен преподавателем. В 1988 г. принял монашество. В 1989 г. посвящен в иеромонахи, в августе 1992 г. возведен в сан игумена.

Началу, отпечатленному (образ и подобие Божии) в самом человеке. Вроде бы должно быть ясно – не может быть частного (человеческого) смысла без общего (вселенского). Хотя можно, конечно, самоуверенно объявить себя и центром мироздания, попытка чего была сделана в богоборческом атеизме: «Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога» (Пс. 13, 1).

Сложность в том, что наглядность, объективируемость (если воспользоваться термином Н. А. Бердяева) уровней в ценностно-иерархической структуре мира находится в обратно пропорциональной зависимости от характеристики ценностности. Например, на антропологическом уровне совесть человека с точки зрения ценности важнее его веса, но вес измерим, а совесть, несмотря на то, что она опосредованно проявляется, – нет. Проблема состоит в том, что и наличие вселенского смысла не поддается эмпирически ощутимому определению в объективистском смысле и, следовательно, не может быть общепризнаным фактом наряду с известными результатами позитивных наук нового времени. Однако сама структура мироздания (например, сбалансированность мировых физических констант) более свидетельствует о наличии вселенского смысла, чем о его отсутствии. Антропный (антропос *греч.* – человек) принцип в космологии не сводится только к подсчету вероятности возникновения жизни на Земле, а имеет явно выраженный телеологический характер, хотя это часто не договаривается учеными.

Следует заметить, что попытки доказательства отсутствия Высшего Смысла, в той или иной форме традиционно представляемого в виде некоторого объекта как его носителя, еще менее состоятельны, так как требуют в качестве предварительного условия замкнутости, ограничивающей многообразие исследуемой области, и основаны, по сути дела, на переносе методов научного эмпиризма на уровень, где сама применимость их нуждается в обосновании, поскольку здесь затрагивается бесконечность. Само понятие необходимости, без которой не следует «умножать сущности» (принцип Оккама), носит иной характер в духовной сфере и не может быть перенесена полностью из материалистического уровня. Представление же о бесконечном разнообразии мира дано нам и из внутреннего опыта сознания, способного преодолевать, хотя бы в воображении, любые ограничения.

С точки зрения привычной рассудочности, всегда связанной, явно или неявно, с понятием детерминированности, высший уровень Бытия обладает радикальной неопределенностью, будучи, однако, тесно связанным именно с самыми глубинными персоналистическими интуициями человека, с весьма неопределенными с научной точки зхрения понятиями свободы, совести, ценностной ориентации, со всем тем, что объемлется понятием личностности и что часто стремятся свести к одной лишь психологии. Не

подлежит сомнению влияние наследственных и социальных факторов на личность человека, но важно отметить, что полной причинной обусловленности и здесь нет. Попытки биологической и социологической редукции человеческой природы (рассмотрение сложного явления как совокупности простых – отголосок механистического подхода, развившегося в Новое время) имеют свои пределы. На молчаливом признании этого факта основана вся этика, существенной предпосылкой которой является свобода человека, наличие которой, строго говоря, рациональными методами, как и наличие души, не доказывается. Не случайно же наука не дала ожидаемого результата в области этики, сравнимого с ее успехами в природной области, в том числе в натуралистической антропологии. С гносеологической точки зрения эта неудача объясняется еще и тем, что в акте самопознания человека нарушается принцип субъект-объектности, на котором построена вся классическая наука.

Человек все более перестает быть для себя самого объектом по мере того, как сферой его интересов становится личность (своя или чужая). Религия знает это изначально в терминологии неслиянности и нераздельности Божественной и человеческой реальностей. Принцип субъект-объектности в ней не абсолютизируется, что отражается в мистическом опыте, как снятии субъект-объектной противопоставленности. Бога нельзя искать только как объект!

Связь между человеческой личностью и вселенским смыслом (вспоминается фраза Канта о звездном небе над головой и нравственном законе в душе) существует, согласно христианскому вероучению, благодаря образу и подобию Божию в человеке, связывающим его с бесконечностью, и в этом смысле душа человека, по мудрому замечанию Тертуллиана, является по природе христианкой. Любой из нас, если искренне всмотрится в самого себя, обнаружит удивительные качества, не выводимые только из природной необходимости. Само это удивление (по определению древних – начало философии) указывает на некую инородность человека. Другое дело, что человеческая душа обнаруживает в себе и некую дисгармонию, поврежденность, объясняемую последствиями первородного греха. Ситуация оказывается драматической – в человеке сочетается конечное и бесконечное с сопутствующими ценностными ориентациями. Религиозное беспокойство присуще человеку, сознает он это или нет. «Ты создал нас для себя, и мается сердце наше, доколе не успокоится в Тебе», – пишет блаженный Августин в своей «Исповеди».

Стремление человека, хотя бы в воображении, преодолевать любые пределы, его способность к бесконечной рефлексии, также являются свойствами образа Божия в нем. Будучи направлено к своему первообразу – Богу, все это приводит к вере, которая не

является лишь предположением, гипотезой, а есть экзистенциальный порыв, исходящий из глубин человеческого естества к интуитивно осознаваемому Высшему Началу. Но эта же способность, будучи направлена на конечные «подменные» цели, приводит к идолопоклонству – извращенной форме веры. По удачному определению Н. А. Бердяева, вера – это трансцендентальная искренность, ощущение окончательной радости бытия, абсолютное доверие, несмотря ни на что, к жизни. Она охватывает всю целостность человека, и поэтому вопрос о смысле жизни, поставленный во всей полноте, в чисто теоретической форме не подлежит разрешению.

Согласно христианскому вероучению человек является вершиной, «венцом творения», как единственный из всего тварного мира, сотворенный по образу и подобию Божию и обладающий вследствие этого разумом, свободой, способностью к бесконечному совершенствованию, приближению к своему первообразу – Богу во исполнение Его заповеди: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48). О необходимости совершенствования, всестороннего развития человека много говорится в гуманитарной литературе вообще, но только религия, и особенно христианская, а еще более уточняя – Православие говорит об освящении бытия, святости. Христианство восприняло Ветхозаветную заповедь «Будьте святы, ибо Я свят» (Лев. 11, 44; 1 Петр. 1, 16) благодаря освящению человеческой природы, воспринятой Сыном Божиим в Боговоплощении, возведшем ее на новую, небывалую прежде высоту.

С понятием святости тесно связано и преображение в «новую тварь», обожение, являющееся, можно сказать, религиозным идеалом Православия. Важно отметить, что обожение охватывает собою всю полноту человеческой природы – как духовную, так и материальную ее стороны. Это стало возможным благодаря полноте Боговоплощения и Воскресения во плоти Иисуса Христа, что видно из жизни святых, из продолжающегося чуда истечения благовонного мира из святых мощей и икон. Реализм Воскресения (во плоти) резко отличает христианство от других религий, где разве что есть лишь предчувствие подлинного воскресения. Моральные же установки человека, так часто противоречащие элементарный выживаемости, в значительной степени обусловлены представлением о степени его бытийности. Если побеждается сама смерть, то открывается и возможность делания добра, даже связанного с риском для жизни. Христианство явилось новым откровением не только о Боге, но и о человеке, ибо Бог стал Богочеловеком Иисусом Христом и Божественное необратимо вошло в теснейшее единство с человеческим.

По своей метафизической значимости Боговоплощение, по мнению святых отцов Церкви, сравнимо с сотворением мира. Оно раскрыло на новом уровне библейское учение об образе и подобии Божием в человеке, получившем новый онтологический статус,

потенциальную возможность не ограниченного ничем, даже смертью, совершенствования. Бог вочеловечился, чтобы человек обожился, говорится у святых отцов. Христианство благодаря Боговоплощению по-настоящему открыло человеку бесконечность: не отвлеченную космолого-математическую, уже известную в какой-то степени древним, а конкретную, наполненную живым содержанием Вечность, Царство Божие. Абсолютное личностно, во всей полноте соединилось с относительным, вследствие чего онтологическое обоснование этики, если быть до конца последовательными, возможно только в христианстве.

Наиболее чуткие мыслители неоднократно указывали, что именно христианство в значительной степени сформировало наше личностное самочувствие, о чем часто забывают его критики, исходящие в своих рассуждениях, сознательно или бессознательно, из христианского же идеала. В результате, как замечает у Ф. М. Достоевского князь Мышкин, «атеизм вечно не про то говорит». Исходным для восприятия христианства является осознание человеком своего радикального неблагополучия, как следствия поврежденности человеческой природы в грехопадении, произошедшем на метаисторическом уровне (на библейском языке – в раю). В оценке этой поврежденности религиозное миропонимание расходится с секулярным, рассматривающим человеческую греховность как следствие только каких-то внешних причин.

Важно отметить, что христианство, отвечая на стремление человека к полноте жизни, не есть одно *учение* о Христе, а есть *жизнь* во Христе, начало удовлетворения этой жажды, есть путь, открытый во всей полноте Спасителем для каждого. Поврежденную же человеческую природу на каждом шагу, с одной стороны, подстерегает соблазн идолопоклонства, принятия относительного за абсолютное, а с другой – соблазн чрезмерного мироотрицания ради абсолюта. Православный апофатизм отсекает всевозможные формы идолопоклонства – от примитивного вещизма до таких неочевидных форм, как самодовлеющая аскеза или доброделание, возлюбившее более всего самое себя. «Бог есть Любовь», говорится в Новом Завете, но там не говорится, что любовь или добро есть Бог. Принципиальная последовательная установка против всех форм идолопоклонства является условием освобождения и обретения человеком подлинной свободы в истине, открытой христианством. Оно призывает прежде всего не к насильственному внешнему изменению порядка вещей, а к преображению мира изнутри, из глубины.

В православной аскетике на основе опыта многих подвижников разработана система борьбы со всевозможными заблуждениями, содержится множество тонких наблюдений за особенностями человеческой природы. Важно, что анализ святые отцы проводят не столько на психологическом уровне, сколько на духовном. В каче-

стве примера можно упомянуть святоотеческое определение страсти как «самохотения». Страсть, как самозамкнутая беспредельность, герметична; другой – для нее лишь средство. Отсюда становится ясной связь между страстью и самовлюбленностью, гордостью.

У святых отцов говорится не только о борьбе с грехами, но и о неизреченной радости, которую они переживали, идя путем самоотвержения ради утверждения в благодати Божией. Конечно, эта радость сама по себе не является целью. Апостол Павел, призывая в своих посланиях к радости о Господе, говорит и о том, что ради братьев своих готов быть отлученным даже от Христа (Рим. 9, 3). «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее» (Лк. 17, 33). Таков парадоксальный путь спасения, путь креста, кажущийся, по слову апостола Павла, «безумием для эллинов». Подобная самоотверженность стала примером для многих поколений христиан. *К Богу нельзя прийти, минуя людей,* – в этом великое социальное значение христианства. Правда, в жизни конкретного христианина может возникать противоречие между заповедями любви к Богу и к ближнему, но ничего более возвышенного принципа всеобъемлющей любви у человечества нет.

Для свободного единения в любви людей с Богом существует Церковь, отвечающая в этом смысле общественной природе человека. Она не есть просто некое историческое «наслоение» в христианстве, а являет собой сложную многоуровневую реальность, мистическим средоточием которой является Христос. Можно сказать, что христианство существует в форме Церкви, хотя отношения современного человека с ней сложны. Скептицизм, ставший характерной чертой мировоззрения XX века, зачастую не позволяет принять Церковь как необходимую данность. Трудно бывает провести черту между вечной истиной Церкви и всевозможными искажениями ее в реальной церковной действительности. И слишком просто оправдать эти злоупотребления неповредимостью церковного ядра. Обетование Христа о неодолимости Церкви силами зла (Мф. 16, 18) предполагает и наше активное противостояние им.

Церковные правила, обычаи, сформировавшиеся в процессе исторического бытия, помогают верующим на пути духовного роста, оставляя широкое поле и для личного подвижничества, которое в православной традиции называется «художеством из художеств», то есть высшей формой творчества. Многое здесь построено на тончайших оттенках, на способности различения духов, а критерием было и остается: «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога» (1 Ин. 4,

1–3). Вопрос Христа к апостолам: «За кого вы почитаете Меня? (Мф. 16, 15) – до сих пор звучит перед совестью каждого человека. Людям, в течение веков взыскующим Высшего начала всего сущего, действительно явилось Слово, полное благодати и истины (Ин. 1, 14). Но драма человека, его свободы в том, что великие события прошлого ничего *не гарантируют* в настоящем, открывая ему лишь *возможность* «рождения свыше».

В Новое время представление о мире как органическом иерархическом целом начало разрушаться. Человек все более переставал ощущать глубинную связь с первоосновой мира, ощущать себя «микрокосмосом». Повышение чувства индивидуальности сопровождалось одновременно утратой ощущения священного. Человеческое сознание единственной достоверной реальностью стало признавать самое себя. Возникло ощущение самодостаточности психологической очевидности, отрицание любой предзаданности, а значит – и любого предзаданного смысла, который начал представляться какой-то не имеющей права на существование абстракцией. Религия стала казаться иллюзией, а философия, утратив высокий пафос, начала постепенно превращаться в экономическую социологию, в приложение к вышедшим на первый план «позитивным» наукам.

Теперь смысл должен был быть не обретен, а создан, сконструирован самим человеком, вдруг ощутившим себя одиноким в пустом мироздании. В качестве компенсации за исчезающее Божество возникла установка на ничем, кроме самого человека, неограниченный активизм. Идеал сменился идеологией – неким усеченным мировоззрением, претендующим, однако, на полноту. Постепенно произошло обеднение мировосприятия, удаление из него важнейшего принципа иерархичности, тесно связанного с понятием ценности. Следует сказать, что «научного мировоззрения» вообще быть не может, так как наука имеет дело с усеченным ее же позитивистской методологией миром (частью вместо целого). А. Эйнштейн писал: «Наука не может создавать цели и еще менее способна вселять их в людей; самое большее – наука может предоставить средства для достижений некоторых целей». Ясно, что здесь имеются в виду не просто цели, а ценности.

Успехи «позитивных» наук способствовали попыткам перенесения научной методологии и в социальную сферу, появлению тенденции понимания человеческого общества как весьма сложного, но *механизма*, с соответствующей методологией обращения с ним. Признаком «хорошего тона» стало «подвергать все сомнению». Скептицизм, как уже было замечено, вообще более всего соответствует демократическому устройству, допускающему при относительно высокой культуре общества мирное сосуществование самых различных взглядов. Надо лишь видеть границу между мировоззрением и социальной его проекцией, образом жизни, которые никогда полностью не совпадают. И совершенно не случайно в России, где всегда

было сложно с ощущением каких бы то ни было границ, скептицизм быстро обернулся нигилизмом, а затем и крайним насилием, как идеологическим, так и физическим. Новая коммунистическая псевдорелигия уже не подлежала никакому сомнению и породила террор, какого человечество еще не знало.

С религиозной точки зрения зачаток потенциальной бесконечности как свойство образа и подобия Божия в человеке начал актуализироваться в неадекватной, искусственно ограниченной сфере, что привело к возникновению новых форм идолопоклонства, тем более опасных, что декларировалось отречение от религии как таковой. «Если Бога нет, то сам должен богом стать», – провозгласил Кириллов в романе Ф. М. Достоевского «Бесы». Сам себе в этом не сознаваясь, человек не поверил в свою самодостаточность, и вскоре после эйфории эпохи Возрождения началось созидание просвещенческих теорий прогресса, социальных утопий, этой, может быть, самой страшной формы идолопоклонства: поклонения будущему с принесением ему в жертву настоящего.

Религия никогда не учила о построении Царства Божия на земле только человеческими силами; утопизм задается именно этой целью; образуется целая идеология строительства, прогресса, титаническое стремление создать «новый мир», должный стать лучше старого. Важно отметить, что здесь используются многие элементы христианского учения, отрицается лишь его дух: вместо Царства Божия начинают говорить о «светлом будущем», пролетариат объясняется новым богоизбранным народом, христианский универсализм сменяется пролетарской безродностью, а русская идея соборности обретает своего страшного двойника в принудительном коллективизме. Происходит подмена миропонимания, тем более страшная, что внешняя форма мироощущения остается, хотя о Христе речи уже нет. Мнимые человекобожество и человеколюбие скоро сменились фактическим человеконенавистничеством – никакие ваалы древности не поглотили столько человеческих жертв, сколько потребовал новый Молох.

Блаженному Августину принадлежит глубокое, пережившее века прозрение: «Когда человек живет по человеку, а не по Богу, он уподобляется дьяволу». Почти через полторы тысячи лет эту же мысль повторяет И. С. Аксаков: «Прогресс, отрицающий Бога и Христа, становится регрессом; цивилизация завершается одичанием; свобода – деспотизмом и рабством. Совлекши с себя образ Божий, человек неминуемо совлечет с себя и образ человеческий и возревнует об образе зверином». На арене истории появляется тот, о котором в «приличном обществе» XIX века не принято было говорить, – дьявол. Пророческие предостережения Достоевского, прозвучавшие в романе «Бесы» и в «Легенде о великом инквизиторе», оказались неуслышанными: общество уже было охвачено идеологией

социального переустройства. Казалось, источник зла найден – неудачное общественное устройство. Открытые социологические закономерности мыслились при этом основополагающими.

Принцип аналитического редукционизма, популярный в науке, привел к «первопричине» – общественным отношениям, совокупностью, то есть «образом и подобием» которых человек и был объявлен. Поскольку будущее как «конечный результат» стало доминировать над настоящим, возникло представление об оправданности любых средств, и прежде всего насилия, для достижения поставленных целей.

В человеческой истории всегда было много насилия, но впервые было произведено теоретическое обоснование его необходимости даже без попытки какого-либо определения минимальных границ. Именно в этом был смертный грех нового миропонимания, назвавшего себя «диалектическим материализмом». Но сфера насилия – сфера дьявола... Ничем другим нельзя объяснить попрание всех божеских и человеческих норм, изощренную, сатанинскую жестокость 20–30-х годов. «Безудерж карамазовский» обратился в беспредел, получил у Ленина четкую формулировку о власти, «ничем не ограниченной, никакими законами, правилами, опирающейся на насилие». Это далеко выходило за рамки социальной мести, было именно одержимостью, беснованием, помрачением сознания значительной части людей, фактически переставших быть таковыми. С религиозной точки зрения, это было ожесточенное посягательство на образ и подобие Божии в человеке.

Устранение духовного измерения из миропонимания потребовало насильственного удаления этого начала и из жизни, поэтому атеизм, а точнее говоря – богоборчество стало сердцевиной новой идеологии большевизма. Последовательное применение этой идеологии, вскоре ставшей приобретать черты зловещего суррогата религии, привело не только к почти полному уничтожению Церкви, культуры, но и к разрушению самого, столь воспетого марксистами, «первичного» материального базиса (оскудению материально-производственной сферы), а далее – и к уничтожению природы, объявленной «средой». Вслед за социальным Чернобылем коммунизма последовал и физический Чернобыль. Относительная правда социализма, состоящая в озабоченности общественной несправедливостью, замкнувшись на себя, быстро превратилась в тотальную неправду, что чисто теоретически предвидеть было почти невозможно.

Глубину катастрофы, произошедшей с нашей страной, и породившие ее причины можно понять лишь на религиозном уровне. Всякое обеднение миропонимания приводит к абсолютизации относительных и релятивизации высших ценностей. Мировоззрение становится в целом замкнутым, хотя по своим естественнонаучным

линиям оно и кажется открытым. Тоталитаризм парадоксальным образом порождает замкнутость и изоляционизм. Устранение, а точнее – извращение духовности приводит к катастрофическим последствиям и в материальной сфере, чему ярким примером служит наше теперешнее скудное существование. Крушение новой вавилонской башни коммунизма под собственной тяжестью (может быть, и Бог помог, как при строительстве возгордившимися людьми первой башни) – факт огромной духовной значимости, который еще предстоит во всей глубине осознать. Особая опасность коммунизма в том, что он маскируется (люди-орудия могут этого долго не осознавать) под добро, как и сатана может принимать вид Ангела света (2 Кор. 11, 14); так что многие до сих пор по-настоящему не избавились от его гипноза.

Мы только начинаем признавать принцип ненасилия, глубоко осознанный Махатмой Ганди и Мартином Лютером Кингом. В религиозном понимании духовность есть направленность к Богу, открытость первооснове Бытия. К христианству, как абсолютной всеобъемлющей истине, все имеет отношение, но это отношение ограничивается свободой людей, христианский идеал не может быть принудительным. Поэтому христианство, говоря о глубинных реалиях человеческого бытия, неразрывно не связывает себя ни с какой формой общественного устройства, которая всегда вторична, что позволяет говорить о социологической инвариантности социальной доктрины христианства. Доверие к жизни, как к творению Божию, предполагает осознание и границ человеческого на нее воздействия. Пределом социальному конструированию полагается недопустимость посягательства на образ и подобие Божии в человеке, которые и есть высшая ценность тварного мира. Как хорошо сказал Н. А. Бердяев, если Бога нет, то и человека нет!

Без христианского учения об образе и подобии Божием в человеке – этой подлинной основы уважения к нему – все разговоры о правовом государстве, демократии останутся пустыми, а мера минимально необходимого насилия, без которого все же не может существовать никакое государство, так и не будет найдена. Как показал наш исторический опыт, без ориентации на углубленное осмысление человека как соратника и соработника Божия, другие задачи, даже самые утилитарные, не решаются, ибо человеческая природа неделима и в этом смысле она, несмотря на все потрясения XX века, остается органичной.

С большим трудом мы начинаем осознавать сейчас само понятие свободы, которая возможна лишь в Истине, то есть в Том, Кто сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14, 6). Следует признать, что многие представления о соотношении двух царств (небесного и земного) оказались инфантильными, неимоверно упрощенными. Жизни следует предоставить возможность во многом (не во всем – не будем забывать

ее поврежденности) развиваться из себя. Сознание противится слишком четко выраженным предзаданностям (именно это отталкивает от катехизисов многих людей), легко критикует их, тем более что в отрицании, как заметил еще Пушкин, ошибка обнаруживается труднее, чем в утверждении.

Христианство, в отличие от религий лишь напряженно взыскующих Неведомого Бога (Дн. 17, 23), имеющих преимущественно апофатическое (отрицательное) богословие – рассуждающее не о том, что Бог есть, а о том, что он не есть, не позволяющее принять идола за Бога, – имеет значительную катафатическую (положительную) сторону, выражаемую самим понятием Откровения: для христиан Бог – ведомый.

В этом смысле христианство и особенно Православие (что проявляется и в богатстве богослужения) дает людям столь много, что они порою могут терять вкус к земной жизни. Неизмеримая данность откровения («Слово стало плотию». – Ин. 1, 14) сочетается в нем с полной безобъектностью Высшего Начала («Бог *есть* дух». – Ин. 4, 24).

К сожалению, упрощенно понятое обетование о награде в будущем приводит порою верующих к пренебрежению всем земным – жизнь рассматривается только как «промежуточная» стадия и сама по себе лишается всякого смысла, а затем иногда быстро ослабевает и оказавшееся чрезмерно спиритуалистическим стремление к горнему, сменяется по принципу противоположностей материальным православным бытом, обрядоверием и религиозным эгоизмом. В таком случае религия начинает сводиться к социально-регулятивной функции формирования жизненного уклада, теряя важный момент понимания необходимости служения людям как служения Богу, а богословие становится охранительным – «богословием повторения».

В силу ряда причин, как исторических, так и духовно-психологических, русский человек оказался более других «очарован» открывшимися ему богатствами Православия, и особенно – эстетическим (достаточно вспомнить выбор веры князем Владимиром, совершенный по эстетическим мотивам; богословствовали у нас также преимущественно, по выражению Е. Н. Трубецкого, «в красках»), русский человек стал взыскующим не столько Истины, реализующейся в жизни, сколько запредельного мира божественного. Отнюдь не случайно представление о христианском идеале связывается в русском Православии преимущественно с монастырями. Внешнее вообще начинает доминировать над внутренним (в Евангелии – наоборот!), а духовное – смещаться в душевную сферу со всей ее неустойчивостью. В сознании возникает раскол, так как трудная задача осмысления соотношения двух царств – Небесного и земного не только не решается, но не возникает и никакого вкуса к ее решению. В итоге не вырабатывается устойчивого национального

характера, без которого соответственно невозможно полноценное существование нации, хотя на личностном уровне существует очень открытый, притягательный русский душевный тип. Возможно, этим объясняются диаметрально противоположные оценки России иностранцами, например, известным французским маркизом де Кюстином и прибалтийским немцем Вальтером Шубартом. Скепсис первого и восторженность второго объясняются тем, что они на разное обращали внимание. Де Кюстин оказался чувствительным к социальной сфере, В. Шубарт – к духовно-личностной. Столетие, разделяющее их впечатления от России, в данном случае несущественно.

Именно поэтому в критической ситуации, как пишет В. В. Розанов, «Русь слиняла в два-три дня, а переход мужиков и солдат в социализм, а значит – в полный атеизм, совершился с удивительной легкостью» («Апокалипсис нашего времени»). Конечно, можно привести многочисленные примеры стойкости и сопротивления новой безбожной власти, но, увы, переломить складывающуюся ситуацию оказалось невозможным. Те, для кого факты еще что-то значат, вынуждены самым серьезным образом обдумать случившееся. Нельзя не согласиться с И. А. Ильиным, сказавшим, что «русский духовный характер оказался не на высоте тех национальных задач, которые ему надо было разрешать. В нем не оказалось надлежащей религиозной укорененности, устойчивого чувства собственного духовного достоинства, волевой самодисциплины, отчетливого национального самосознания».

Значительная доля ответственности за случившееся падает и на Русскую Православную Церковь. «За последние два века, – пишет И. А. Ильин, – Православная Церковь утратила свою независимость от государства и от его великодержавного аппарата. Это отразилось и на ее самосознании (она привыкла служить правительству и не дерзать самостоятельно вести народ к Богу), и на ее строении (назначение, отрыв от верующих, ослабление приходской жизни), и на ее воспитывающей силе».

Пробел христианского влияния в социальной сфере почувствовали и архимандрит Федор (Бухарев), В. С. Соловьев, профессор Киевского университета протоиерей П. Я. Светлов, значительная часть духовенства, составившая впоследствии обновленческое движение. «Обновленцы, – писал священник М. Чельцов в 1907 году, – не о новом творении в христианстве мечтают, а лишь стремятся к тому, чтобы христианство Христово, а не византийское, христианство евангельское, а не предания старцев проявилось в жизни во всей присущей ему силе, раскрыло бы все свое богатое потенциальное содержание, объединило бы в единстве бытия веру и жизнь и дало бы христианскую государственность, общественность, экономику, культуру, науку – словом, христианизировало бы жизнь во всех ее

проявлениях...» Здесь, конечно, имеется в виду не какое-либо «государственное христианство», а именно христианские по духу государственность и общественность.

О «христианском социализме» как образе общественного устроения писали и С. Н. Булгаков, Г. П. Федотов, С. Л. Франк. Но встреча Церкви и наиболее образованной, чуткой к будущему части общества, окончательно разошедшихся с синодального периода, несмотря на попытки Религиозно- философских собраний, так и не состоялась. После революции русские философы были высланы из страны или репрессированы, а обновленцы пали жертвой своего же непоследовательного и неустойчивого характера, больного тем же, что и национальный характер вообще. Точнее, состоялась в такой варварской форме, какой Европа не знала (масштабы тоже что-то значат!); большевики так осуществили призыв Ницше «гнать священников», что тот бы содрогнулся...

Из коммунистической эпохи, унесшей десятки миллионов человеческих жизней, народ вышел обессиленным; все высокие слова и идеи оказались истрепанными и дискредитированными. Да и каким может быть состояние человека, привыкшего к роли раба, подопытного кролика, вечного люмпена, которому нечего терять, к тому, что в любой момент может начаться все, что угодно очередному начальству, якобы заботящемуся об «общем благе». Сейчас, после 70-летнего паралича Церкви (неизмеримо большего, чем тот, о котором писал в свое время Ф. М. Достоевский), своеобразного «вавилонского плена», в Церкви восстанавливается то, что еще можно как-то восстановить, и это добрый знак, но пора и понять, что простого возвращения в Православие синодального периода быть не может: борьба за открытие храмов не должна заслонять необходимости осмысления с православной точки зрения новых реалий общественной жизни – распадения тоталитарной централизованной системы и возникновения демократического мышления.

Несмотря на полную подавленность Церкви в коммунистический период (кроме «борьбы за мир», да и то лишь за рубежом, ей была запрещена любая общественная деятельность, вплоть до благотворительности), в церковном сознании парадоксальным образом сохранялся и все еще сохраняется элемент централизма, связанный в значительной степени с тем, что Православие традиционно являлось преобладающим, государственным вероисповеданием в России. Это усиливало эксклюзивность, вообще присущую в большей мере религиозному сознанию, чем любому другому мировоззренчески ориентированному. Истина в известном смысле вообще эксклюзивна, как и само следование ей – как результат осуществленного выбора, «потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь...» (Мф. 7, 14), что, однако, приобретает весьма своеобразный, непрямолинейный характер в сопоставлении с другими евангельскими изречения-

ми. Так, в Нагорной проповеди говорится о любви к врагам, недопустимости осуждения других; в притче о плевелах людям запрещается выбирать их до жатвы – суда Божия (а не человеческого), чтобы не выдернуть с ними пшеницы (Мф. 13, 24–30). Эксклюзивность сознания и убеждений не должна, таким образом, приводить к эксклюзивности действий – суду человеческому, что слишком часто забывалось в истории. Необходимо четко различать мировоззренческий уровень, где возможны свобода и любые споры, и уровень общеобязательного этического минимума, выраженного в заповедях общечеловеческой нравственности, несоблюдение которых ведет к посягательству на образ и подобие Божии в человеке.

Различение этих двух уровней (явно все еще у нас недостаточное) и лежит в основе христианского понимания права как недопустимости посягательства на человека как такового и сопутствующую ему среду обитания. Лишь при различении названных уровней можно избавиться от высокомерного взгляда на людей, придерживающихся иных убеждений, как на неполноценных, «недозревших» и т.п. В противном случае должное часто смешивается с фактическим, возникает мысль о допустимости насилия ради «доброй» цели, «искоренения зла». Но парадокс в том, что попытки полностью искоренить зло в нашем поврежденном мире приводят к еще большему злу, что особенно хорошо видно на примере тоталитарных систем.

Мучительная трансформация мировоззренческой парадигмы ощущается сегодня многими. Повсеместно говорится о кризисе философии, литературы, искусства, культуры вообще. Было бы странным, если бы христианство, на его понятийном и духовном уровнях, сложившихся в течение последних двух тысячелетий (как иногда говорят «историческое христианство»), было бы совершенно не причастно к этому кризису – ведь оно само, *по выражению одного теолога*, есть «кризис всех религий». Рецептивная установка «все дано, только верь» часто не может быть реализована в современном сознании. Выработавшийся иммунитет против «готовых» истин (наше сознание давно стало «критически») подчеркивает необходимость того, что в Евангелии понимается под «вторым рождением» (Ин. 3, 1–7) и что в значительной степени зависит от самого человека, его свободы, творчества. В Европе вехой этого процесса явилась провозглашенная Ницше «смерть Бога». Конечно, умер не Бог, а наши инфантильные (отнюдь не детские!) представления о Нем.

Ситуация осложняется тем, что мы не знаем пределов собственных представлений о Смысле, без которого самосознающая себя жизнь невозможна и который можно было бы соотнести с иерархическими уровнями пошатнувшегося после кошмаров XX века уни-

версума. Правда, для тех, кто спиритуалистически воспринимает христианство, «принципиально» ничего не случилось (да и случиться не может!), что позволяет им по привычке незамутненно ощущать мир, не чувствуя даже того разрыва, который производит развитие современной техники (имеющее, как показал Н. А. Бердяев, и космогоническое значение), хотя на уровне, например, эстетики разрыв очевиден.

Обратившись, например, к протестантизму, мы заметим, что в нем произошло определенное внешнее обеднение христианства, выразившееся в отрицании иерархии, монастырей, культов святых и икон за счет примата внутреннего над внешним, личностно-экзистенциального порыва к Богу. Здесь впервые произошло четкое различение уровней бытия, осознана во всей значимости связь веры со свободой, хотя моралистическая сторона веры возобладала над мистической. На юридическом языке религия была объявлена «частным делом», что, конечно, не исключало религиозного понимания возможного преображения мира как удаленной мистической сверхзадачи. В религиозном же смысле была осознана область человеческой активности, что выразилось в трезвых, суховатых словах Канта о том, что наша вера не должна зависеть от отсутствия чудесного. Частная инициатива и предпринимательство стали рассматриваться – в противовес заповеди о евангельской нищете – как служение Богу.

Не берясь судить о судьбе протестантизма в эсхатологической перспективе, надо признать, что в христианском мире наиболее индустриальные (по-русски «деятельные») страны – протестантские. Загадка же фашизма, возникшего в христианской стране, до сих пор по-настоящему не разгадана. Думается, что здесь было некое неблагоприятное сочетание немецкого мистицизма и загадочного протестантского учения о предопределении, связанного, по мнению немецкого социолога В. Зомбарта, с ветхозаветной идеей богоизбранности (возможны и восточные влияния). Обвинять в фашизме протестантство так же нелепо, как Православие – в порождении коммунизма, или, на религиозном языке, Бога – в существовании дьявола.

Благодаря тому, что эсхатологизм и в католичестве был уравновешен осознанием необходимости жизни не только по «вертикали», но и по «горизонтали», благодаря рационализму (который неустанно критиковали ранние славянофилы), оно в течение своей долгой и непростой истории сумело выработать противоядия как против, с одной стороны, всех видов хлыстовства, так и, с другой – против бюрократического обрядоверия и оказалось в целом тоже формообразующим принципом жизни. Таким образом, в Европе, можно сказать, произошло некое «усреднение»

христианского идеала, может быть иногда имеющее и суховатый привкус. Но ведь «середина», по Аристотелю, оказавшему значительное влияние на западный менталитет, есть не посредственность, а добродетель между двумя пороками. Аристотелевское чувство меры, открывшее метафизическое значение формы, «срединности» мира сего, по сути дела и сформировало западную цивилизацию, придало ей, несмотря на все потрясения, устойчивость.

Но страшная безмерность Ставрогина все еще требует ответа. Удастся ли нашему сознанию обновить чувства святости и благоговения, обрести новую форму «вертикали», прийти к новой целостности сознания, покажет будущее, но нам следует, наконец, научиться жить и в настоящем.

ДРЕВО НА КАМНЕ

Статья Георгия Федотова «Древо на камне» была опубликована в сборнике «Живое Предание», вышедшем в 1937 году в Париже. Статья не включалась ни в одно из собраний сочинений Г. П. Федотова, сборник также не переиздавался, что в сочетании с маленьким тиражом превратило его в библиографическую редкость.

Текст статьи приводится без сокращений. Послесловие А. Кырлежева.

Нынче многие думают о камне и редко о древе. Дерево, растущее на камне, – образ, может быть, странный, но исчерпывающий природу Церкви. Церковь не камень, камень Христос; Церковь живое, то теряющее листву, то вновь зеленеющее дерево. Если же камень, то здание строящееся, град никогда не достроенный – до скончания этого века.

У Церкви в этом мире неизмеримо огромные задачи. Только ли теплить неугасимую лампаду? Только ли забрасывать невод за отборной рыбой, отвеивать пшеницу от плевел? Питать верных телом и кровью Господней? Невод – Евангелие, брошенное в мир. Никакими силами не угасить того Солнца, перед которым бледнеет свет лампад. Святые питались Богом и в пустыне. Как раз личная святость искалась, если не вне Церкви, то на ее окраинах, по задворкам, в слабом общении с видимым организмом Церкви. Невод, веялка, лампада личной святости – идеал сект, а не вселенской Церкви Христовой. Вселенская Церковь имеет отношение к человечеству, как целому, – вернее, представляет реализацию этого целого, имя которому: тело Христово, corpus Christianum. Христос воплотился единожды в мире. Христос воплощается в каждой христианской душе. Христос воплотится в человечестве, ставшем, наконец, Его живым телом. Процесс этого воплощения и есть историческое дело Церкви. Историческое дело человеческого общества есть культура. Следовательно, Церковь есть христианское общество и христианская культура.

Всякая подлинная культура имеет религиозный смысл. Тео-

ретический смысл ее есть богопознание, практический – богоуподобление. Узел, связывающий в одно обе культурные сферы – познание и жизнь – есть богообщение. Культ – зерно, из которого развиваются культуры: в Полинезии, в Элладе, в Византии – всюду. Чем отличается христианская культура от всякой иной? Тем, что целью ее познания и достижения является не просто Бог, но Бог воплотившийся, распятый и воскресший. Личность Христа, Его мистическую природу и Его судьбу воплощает христианская культура. Ко всякому созданию этой культуры мы вправе подходить с вопросом: какой догмат оно раскрывает? Божескую природу Христа или человеческую? первородный грех или предчувствие преображения? власть смерти или воскресение? Трудно примиримы между собой, антиномичны моменты Христовой истины. Оттого не прям, а диалектически извилист путь христианской культуры. О ней нельзя судить по отрывкам. Лишь место, занимаемое в живом единстве целого, укажет, член ли это тела Христова или чужеродный нарост. Идеальное равновесие этих моментов, символизирующих личность и путь Христов, мы называем Православием. Оно живо и действенно, как идея, никогда не реализуемая, как сила тяготения, заставляющая маятник возвращаться к оси его колебаний. Неподвижный маятник не маятник. Культура, ни на йоту не отклоняющаяся от Православия, уже не живая, а отжившая, хранимое сокровище прошлых веков.

Христианство не закончено и не может быть закончено в истории. Христианство вообще не система законченных истин и целостного быта. Оно есть путь, движение, метод. Его нормой является Тот, кто сказал: «Аз есмь путь». Его религиозная жизнь задана в антиномиях: Бога и человека, духа и плоти, распятия и воскресения. Его нравственный идеал в своей абсолютности оказывается неосуществимым для человеческой личности в пределах истории: это динамит, взрывающий всякий упорядоченный нравственный быт. Оттого христианская цивилизация в целом динамична, часто меняет свой облик в глубоких культурных катастрофах.

Сказанное о христианской культуре относится ли к христианской Церкви? Принципиально, да. Ведь, у культуры нет задач, отличных от Церкви. Один из древних отцов сказал: «Церковь всегда юнеет». Однако, если обратиться к истории, то мы можем и не заметить этого вечного юнения Церкви. Можно даже прийти к совершенно обратному впечатлению: Церковь стареет. Попробуем приложить эту, конечно поверхностную, аналогию человеческих возрастов к Церкви. Легко представить себе младенчество ранней Церкви, с ее сознанием искупленности и святости, поклоняющейся Отроку – Доброму Пастырю – и в катакомбах молитвенно призывающей своих младенцев. Юношеский возраст Церкви – героический век мучеников, запечатленный на иконе в сонме прекрасных дев и юных воинов. За ними идет классический век отцов – философов и государственных мужей – зрелый возраст непревзойденных творче-

ских сил, мысли и труда. Что же дальше? Дальше разделение, первая роковая бифуркация Церкви. Останемся пока с Востоком. За зрелым мужем – старец: уединившийся в пустыню в молчании и бесстрастии. Иногда суровый, измождивший себя, с темной, иссохшей кожей, позеленевшей брадой, непреклонный к людям, подвижник и ратоборец; иногда просиявший любовной улыбкой и несущий в мир свое благословение – но навсегда старец остается образом православного Востока: его живой иконой. Вместе со старцем для Церкви восточной наступила пора старчества. Жизненный опыт закончен, итоги подведены. Семь соборов возвестили всю догматическую истину. Мистическая и нравственная правда раскрыты в Добротолюбии. Православие стало равнозначащим со староверием, а православие с древлим благочестием. В сущности, для восточного христианского сознания история уже закончена. Человечеству в целом нечего делать до Страшного Суда. Почему медлит Господь? Это тайна: может быть, потому, что не исполнилось число 144 000 девственников. Несмотря на преодоленный Церковью монтанизм, он живет на Востоке в скрытом состоянии какого-то тихого эсхатологизма. Не бурное прорывание мистических сект, а покорное ожидание конца, готовность к концу, настроение вечереющего дня. И рядом с покоем этой просветленной мудрости покой косного быта, застывшие глыбы этнографического паганизма, языческое рабствование перед государством – живые укоры невозделанной нивы Христовой. Ждут жатвы, а поля как следует даже и не вспахали.

А мудрость огромная накопилась в веках. Легковесными кажутся перед нею все слова Запада. И какая красота, какая утонченная пышность культа! Молился ли Запад иконе, подобной нашей? Знал ли когда-нибудь опьяняющую торжественность нашей греческой литургии, философическую глубину наших канонов? Поистине, для восточного сознания Запад еще варварски молод.

И Церковь хранит эти сокровища, купается в золоте – хочется сказать, как скупой рыцарь: хранит, вместо того, чтобы пустить в оборот, по евангельской притче, и из одного таланта сделать два. Есть страшная, предостерегающая правда в древнем мифе: гений, охраняющий золото, превращается в дракона. Золото всегда стережет дракон.

Эти сокровища уже покрыты пылью и ржавчиной веков. Подойдите к Церкви с вопросами нашей сложной, мучительной, стремительно бегущей жизни. Где найдется ответ? У Златоуста или у Исаака Сириянина? Великолепен Златоуст, умиляет и потрясает Исаак, но когда вы слушаете проповедника на амвоне, пытающегося их словами заклясть демонов нашей жизни, вы испытываете чувство мучительного несоответствия между вопросом и ответом. Время изменило смысл слов, изменило, в некоторой степени, и смысл стоящих за словом реальностей.

Откуда же эти новые вопросы, с которыми мы приходим к

Церкви? Следует откровенно сказать: с Запада. Только Запад – вот уже более двух веков – вовлек нас в свой водоворот, оторвав от тихих берегов и соблазнив обещаниями истины и свободы. Да что! Запад открыл нам нас самих, заставил оценить сокровища, цену которым мы не знали. Ему мы обязаны нашим новым православным самосознанием.

Страшно подумать, от какой смертельной опасности мы спасены. Одна за другой сестры наши – Восточные Церкви – хирели и умалялись, становясь добычей ереси или ислама. Тускл и печален был исход московского правоверия. Может быть, и Руси уже готовился удел Византии, а Церкви русской, под английским протекторатом, удел александрийского или антиохийского патриархата. Казнь была отведена жертвоприношением Петра. Мы искупали грех косности двухвековым покаянием самоуничижения, самоотречения, вплоть до атеизма! Тот, кто умеет читать в книге истории, не может не видеть в катастрофах наших дней расплату – отсроченную и смягченную – за древние грехи: за Византию, за Москву.

Но, может быть, на Западе все обстоит благополучно? Там культурная Церковь (впрочем много церквей). Она умеет дать ответ на всякую злобу дня. Она готовно реципирует все ценное, создаваемое светской культурой. Приглядимся поближе.

Западная Церковь в сущности никогда не знала старчества. Она заменила его мистикой небесного «эроса». В этом причина недостаточной для нас глубины ее. Оттого ни Толстой, ни Достоевский не могли родиться на Западе. Зато католическая Церковь сохранила надолго способность юнеть. Едва достигнув зрелости своего гения (Августин), она бросилась с головой в варварское море с юношеским пылом миссионера, варваризовалась сама – до ужаса, – чтобы сесть с варварами за школьную скамью, зубрить латынь и готовиться к величайшему историческому делу: построению христианской культуры. Она строила из обломков и дикого камня. (На Востоке Церковь могла только крестом возглавить законченное и ветшающее здание.) Оттого так обаятельно цельностью и жизненной силой недолгое цветение католической культуры средневековья. Окрепшая в политических битвах, Церковь поднимает сызнова дело «отцов», но, юнея в мистике любви, открывает Евангелие – величайшее открытие великого XII века, – чтобы пережить и новое младенчество с Франциском.

Доселе Церковь и культура были одно. Их общее дело – Град Божий, на земле воздвигаемый. Но тут наступает катастрофа, длящаяся и поныне. Ренессанс и Реформация были частными ее выражениями. Ее общий смысл в разрыве между Церковью и культурой. Здесь не место говорить о причинах и вине этого трагического события. Скажем намеками. На рубеже новой истории – с этого события мы датируем свою новую историю! – происходит грандиоз-

ная языческая реакция, именуемая Возрождением. Отпад в язычество мыслящей и утонченной интеллигенции связан с длительным застоем в Церкви, т.е. в сердце церковного тела. Одни уснули, другие отпали. Почему уснули? Может быть, потому, что устали. Надорвались непосильной и не по времени борьбой за политическую теократию. Хотели упредить все времена и сроки и мечом завоевать Царствие Божие. Меч выпал, и мышцы ослабли. Иерархи заснули на своих тронах. Тогда – не без воли Божией – пришли язычники и начали строить свой град, называемый некоторыми Вавилонской башней. Башня, строющаяся без Бога, с дерзким намерением завоевать небо, наказывается воочию смешением языков, распадом культурного единства, варварской разноголосицей. В последнее время усмотрены и более зловещие признаки упадка: оскудение творческих сил. Эти силы, некогда притекавшие обильно из родников живой религии, растрачиваются, не пополняясь: кровеносные сосуды перевязаны. Половина энергии ушла на разрушение Бога, другая – на черную работу подготовки строительных материалов. Но архитектора нет. И что еще хуже – нет стиля. Взятая в целом, наша культура лишена стиля, в котором не отказано последним эскимосам. Все это правда. Однако будем справедливы. Печальный исход не должен заслонять величия этой пятивековой трагедии. В борьбе против Бога и борьбе за Бога человечество напрягло титанические усилия, наворотило горы – Пелион на Оссу – и создало нетленное. Наша фрагментарная культура своей грандиозностью подавляет законченные, но ограниченные цивилизации древности, средних веков. Не только грандиозность (может быть, свойство демоническое) характеризует этот великий век. Мы смеем сказать: наши мыслители искали истину с не меньшей жертвенностью, чем Сократ. Наши художники истекали кровью своего сердца, чтобы пробиться из пустыни к тайнам Божьего мира. Наши «святые, не верующие в Бога», отдавали жизнь ради любви и справедливости с жертвенной готовностью мучеников. Скажут: бесплодные усилия, пародия антихриста. Нет! У кого есть дар различения духов, тот не посмеет отрицать, что в лучших созданиях нашей культуры есть вдохновение Духа Святого. Подлинное творчество и подлинная святость почили здесь. «По плодам их узнаете их». Что же может противопоставить Церковь этому творчеству мира? Весь рост ее – мы говорим о западной Церкви, единственно обнаруживающей признаки роста, – заключается в рецепции внецерковной культуры. Рецепция Ренессанса, рецепция науки, рецепция социальной политики – вот эволюция католичества. Только этой непрерывной рецепцией чуждых, первоначально отталкиваемых элементов ему удается сохранить свою вечную молодость. Но кто же создает эти ценности? Уж не сатанинский ли град? Тогда зачем их признание? Если же этот град – Божий, то, значит, Бог творит вне Церкви. Все нейтральное, чисто природное, только чело-

веческое не может быть творческим для христианского сознания. Ныне Церковь питается миром, как раньше мир питался Церковью. Рядом с энергией Духа в мире, Церковь может казаться оставленной Духом. Только непрекращающаяся, хотя и оскудевшая, личная святость в Церкви говорит о неугасших дарах. На это еще хватает сил: освещать мрак человеческих душ, бросать их к подножию креста, дав им руководство к мистическому пути. Скажут, разве этого мало? Очень много и очень мало. Некогда Церковь могла все это, но могла и другое: созидать видимое тело Христово, христианское общество. Что сделала она в эти роковые для нее столетия? В сущности, одно: пронесла в неприкосновенности древний культ и мистерию.

Итак, мы живем в мире, расколовшемся между Церковью и культурой. Живем в двух мирах. Правда, между этими мирами происходит постоянный обмен. С той и с другой стороны делаются честные попытки примирения. Однако, чтобы оценить их смысл, необходимо установить одно различие внутри культуры. В современной культуре можно различать два слоя: культуру технически-научную и культуру гуманистическую. К первой мы относим всю область научного знания (включая и гуманитарного); ко второй – область оценок, этическое, эстетическое и религиозно-философское творчество. Так вот, союз религии с наукой и техникой не труден. Он кажется таковым лишь для очень ограниченных научных или ортодоксальных позитивистов. Принцип примирения ясен: отдать науке область явлений, а религии – истолкование их смысла. Религия не будет судить ни об истории земли, ни об эволюции живых существ; история еврейского народа, как и самой эмпирической церкви, вопрос об исторической обоснованности предания – подлежит только науке. Зато наука отказывается от «научного» мировоззрения: от оценки добра и зла, смысла жизни, прогресса и т.п. Спор идет не между религией и наукой, а, скажем, между космологией древних евреев и современных европейцев: разумеется, физика Моисея или Василия Великого должна уступить Гельмгольцу или Эйнштейну. Подобно тому, как Церковь с легкостью – может быть, чрезмерной – допускает электричество в храмах, она допускает, хотя непоследовательно и косно, науку. Здесь есть, конечно, противоречие, но противоречие стиля. Кто-то сказал, что железные дороги несовместимы с христианством (т.е. историческим): они предполагают иной ритм жизни. Но этот ритм и эта новая, еще не осуществленная эстетика приводят нас уже к проблеме гуманизма.

Гуманизм, как мы сказали, это область оценок – следовательно, область веры: оторвавшейся от церковного символа, «секуляризованной» веры. Гуманизм, при всех его религиозных устремлениях, еще не религия; но он хочет быть религией, он – потенциальная религия. Вот почему и страшно противостояние – я не говорю о

борьбе – Церкви и гуманизма: в них чувствуются две религиозные правды. Следует прежде всего не закрывать глаз на их противоречие. В XIX веке было много охотников затушевать его и этим сделать невозможным его подлинное преодоление. Вся «рецептивность» католичества обусловлена этим закрытием глаз. Подходя к культуре, Церковь одним прикосновением убивает ее душу и оставшуюся шелуху допускает в храм. Можно все возрождение язычества свести к мифологической аллегории и к классическому стилю. Обескровленный таким образом и уже мертвый Ренессанс можно уже благословлять и в семинариях, и в барочных, «иезуитских» храмах. Культура принижается здесь, если не до техники, то до орнамента. Поразительно неисчерпаема способность католичества к новым и новым орнаментировкам. Но морщины проступают под слоем румян.

Может быть, Церковь права, отвергая не формы, а дух гуманистической культуры? Может быть, гуманизм и христианство несовместимы? Это страшный вопрос, и нужно взвесить всю его ответственность. Если в гуманизме есть религиозная правда и она несовместима с христианством, – значит, есть божественная жизнь вне Христа, не вмещенная Христом. Значит, Христос не Единородный Сын Божий. Тогда остается ждать Иного – Учителя. Если в гуманизме нет религиозной правды, тогда история закончена. Христос уже противостоит Антихристу. Только бы не смешаться, не осквернить, устоять от соблазна. Первый ответ приводит нас к антропософии. Антропософия имеет, бесспорно, рациональный соблазн для нашей эпохи. Только религиозный опыт – или опыт любви – заставляет с ужасом отбросить надежду на иного Христа. И только тот же религиозный опыт может утверждать правду гуманизма. В чем эта правда?

Я знаю, в настоящее время слово «гуманизм» почти безнадежно опорочено. Люди, в которых мы привыкли видеть носителей духовной революции, провозгласили гибель гуманистической культуры. Вопрос в том, где видеть истинное ядро этой культуры и как определить ее. Если гуманизм есть культура «самодовлеющей человечности», он несовместим с религией богочеловечества. Если гуманизм есть оправдание эмпирического мира и человека, он несовместим с религией искупления. Но в этом ли его сущность? Пытаясь обнять всю дисгармоническую сложность внерелигиозной культуры, я прежде всего вижу, что утверждение человека и мира исторически изживается чрезвычайно быстро: как переходный диалектический момент. За медичейским Ренессансом – Савонаролла, за «Просвещением» – религиозное отречение романтиков; за позитивизмом – христианское возрождение наших дней. Положительно, «языческие реакции» против христианства неприемлемы для нашей культуры, отравленной ощущением первородного греха. Она реагирует на язычество резко и определенно – пессимизмом. От крайнего самоут-

верждения до крайнего отрицания для нас один шаг, не шаг даже, а точка, дифференциал. От Золя и Мопассана (с главной темой: смерти) в конце прошлого века – к Стриндбергу, Пшибышевскому, Андрееву, от Лоренса – к А. Гексли и Ч. Моргану в наши дни. Натурализм наших дней болен пессимизмом. Но если это так, если, несмотря ни на что, гуманизм не умирает, значит, его правда в чем-то другом – не в язычестве. Евангелие гуманизма – с в о б о д а и л и ч н о с т ь.

Стоит ли труда доказывать, что все восстания и подвиги, все жертвы мучеников гуманизма – ради этой одной святыни, непреходящей личности человека и его неотменяемой свободы? Важнее дать этой свободе религиозную оценку. Несомненно, для ветхого церковного сознания в свободе, как и в личности, чудится сатанинское начало. Если высшую правду видеть в послушании, то в свободе является лик гордыни. Это до такой степени естественно, что сам гуманизм готов поверить в свое демоническое значение. Дух свободы новое человечество, разучившееся искать его в Христе, всего легче обожает в Люцифере. Отсюда демонизм Байрона, Лермонтова, Врубеля. Этиология демонизма сводится к следующему силлогизму, одна из посылок которого дается старым, другая новым религиозным сознанием: свобода – от демона; свобода – божественна; следовательно, демон – Бог. Оттого и именуют его нежным именем «даймон», что значит – божественный. Оттого и дают ему божественные атрибуты – истины и свободы: «Я дух познанья и свободы». Но кто же сказал: «Я пришел научить вас истине, и истина сделает вас свободными?» Достоевский прав. Это только жалкий маскарад. Красота, истина и свобода лживо узурпируются тем, чья природа – метафизически небытие, эмпирически пошлость. Но дорого стоит этот обман, отрывающий личность во имя свободы от истока всякой свободы. На этом пути – угасание вселенского чувства, одиночество, замерзание, злорадство, смерть. Однако кто же толкнул на этот путь? Не те ли, кто выбросили свободу за борт корабля Церкви, в небытие, на игралище демонам? После громов Иоанна и Павла кто, кроме немногих мистиков, пережил смысл христианской свободы? В Церкви о ней забыли. А о личности и забывать нечего было. Догматическое учение о личности никогда и нигде не было формулировано, но теперь – в свете гуманизма – стало общим местом утверждение, что христианство есть религия личности – Бога, Христа и человека, – что личность есть вообще основной принцип христианского мышления, чувства и дела. Конечно, личность не исключает самоотречения, а требует его, ибо только в борьбе со своей косностью, со стихией и с грехом в себе раскрывается истинное «я». Конечно, свобода не исключает, а означает повиновение Богу, ибо голос Его слышится внутри «я» как подлинное самоопределение «я», находящего себя в согласии с Отцом. Но если гуманизм постоянно извращал и извра-

щает эти начала, то историческое христианство часто игнорировало их. Когда убивается – хотя бы духовно – одна падшая личность для спасения многих, то совершается грех против догмата личности (личность = обществу), приоткрытого в евангельском слове: «На небесах бывает больше радости и едином грешнике кающемся, чем о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Когда насилием или соблазном спасают людей – во имя любви, уж, конечно, во имя любви! – то грешат против свободы и думают поправить Бога, который сотворил человека свободным и допустил его пасть, и допускает и терпит мир, во зле лежащий, – не по недостатку любви.

Можно спросить себя, какой же смысл имеет это столь позднее раскрытие христианских начал, да еще в извращенной, внецерковной культуре. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить (Ин. 16, 12). Богочеловеческая идея двустороння, и древняя Церковь всю богословскую энергию свою вложила в раскрытие догмата божественности Христа. В борьбе с арианством потускнел человеческий лик Христа. Монофизитская идея была отклонена, но не хватило сил жизненно преодолеть ее. В общем упадке культуры не было места для признания достоинства человека и его высокого назначения. Его падение и грех были единственной признанной истиной. Гуманизм и призван продолжать диалектическое развитие христианской идеи, и его рождение следует датировать не языческим восстанием Ренессанса, а мистическим обретением человека-Христа, совершившимся где-то в глубине XII века. С тех пор, однако, прошел великий раскол, и новые роды христианской идеи совершаются вне видимого тела организованной Церкви (вне Церкви ли?). Однако, может ли родиться дитя вне материнского лона? В колбе выращивается не человек, а гомункул, не религия, а система. Да и хватит ли скудеющих человеческих сил для дела, требующего полноты и напряжения творчества? Лишь в Церкви может быть найдена полнота жизни. Ныне полнота достижима лишь в моменте встречи двух религиозных правд: Церкви и культуры. Глубочайший переворот, настоящую революцию должны пережить в этой встрече и культура и Церковь. Хотя неуместно говорить о революции в Церкви, ибо Церковь не может отказаться от прошлого, носит всегда с собой раз обретенные сокровища, но ее отвычка от роста, от движения, от нормальной для нее живой жизни так велика, что она должна ощутить в себе начало роста как некий переворот. Говорят об исполнении Церкви, и это единственно точное название. Но разное бывает исполнение, и не может не протекать быстро и бурно восстание к жизни после столь долгого сна. По существу же речь идет только о новых побегах, о новом почковании на старом стволе.

Велико обаяние Церкви, не только живущих в ней даров, но и ее святой недвижности. Страшно, приближаясь к ней, возмутить

ее покой. Особенно страшно пришельцу, надорванному, разуверившемуся в своих силах. Страшно эстету прикоснуться к цельной и законченной красоте. Слишком много приходит в Церковь эстетов и инвалидов, жаждущих Византии, а не Христа. Убаюкивают чары канонов, душа полна одной молитвой: «Даждь ми слезы умиления». Оттого так бесплодны часто «обращения» и возвращения в Церковь людей культуры – для Церкви бесплодны. В сущности, бесплоден для нее оказался религиозный перелом начала прошлого века. Святая старина без остатка его поглотила. И за нынешнее берет страх. Слишком много покорности. Но не покорности сейчас требует от нас Христос, а свободы. Должна, наконец, раскрыться в Церкви Его истинная свобода. Как искушение, мы должны преодолеть очарование тысячелетней недвижной красоты. Наш удел – оставить теплый отчий дом и выйти на дорогу, в безвременье, вслед за скитальцем Христом.

МЕЖДУ ЦЕРКОВЬЮ И КУЛЬТУРОЙ

> ..не надо забывать, что индивидуальное возвращение в Церковь и духовное личное возрастание не спасает и не обновляет эпоху, ядовитое дыхание которой все равно продолжает отравлять юные души. Нужен эпохальный перелом, и все мы, кто «из страны далече» вернулся, подобно блудному сыну, в Отчий Дом, должны думать об этой задаче.
>
> В. В. Зеньковский.
> *«Наша эпоха», 1952.*

Статья Георгия Федотова «Дерево на камне» первоначально была опубликована в парижском богословском сборнике «Живое предание: Православие в современности» в 1937 году. Наш советский опыт безошибочно подсказывает расшифровку этих четырех цифр: они обозначают смерть, к которой были окончательно приговорены в это время в России и Церковь, и культура. Проблема их взаимоотношений – одна из центральных тем русской религиозно-философской мысли первой половины XX столетия – решалась при этом не теоретически, а «жизненно-практически»: и то, и другое – в братскую могилу. Не было тогда в советской России и никакой «современности», понятной как момент «европейской» истории.«Цветущая сложность» культуры уступило место «простому, как мычание». Церкви же коммунисты отвели место в пространстве небытия, где она должна была существовать в форме декларации о собственном наличии.

Иное дело-эмиграция. В среде российских интеллектуалов в изгнании с особой силой звучал в это время пафос культурного творчества, но такого, которое неотделимо от поиска религиозного основания творимой культуры, от ее воцерковления. Вся традиция русской мысли вынуждала думать о культуре перед лицом Церкви и о Церкви перед лицом культуры. Именно в соединении этих двух сфер мыслилась искомая полнота жизни, причем не в масштабе отдельной личности, но в масштабе общества, ибо как Церковь, так и культура – реальности интерсубъективные, не умещающиеся в пределах индивидуума. Многие и пришли в Церковь через культуру, отшатнувшись в ужасе от наступающего варварства и осознав вместе с Мандельштамом, что в XX веке культурный человек не может не быть христианином.

С другой стороны, в эмиграции произошло новое открытие Церкви. Оно стало новым потому, что было вызвано необходимостью *создания* Церкви, то есть собирание людей в церковные общины и устроения церковной жизни. *Там* не было никаких внешних признаков церковности – великолепных храмов, монастырей, святынь, а были только люди с отрезанным прошлым и неизвестным будущим, изгои потерявшие все. Одного только нельзя было их лишить – Бога. Но чтобы жить с Богом, надо было из толпы беженцев *стать Церковью*, и поэтому Церковь переживалась ими так напряженно и осмысленно.

Так в опыте русской эмиграции Церковь и культура сосуществовали, оставаясь вместе с тем в проблематичном противостоянии, что многими ощущалось как внутренняя раздвоенность. Только через преодоление этой раздвоенности можно было достичь полноты жизни, что и стало для Г. Федотова задачей, требующей творческого разрешения.

А в России должны были пройти десятилетия, прежде чем мы стали свидетелями «реабилитации» и культуры, и Церкви. Сегодня, постепенно пробуждаясь от «культурного сна», мы обнаруживаем подлинные очертания нашей *современности* – имея в виду современность в масштабе всей мировой «европейской» цивилизации. Но разве не должны мы откровенно признать, что в отличии от того, что можно назвать культурой, Церковь поныне остается для нас в лучшем случаи иксом: никто не знает что она такое на самом деле. Две крайние ее оценки очевидным образом проходят мимо ее тайны. Первая: Церковь – это мифологическое образование, мертвый хлам прошлого, убежище для тронутых и «правых»; она не имеет никакого отношения к истине человеческого существование. Вторая: Церковь – единственная и тотальная истина человека, отвергаемая бесчеловечной современностью; все, что вне Церкви, – ложь и сатанизм, и только в ней национальное и нравственное спасение.

Эти крайности свидетельствуют, что наша сегодняшняя ситу-

ация, хоть и предполагает существование Церкви в обществе, есть вместе с тем ситуация принципиального развития между Церковью и современной культурой. Можно сказать определеннее: культура не знает Церкви, но не столько из нежелания знать, сколько по причине невозможности встретиться с Церковью в пространстве культуры. И если русская религиозно-философская традиция ужу заняла в этом пространстве достаточно прочное место, то, с другой стороны, очевидно, что, сама по себе она не представляет Церковь, не дает подлинного знания о Церкви.

Церковь остается вне культуры, несмотря на многочисленные демонстрации памятников древнерусского искусства. В новое, постсоветское, время Церковь в целом продолжает молчать, как молчала «при коммунистическом режиме». Это молчание выражается прежде всего в том, что язык, на котором она говорит с обществом, в большей степени скрывает, чем сообщает нам хранимую Церковью религиозную истину. Жизнь Церкви явлена почти исключительно в богослужении. Церковь служит Богу и богословствует «для внутреннего пользования», но для «внешних» это богословствование является не чем иным, как молчанием о Боге.

Нельзя сказать, что Церковь совсем не проповедует, но верно и другое: проповедь эта не является тем, чем быть призвана, то есть истолкованием опыта Церкви и донесением его до конкретных, живых и неизбежно современных людей. Нет, речь не идет о том, чтобы, преподавая Закон Божий или богослужебную символику, научить человека пользоваться религиозным языком. Напротив, истолкование есть выражение некоторого внутреннего опыта в терминах современной человеку культуры, на ее языке. Именно это и совершила Церковь в лице своих учителей и святых в эпоху поздней античности и тем положила начало средневековой христианской культуре.

Наша Церковь прибывает сама в себе, она – самодостаточна. Она не следует примеру апостола Павла, проповедовавшего «неведомого Бога» в афинском ареопаге. И причина этого не в том, что у нее не хватает «кадров» истолкователей или средств на их подготовку. Причина глубже – она в том, что вся жизнь нынешней Православной Церкви в России, все ее пастырствование не ориентировано на современность, что она не принимает всерьез – как упрямую реальность факта – «здесь и теперь» культуры и истории. Самым странным образом церковное сознание признает только прошлое – золотой век христианского мира и не желает признавать настоящее. По всей очевидности, Церковь сама себя обрекает на не-со-временность. И опять-таки дело не в том, что она стремится быть верной вневременной истине и поэтому отказывается подчиняться тирании преходящего духа времени – Церковь и должна являть верность Истине прежде всего. Несовременность означает другое: отказ принимать историю всерьез как человечески значимый

опыт и как единственно возможное поле для христианской миссии. За этим отказом стоит нечто очень существенное. На самом деле, когда Церковь говорит сегодня с человеком, она поступает как врач, предлагающий поставить пиявки туберкулезному больному.

Мы, кажется, все больше начинаем осознавать, что живем в эпоху полного забвения Бога Церкви. Новое время спорило с Церковью, новейшее – просто не замечает ее. Современный человек – это человек без Бога, но не потому, что он Его потерял, и даже не потому, что он ничего о Нем не знает, но потому, что он подсознательно – смутно, но неопровержимо – знает: Бог был окончательно опровергнут задолго до того момента, когда он, современный человек, родился на свет. Истину о состоявшемся разоблачении несуществования Бога современный человек наследует от отцов, то есть воспринимает уже как истину традиции. Безбожие к нашему времени приобрело всю силу традиции, а спор с Богом и против Бога утратил смысл; содержание этого спора уже неизвестно и неинтересно никому, как дела давно минувших дней. Если же современные люди еще говорят сегодня о Боге, то эти разговоры и вопрошания остаются в буквальном смысле секулярными, никак не связанными с опытом Церкви. Вслед за «смертью Бога» умерло само слово «Бог» – оно потеряло смысл для человека. Если оно еще что-то обозначает в современном языке, то только вопрос, на который нет определенного ответа. Ответ Церкви перестал быть ответом, потому что она говорит на каком-то ином, забытом наречии.

Современный человек живет в мире безнадежно пустом и бесконечно горизонтальном – в мире, в котором воистину нет почти ничего, кроме движущейся материи. Он может вскрывать разные слои горизонтального мира, обнаруживая подсознание и биополе, астральные планы и внеземные цивилизации, постигая структуру материи и устройство вселенной. Но негде он не находит Бога. Пустота мира в том, что в мире нет никого, кто бы со-ответствовал человеку, нет Другого, который, будучи не от мира, присутствовал бы в мире, был открыт для общения, был рядом. (Может быть, поэтому человек так стремится установить контакт с кем-нибудь, похожим на человека: от дельфинов до инопланетян.)

Освободившись от Бога, человек стал абсолютно свободен. Он приспособился жить самостоятельно, в совершенной автономии от всего, что не есть он него мир. Бог уже давно не враждебен человеку, потому что Его нет. XIX век еще жил пафосом богоборчества, тогда Бог был еще опасен: Он угрожал человеческой свободе, был врагом истории, разворачивающйеся в бесконечность гуманистического будущего. Но потом гуманизм окончательно победил, и теперь у него новый враг, которого он создал собственными руками: сам мир – природа, с которой, как казалось, можно было войти в родственное общение после «смерти Бога». Природа не поддалась технологиче-

скому укрощению и стала опасна: она мстит за цивилизаторство и угрожает новыми бедами.

Сегодня безнадежно устарели все разговоры о секуляризации, потому что она давно закончилась. Наша эпоха – это уже эпоха не постхристианская, а пост-постхристианская. Современность не располагает никакой достоверной информацией о Боге. Сегодняшние искания – там, где они наиболее глубоки, – совершаются под знаком поиска подлинности, благой первоосновы жизни, возврата к вечному и святому. Начинается сакрализация секулярного мира, поиск священного, однако – не в Церкви. Чаще всего не в Церкви. Церковь уже давно ведет параллельное, вполне призрачное существование, и не стоит думать, что это относится только к Западу, как кажется некоторым. Структура личности современного человека нерелигиозна, что не мешает ему быть иногда суеверным. Церковь же остается религиозной институцией для религиозных людей, т. е. тех, у кого есть «Бог в душе». Но этот Бог, даже если Он сокрыт в глубине индивидуума, отсутствует в обществе, которое эти индивидуумы составляют. Церковь не воздействует на эпоху, не меняет мира.

ЧтоВ же тогда Церковь для современного человека? – Нечто наличествующее, но при этом вполне бессодержательное. Местами еще делаются попытки уразуметь Церковь в прикладном смысле: как источник моральных ценностей, как хранительницу древностей, как защитницу национальных святынь, как родоначальницу просвещения. Но для «внешних» Церковь уже не содержит в себе Бога, не указывает на Того, Кто день и ночь стоит у «внутренней двери» сердца и стучит: «Се, жених грядет...». Поэтому-то, вспыхнув, так быстро погасла у общества надежда на то, что у Церкви можно брать уроки нравственности... Поэтому духовность, которую многие искали в Церкви, так скоро обернулась национал-патриотизмом...

Унаследованная нами от Нового времени гуманистическая культура – безбожна. Церковная практика, почти умещающаяся в рамки культа, – внекультурна. Поэтому, когда мы обращаемся сегодня к христианству, пребывая в пространстве культуры, мы оказываемся перед двумя искушениями: или, приняв христианство со всей его культурно-исторической плотью, редуцировать его до культурного феномена, или в стремлении к мистической обостренности веры пренебречь культурой вообще, а значит, и ее христианской составляющей в частности, т. е. в поиске духовной правильности отбросить всякую двусмысленность, неизбежно порождаемую жизнь плоти. Поддаться первому искушению – значит обезбожить христианство, поддаться второму – развоплотить его. В первом случае история (и ее современность, в частности) поглощает то, что ей неподвластно, во втором – за историей отрицается способность

иметь христианский смысл, быть значимой для духа, устремленного к Богу. По существу это «или-или» соответствует тем крайностям в оценке Церкви, о которых мы говорили вначале.

Для утилитарного культуртрегерства никакие мистические реальности христианства сами по себе не представляют интереса. Более того, можно смело утверждать, что Сам Бог – то есть та реальность, которая предполагается за этим словом, – в этом случае есть нечто именно некультурное. Эта реальность может интересовать фанатиков, тронутых на религиозной почве, или искателей смысла жизни, но не культурно-уравновешенных людей. Последние могут заниматься, скажем, Владимиром Соловьевым, однако при этом предметом их культурного интереса будет мыслитель и его мировоззрение, система, но ни в коем случаи не Бог – предельное основание этой системы.

В этом проблематичность христианской культуры и ее наследия для современного человека. Готический собор, устремленный ввысь, воспринимается сегодня, как правило, безотносительно к смыслу, вектору его устремленности. И даже самые ученые и утонченные знатоки христианской культуры оказываются в одном потоке с толпами туристов, ежедневно пробирающихся через древние храмы, будь то Нотр-Дам или соборы Троице-Сергиевой лавры.

«Бог философов?» – Да, от Него не уйдешь, Он остался в истории философии. Бог поэтов «в белом венчике из роз». – Да, конечно, это принадлежит поэтическому откровению. Но только не Бог Авраама, с Которым можно говорить, к Которому можно и нужно выражать свое отношение! Нет, речь идет не о Боге религии, перед которым перечисляют грехи, которому жалуются на жизнь и у которого просят об исполнении желаний, – речь о Боге, перед лицом которого живут, зная о Его присутствии.

Тут возникает, однако, самый главный вопрос: а надо ли искать Бога? Разве культуры не достаточно для человека?

А с другой стороны, разве можно вернуть Бога? Воскресить Того, Кто умер, не сумев доказать Своей истины? Не будет ли такое возвращение к христианству искусственным, если не сказать прямо – лицемерным?

На эти вопросы нет и не может быть универсального ответа. Утверждать можно следующее. Бога нельзя «приватизировать», и Церковь – видимая, институциональная Церковь – не обладает всеми правами на Бога. Дух дышит, где хочет, и никто не знает, откуда Он приходит и куда уходит (Ин. 3, 8). И Бога нельзя декретировать – провозгласить и так вернуть в мир. Царство Бога, если и приходит в мир, то не «приметным образом» (Лк. 17, 20). Поэтому, в конечном счете, каждый сам открывает Бога, или открывается Богу. А тем, кто еще не открыл Его, остается прислушиваться

к опыту других и в этом опыте искать ответ на свой собственный, глубоко личный вопрос о Боге.

Одно из таких свидетельств мы слышим из уст знаменитого апостата и глубокого исследователя «смерти Бога». Мартин Хайдеггер в конце своего жизненного и философского пути пришел к следующему выводу: «Только Бог еще может нас спасти. Нам остается единственная возможность: в мышлении и поэзии подготовить готовность к явлению Бога или же к отсутствию Бога и гибели; к тому, чтобы перед лицом отсутствующего Бога мы погибли... Мы не можем призвать Его мыслью; мы можем, самое большое, пробудить готовность ожидания».

Хайдеггер говорит нам это из пространства европейской современной культуры. Находясь на своем месте, он не может ничего сказать о Самом Боге. Он утверждает, что отсутствие Бога в мире тождественно гибели. Он допускает возможность явления Бога. Для него очевидно, что это явление невозможно помимо самого человека, ибо явиться – значит явиться нам, что предполагает нашу способность видеть и принимать являющееся. Поэтому речь идет о готовности, однако эта готовность представляется столь немыслимым и невозможным делом, что готовности к явлению Бога должна предшествовать готовность ожидания, которую еще надо пробудить или подготовить.

Такова позиция европейского философа, в прошлом – христианского богослова, воспитанного в недрах католической Церкви. Самое характерное в этой нецерковной позиции человека, снова указывающего нам на Бога, в том, что это позиция чисто интеллектуальная. Речь идет о «мышлении и поэзии», и говорит мыслитель, осмысливающий современную ситуацию. Оставаясь только мыслителем, он вынужден констатировать неспособность мысли призвать искомого Бога. Преодоление «культурного» подхода, новизна заключается в однозначном утверждении необходимости настоящего Бога, но дальше начинается невозможное для культуры. Бог есть Тот, Кого призывают, чтобы обрести. Бог не «наличествует» в мире и человеческом опыте. Мышление же, являющееся одним из конститутивных элементов культуры, есть нечто принципиально отличное от «призыва» – молитвы, обращения к «неведомому Богу», смысл которого в том, чтобы Бог, отсутствующий в мире, стал присутствовать в человеческой экзистенции, т.е. стал фактом опыта.

Чем же в этой ситуации является русская религиозная философия нынешнего столетия, то религиозное движение, которое обозначило возврат к христианству многих представителей русской культуры?

Движение это происходило на виду у всех, пока его участники шли от марксизма к идеализму, расставляя вехи на пути, но потом приобрело характер погружения в духовные глубины. Сказав послед-

ние слова обществу de profundis, его протагонисты скрылись в Церкви – за вратами храма. За редким исключением, все они ушли в церковный мир, параллельный господствующей нецерковной культуре, создавая там мир паракультуры. Географически она оказалась на Западе, в эмиграции. Сейчас в России мы прилежно твердим зады этого движения, часто впервые знакомясь с тем, что происходило на пути. Но, как правило, до конца мы не идем с теми деятелями русского «религиозного ренессанса», что ушли в Церковь, потому что та Церковь, которая выжила в советское время и проявилась сегодня после «реабилитации» в России, – это Церковь «культурного молчания». Церковь *только* молитвы и обряда. Она не обнаруживает своего культурного измерения, не являет современной параллельной культуры, то есть такой, которая содержала бы в себе опыт не отрицания, а духовного преодоления напрочь забывшей о Боге современности. То, что мы видим в этой Церкви – что является нам в звуке, в цвете, в камне, в движениях, в священных словах, – не больше чем воспоминания о христианской культуре прошлого, тогда как современность требует другого: пробуждение готовности – нет, не ожидания Бога, но – обращения к Богу. Обращения не к религиозному прошлому цивилизации, а обращения из недр нынешнего века к непреходящему настоящему века будущего.

Гуманистический мир пуст, пока он остается только горизонтальным миром, населенным гуманистами. Абсолютно автономный человек – это человек абсолютно одинокий, смертник, ожидающий исполнения приговора в камере смертников. В своем собрате он видит только себя, но себя – в качестве соперника. Поэтому панчеловеческий мир – это мир неиссякающего раздора и противоборства, войны, в которой не может быть победителя. Борьба с самим собой в другом – бесплодна. Если человек призван к напряжению и борьбе, к преодолению овладевающей им инерции существования, то, конечно, он должен стремиться только к тому, чтобы «высшее начало» побеждало его в неравной борьбе, – «чтобы расти ему в ответ». А для этого надо выйти навстречу этому высшему началу, то есть открыться общению и борьбе с Богом. Знание о *таком* Боге содержит в себе Церковь – новый *Израиль* (что значит – «борющийся с Богом»).

Не означает ли это, что Церковь может и должна предложить современному человеку гуманистическую альтернативу – гуманизму секулярному, гуманизму отчаянного выживания, который, перестав числить среди своих врагов Бога, пребывает в борьбе с новыми врагами, порожденными самой гуманистической цивилизацией. И не содержит ли опыт тех, кто, как Федотов, свободно обратился к Богу Церкви и вошел вовнутрь Церкви, не покидая при этом пространства современной культуры, не содержит ли он опыта свободы, которая не является принципиальным отрицанием новоевропейской «безбожной свободы»?

Русская религиозно-философская традиция указывает нам на Предание Церкви. Она не может доказать Бога и Церковь, но свидетельствует об опыте пути блудного сына – к Отцу, в отчий дом. Однако из этого не следует, что идти за ней, по ее вехам – значит совершать переход из мира культуры во внекультурный церковный мир. Ее призыв означает другое: несмотря на то (или, наоборот, по причине того) что христианская культура как культурное измерение христианской эпохи осталась в прошлом, а современность есть культура забвения Бога, обращение к Богу Церкви необходимо влечет за собой творческую задачу созидания христианской культуры. (Именно осознание этой задачи принципиально отличает церковное сознание от сектантского.) Поэтому сегодня Церковь оказывается в ситуации, подобной той, что была в эпоху воцерковления эллинизма: культурное – по существу миссионерское – дело Церкви есть воцерковление современной культуры, именно той, которая возникла из пафоса секуляризации, т.е. освобождения от средневековой Церкви и ее Бога. Если Церковь является тем, чем себя заявляет, – причастием животворящей Истине, у нее не может быть другого пути. Как бы парадоксальна ни была задача воцерковления безбожной культуры, сегодня Церковь, игнорирующая исторический опыт Нового времени, остающаяся в новую эпоху только реликтом, пережитком прошлого, «не пользует нимало» этот мир, даже если она содержит знание об истинном Боге. Не отдельные души, но современный мир в целом. И теперь, полвека спустя, становится еще яснее правота Георгия Федотова: у Церкви есть только один путь к нам, людям XX столетия, – это путь утверждения и возвещения личности и свободы – ценностей Нового времени, но в новом для давно уже безбожного мира Свете, источник которого – Бог живой, Бог Авраама и Иисуса Христа.

Да, гуманизм показал свое бессилие, и цивилизация наша – плоха. Но, с другой стороны, цивилизация и хороша, а главное – неизбежна, неотменима: она есть исторический факт. И так же неотменяем и необходим в реальных исторических условиях гуманизм, доставшийся нам от нового времени и рожденный в противоборстве со временем старым. Героическим безбожием наших отцов и дедов нельзя пренебречь, его нельзя презирать – это был значимый и серьезный экзистенциальный опыт, который невозможно зачеркнуть и объявить небывшим, предлагая детям безбожников вернуться к Богу. Этот опыт у нас в крови. Мы уже не можем и не вправе отказаться от нашей «страшной свободы», завоеванной через богоубийство, ради того, чтобы вернуть Бога. Не можем отдать гуманизм, несмотря на его историческое бессилие, очевидную поверхностность и даже онтологическую ложь. Более того, внимательное отношение к богоборческому гуманизму – и на это тоже указывает Федотов – вскрывает в самом этом восстании против средневекового Бога и за

свободу человека христианские истоки и христианский смысл.

Так мы приходим к следующему выводу: при современном возвращении в Церковь речь может идти только о возвращении к христианскому гуманизму и христианской свободе, причем таким, которые с прибавлением предиката «христианский» не утрачивают ни персоналистического смысла, ни качества свободы. Это и есть тот синтез, стремление к которому было пафосом русского религиозно-философского движения в его последней – *богословской* – фазе. На этом этапе русская мысль обратилась к церковной традиции, но не столько в благочестивом поклонении, сколько в историко-критическом поиске. Традиция эта открылась ей именно в ракурсе свободы, на путях которой только и можно встретить неумершего Бога. Богословие, истоком которого был религиозный поиск, не может занимать позицию *против*: гуманизма, культуры, цивилизации, плодов автономного человеческого творчества (какими двусмысленными ни были бы эти плоды). Позиция «против» как позиция борьбы не на жизнь, а на смерть – это позиция в принципе антикультурная. Если она и может создавать паракультуру, то только такую, которая неизбежно будет терять черты культуры вообще.

Богословие не может не видеть двусмысленности всякого человеческого опыта, в котором всегда переплетены и «да» и «нет» – миру, человеку, Богу. Но оно видит также, что всякой человечности врожден *образ Божий* – образ Бога, ставшего Человеком, что даже в самых извращенных стремлениях человек ищет исполнения этой заданной ему богообразности. Оно видит как правоту, так и ложь – как отрицаний, так и утверждений современного гуманизма. Однако эта способность различения возникает у богословия тогда, когда оно вполне сознает двусмысленность самой христианской культуры прошлого: если не ее богословскую ложь, то по крайней мере богословскую недосказанность и недостаточность средневекового христианства; если не ложную теорию, то слишком хорошо известную истории псевдохристианскую и откровенно антихристианскую практику в жизни церквей и христианских народов, которая не была адекватно осмысленна теоретически.

Различение есть высший духовный дар в Церкви. Он не тождественен аналитической способности ума, сопоставляющего и сравнивающего явления на определенном, первоначально принятом основании. Источник различения – не произвольная посылка, но некоторый опытный критерий, обретаемый «по ту сторону добра и зла» – в Свете, в котором нет никакой тьмы, который тьма не может объять. Поэтому богословие утверждает, что без живого Бога Церкви и опыта общения с Ним нет для человека ни «Бога», ни знания последней правды о собственном существовании. Церковь не может пройти мимо современной культуры, если хочет остаться верной своему призванию, но и культура, если хочет быть не культурой умирания и гибели, нуждается в Церкви и ее опыте – опыте

воцерковления автономного человеческого творчества, приведения его в соответствие с богообразной свободой человеческой личности. Ибо Церковь, несмотря на свою культурную беспомощность перед лицом ультрасовременного мира, поныне остается опытом Бога в мире – Церковью Богочеловека Христа.

Подводя итог, нужно сказать со всей определенностью, что русская религиозно-философская традиция кончилась. Она исчерпала себя, и попытка ее реанимации, или возрождения, могут привести только к тавтологиям, к повторению пройденного. Как это ни странно может звучать, наше время есть время богословия: осмысления тайны Церкви, содержащей в себе тайну Бога – Бога как последнюю тайну человека и мира. Богословие есть дело Церкви и одновременно дело культуры. Между Церковью и культурой может быть только один посредник – богословие, имеющее церковные критерии для различения и говорящее на языке современной культуры (или, что то же, претворяющее свой язык, рожденный в культурном контексте, в язык самой культуры). Так было в то время, когда Церковь завоевывала мир. Она потеряла свои завоевания, потому что забыла, что мир есть история и поэтому его необходимо завоевывать постоянно – ежедневно и ежеминутно. Теперь, когда оказалось, что история и Церковь разошлись, эта задача встала вновь и с новой силой.

Есть, однако, одно непременное условие для того, чтобы богословие смогло стать таким посредником: предметом его должны быть не религиозно-философские системы и не культурные срезы христианства, но нечто обычное и вечное: мир, человек, Бог. Одним словом – первореальности, а не вторичные продукты даже и богословского творчества, доставшиеся нам в наследство. Этот реальный «цивилизованный» мир. Этот современный безбожный человек. И всегда тайный, сокрытый, но являющий себя Бог. Бог как соучастник в человеческом бытии, как Свет и как Жизнь. Бог, являющийся человеку только в свободе – в пространстве ненасилия, в котором хочет жить современная человеческая личность.

«Наш удел – выйти на дорогу», – говорит Федотов. На ту историческую дорогу, по которой идет безбожный мир. Ведь Христос пришел спасти мир и умер человеческой смертью «за жизнь мира». В противном случае можно окончательно потерять и мир, и Христа и остаться в замкнутом религиозном пространстве, которое ничем не лучше безбожной гуманистической цивилизации.

А. КЫРЛЕЖЕВ

Андрей З у б о в

ВОСКРЕСЕНИЕ ИЛИ РАЗВОПЛОЩЕНИЕ?

Часть человечества, именовавшая себя еще не так давно «христианской», теперь о Христе вспоминает нечасто. Увлеченная оформлением и украшением своей земной жизни, усыпленная богатством или грезой его, она почти совершенно забыла о том, что и богатство, и красота, и сама жизнь неизбежно временны, проходят, как роса на траве, – взошло солнце – и нет ее. Впрочем, для нашего общества, пережившего почти апокалиптические горести и страдания, процесс исцеления от коммунистического кошмара оказался и поиском целей более прочных, нежели житейское благополучие, удовольствие, земная слава. Изголодавшись по подлинной жизни, некоторые из нас жадно устремились к Западу, другие же, ощутив, что под своей изысканной одеждой западный европеец скрывает столь же слабое и не защищенное от сил времени и пространства тело, так же страдает бесцельностью и бессмысленностью бытия, забываясь в суете и блеске бегущей повседневности, – эти другие обратились к Востоку. Восток, извечный хранитель духовного основания человеческого существа, с готовностью ответил на запросы страждущих наших душ. И вот – проявились на площадях необычно одетые юноши и девушки, продающие Бхагавадгиту, на стендах объявлений – приглашения в группы медитации чань- буддизма, в общества Агни-йоги, рамакришны.

Андрей ЗУБОВ – родился в 1952 г. в Москве, окончил Московский государственный институт международных отношений в 1973 г. Работает в Институте востоковедения Российской Академии наук; политолог, автор двух монографий и многих статей по политологии, религиеведению, истории русской философии. С 1988 г. преподает историю религии в Московской духовной академии. Доктор исторических наук.

Для человека, только что ощутившего, что мир не так прост, как пытались представить его в советской школе, это новое знание не может не быть привлекательным. Оказывается, что наше тело, с которым мы безусловно связываем себя и которое так безнадежно стареет и неизбежно умирает, исчезая потом в кладбищенской яме или в печи крематория, оказывается, что тело это не есть личность наша, но ее временная служебная оболочка, вроде костюма или инвалидной коляски.

Восточная медитация, если, конечно, это не чистой воды шарлатанство, учит как раз отличать от тела личность, душу, атман, если речь идет о кришнаизме, или тела сущности и блаженства (дхармакая и самбхогакая) в эмпирическом теле, коль мы касаемся учения чань-буддизма. Более или менее быстро добившись этого умения, адепт сосредотачивает все свои силы на очищении атмана от всего того, что привносится в душу чувствами и что мешает достижению тождества между духом человеческим и Высшим Началом мира. Опять же и в осознании этого Высшего начала и в путях к нему восточные религии очень несходны – речь может идти и о личном Боге – Шри-Бхагаване кришнаизма, и о безличном Брахмане адвайта-веданты, и о нирване буддизма. Но в том, что конечная цель достигается внутренней сущностью личности (или через осознание своей личной единосущности личному Господу, или через угашение личности) при отбрасывании тела в момент смерти, как ракеты-носителя «за ненадобностью», не сомневаются ни индуисты, ни буддисты всех школ и направлений.

Более того, всем этим учениям, во многом столь несходным друг с другом, присуще убеждение в перерождении. Буддисты, отрицающие личную душу, непоследовательно, а индуисты вполне последовательно учат, что в зависимости от дел, совершенных в теле, душа после развоплощения вновь вселяется в худшее или лучшее тело – божественное, человеческое, демоническое, древесное или животное и попадает в обстоятельства, предпосылки которых были созданы в прошлом рождении. Постепенно улучшая себя, свое подлинное нетелесное «я», адепт может вырваться из цепи рождений и достичь высшей цели – успокоения в Брахмане, нирване или слиянии со Шри-Бхагаваном. Разные школы учат об этой цели различно, но во всех случаях ни для тела, ни для души как средоточия чувств, в мокше и нирване места нет. Эти мешающие оболочки должны быть сброшены, и тогда адепт сольется с Высшим в одно целое.

Стройность, логичность и оптимизм этих для многих новых учений так велики, что о «старом» христианстве как-то неловко и вспоминать рядом с ними. Вновь обращенный получает систему видения мира столь цельную и убедительную, что для сомнения места в ней, кажется, не остается.

И все же обыденный наш опыт не желает мириться с неважностью тела. Умирает тело. Душа бессмертна и только выходит из плотской оболочки, а мы уверенно говорим: *«человек* умирает». И не только мы, духовно огрубевшие, потерявшие вообще религиозное измерение бытия, но и п редки наши в эпохи более просветленные, в века напряженнейшей мистической жизни выражались точно так же. «Иисус сказал им прямо: Лазарь умер...» (Ин. 11, 14). Почему же Тот, Кто учил, что верующий в Него «не вкусит смерти вовек» (Ин. 8,51), что душа человеческая дороже целого мира (Мф. 16, 26), так определенно и последовательно называл смертью *человека* гибель его тела? И те, кто слушали Иисуса, вполне понимали это Его слово. На сообщение о смерти Лазаря апостол Фома отвечает: «пойдем и мы умрем с ним». «Иисус, придя, нашел, – продолжает далее повествование евангелист Иоанн, – что он уже четыре дня во гробе». Не тело Лазаря, а именно *он сам.*

Что это – привычная фигура стиля? Странности иудео- христианского видения мира? Не будем спешить с ответом. Заметим лишь, что «фигуры стиля» просто так не возникают. Какой-то опыт необходим для превращения случайных слов в устойчивый образ. А образ смерти, как смерти именно человека, а не только тела его, присущ всем, кажется, языкам и народам. И со спецификой иудеохристианства не следует нам очень торопиться. Не одни иудеи, не одни христиане видели в смерти тела смерть человека. Вот, например, великий Гомер: «Многие души могучие славных героев низринул //В мрачный Аид и *самих* распростер их в корысть плотоядным// Птицам окрестным и псам... (Ил. 1, 3).

Да, прошло несколько столетий от написания «Илиады», и эллины стали считать тело «клеткой души» – но не всегда было так. И о том, что мертвое тело имело немалое значение в посмертной судьбе человека, говорит обряд погребения. Мы как-то забываем, что предание умерших земле есть дань глубочайшему и древнейшему убеждению в том, что тело надо вернуть в ту среду, из которой взято оно. Если греки классической эпохи (т.е. того времени, о котором повествуется в поэмах Гомера) предпочитали хоронить знатных людей в богатых гробницах, а простолюдинов в обычных земляных могилах. Но и классические эллины после костра собирали останки в урну и предавали земле. И так поступали издревле и поступают до сих пор многие и многие народы.

В марта 1908 г. швейцарский археолог Отто Гаузер обнаружил в долине Везеры, во Франции, погребение неандертальского юноши. Это открытие произвело сенсацию, и ученые продолжают спорить о нем и о подобных ему, обнаруженных с той поры, с большим жаром. Дело в том, что позитивистская наука конца XIX – начала XX века считала религию поздней выдумкой человечества. И вдруг – погребение, которому не меньше ста тысяч лет, и погребено существо,

которое и человеком-то не просто назвать, по крайней мере это совершенно определенно не Homo Sapiens. Много говорилось после находки о случайном характере погребения, о чисто гигиенической потребности в изоляции от воздушной среды мертвого тела. Выдумывались и продолжают выдумываться совершенно невероятные по сложности теории, почему неандертальцы, не веря ни в загробную жизнь, ни в Бога, решили хоронить своих мертвецов. А на самом деле все значительно проще. Неандерталец, да, видимо, и не он первый в ряду протогоминид, верил и в Бога, и в жизнь вечную. Здесь нет возможности подробно говорить об этом; может быть, вера древнего человека должна стать предметом отдельного разговора, но вернемся к юноше из Ле Мустье, останки которого обнаружил Отто Гаузер.

Мертвый юноша был положен в неглубокую, 30–35 см, специально выкопанную могилу на правый бок. Правая рука подложена под голову, левая – вытянута вперед, ноги согнуты в коленях. То есть телу придана поза глубокого сна. Вокруг разложили кремневые орудия, жареные куски мяса, а голову окружили большими необработанными кусками кремня. Не следует быть более наивными, чем неандертальцы, и предполагать, что люди той далекой эпохи верили, что умерший будет есть это жареное мясо и пользоваться в посмертном своем быту каменными теслами и скребками, тем более, что он из кремневых камней изготовит новые орудия. Не хуже нас с вами известно было древним, что тела истлеют в могилах, что не нужны мертвому ни еда, ни оружие. Но знали они и иное, забытое ныне – не весь человек истлевает в могиле. Обратим внимание вновь на наше язык: умирает *человек*, но истлевает тело. Некоторая духовная субстанция человека отделится от тела в момент смерти, и ей-то и понадобятся духовные субстанции пищи и орудий, для продолжения жизни. Не случайно, когда в эпоху неолита люди научились изготавливать керамику и стали снабжать умерших глиняной посудой, – ее обычно разбивали в момент похорон. Разбитому, разделенному смертью человеку требовались не глиняные горшки, но их духовные образы. Материальные же сущности подлежали такому же разрушению, как и распадающееся тело. Мысль о том, что каждой материальной вещи присуща еще некоторая духовная форма, необходимая в мире духов, – мысль эта, с трудом постигаемая нами, входила для неандертальского охотника в число обыденных истин.

Однако, разделение человека в смерти на душу и тело не рассматривалось как окончательное даже для истлевающего тела. Уже кремневые камни вокруг головы мустьерского юноши намекают на это. Ведь кремень был тогда не только заготовкой для орудий, но и средством добывания огня. Это был огненный камень, а огонь – общечеловеческий символ жертвы,

приносимой из мира людей в мир Небесный, символ преображения земного, приобретения им божественных качеств, или, как говорят на христианском Востоке, – обоженья. Не имели ли кремневые камни значения символа огненного преображения умершего?

Поздний палеолит дает нам уже безусловные свидетельства веры в будущее соединение расторгнутых смертью частей человеческого существа. Тело пересыпали красной охрой – символом крови, жизни; появляются фигурки так называемых «палеолитических венер» – беременных женщин, олицетворявших землю, которой предстоит возродить похороненного в нее. Эпоха земледелия принесла важнейшую символическую фигуру воскресения – прорастающее зерно. Брошенное в землю и довольно пролежавшее в темной ее стихии, оно с приходом весеннего солнца пробуждается, дает росток, стебель, колос и наконец – зерно. Из умершего и похороненного возникает жизнь, и жизнь преумноженная. Из тех же зерен производится хлеб, питающий наши тела и сообщающий им ту же силу возрождения. Но и о символике хлеба надо говорить особо. Для мегалитических цивилизаций Европы характерны коллективные погребения в курганах и гробницах, которым придается форма материнской утробы. Курган – вздыбленный, беременный новой жизнью живот матери-земли. Часто креативные женские органы воспроизведены в такой гробнице почти с анатомической точностью. Земля, та стихия, которая дает состав наших тел и состав пищи, питающей эти тела, – земля эта и возродит тела к новой жизни. Забота о теле умершего, все усложняющийся обряд погребения свидетельствуют об очень серьезном отношении древних к телу, о ясном понимании его значимости в будущей жизни. Тело здесь, конечно, не одежда, которую, коль скоро обветшала, можно сменить, но неуничтожимый элемент личности, без которого человека нет. Вот поэтому-то, когда умирает тело, мы безошибочно свидетельствуем, что умирает человек. Но, свидетельствуя смерть, мы чаем и воскресения, восстания из мертвых всего человека.

Как только древние приобретают дар речи «для нас», т.е., когда появляется письменное слово, эта вечная истина начинает звучать с удивительной ясностью и силой:

«Охо, охо! Восстань, о Тети!
Приими главу твою,
Собери кости твои,
Составь уды твои,
Отряхни прах с плоти твоей...
Восстань, о Тети! Ты не подвержен смерти!»

(Начертано в пирамиде египетского царя Тети, правившего в середине третьего тысячелетия до Р.Х.)

«Они воистину восстанут сами, те, которые во гробах, местопребывание которых сокрыто. Пробудись! Восставь себя! Руки твои в твоей власти» – властно звучали заклинания в гробницах фараонов VI династии Мернера и Неферкара.

Существенно, что это – не простое восстание во плоти, той плоти, какую имели они прежде, но восстание в плоти преображенной, своей, но обожженной. Именуя Господа Вседержителя словом «всеобщность, полнота» (по египетски – атум), текст из погребальной камеры пирамиды Унаса (V династия) провозглашал: «О, Унас, не ушел ты мертвым – ты ушел живым... Плечи твои – плечи Атума, чрево твое – чрево Атума, спина твоя – спина Атума... Сколь прекрасным стало твое бытие, о Унас! Стал ты ах (преображенным, обоженным) среди братьев твоих, богов. Свершилось! Свершилось!»

Начертанные на стенах, под сводами, покрытыми сплошным узором пятиконечных «звезд негибнущих», слова эти звучали уже не в тесных погребальных покоях, но на тверди небесной, в запредельном божественном мире, среди звезд – преображенных усопших (ах), поправших смерть воскресением.

Древнейшие религиозные памятники индо-ариев, гимны Ригведы и Атарваведы, содержат близкие учения о посмертной судьбе человека. Читая погребальные гимны десятой мандалы Ригведы и так называемую Книгу Мертвых Атхарваведы (XVIII глава), нельзя не заметить, что для умершего открывается путь без возврата. Путь этот ведет на Небо, к богам и тем отцам-питарам, которые, начиная с Ямы, нашли его. Весь ритуал погребения, кремации связан с перенесением, очищением плоти, а отнюдь не с ее уничтожением, с освобождением из ее клетки духа. Не случайно в 15-м гимне 10-й мандалы Ригведы Огонь-Агни именуется «кравья – вахана», переносчик плоти. «Не сжигай его, Агни дотла, не пожирай! Не испепеляй его кожу и тело! Когда приготовишь его, Джатаведас (знаток вед, т.е. Агни), то отправь его к отцам» (Ригведа 10, 16,1). Примечательно, что переход в иной мир – не мгновенный акт. После смерти состав человека соединяется со стихиями космоса: « в солнце да пойдет глаз, в ветер – атман» и т.д. «Тебя, землю, я погружаю в землю... – провозглашает совершающий обряд погребения брахман, – да будут мертвые затем вместе с отцами» (Атхарваведа 18, 4, 48). Это «затем» весьма важно. После временного распада целостного человеческого естества «Затем» должно произойти восставление умершего, «соединение с телом в цветущем состоянии» (Ригведа 10, 14, 16, 5). 52-й стих четвертого гимна «Книги мертвых» Атхарваведы не оставляет сомнений в том, что индо-арии чаяли телесного воскресения своих мертвецов: «Стал ты предназначен для жертвы, да узнают отцы, что ты ушел! – провозглашал от имени Индры брахман. – Собери по суставам тело свое. Молитвою я составляю части тела твоего».

Это столь же всеобщее, как сам похоронный обряд, убеждение, стало подвергаться сомнению на рубеже II и I тысячелетий до Рождества Христова. Древние ритуалы превращались в формальность, в обряд. Их глубинный смысл забывался. Человеческое сознание, все более склонное доверять только собственному опыту, начало с подозрением относиться к древнему учению о полносоставном восставлении мертвых. «Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? будет ли прах славить Тебя?» – вопрошает в минуту отчаяния иудейский царь Давид. А умершая Таймхоотеп, молодая супруга верховного жреца Мемфиса, египетского вельможи Пшерниптаха доходит в трагическом скепсисе об участи ушедших из жизни. до откровенной проповеди гедонизма. Напутствуя своего вдового мужа, она повелела написать на гробничной стеле: «О брат, супруг, друг, не уставай пить и есть, напивайся, наслаждайся любовью, празднуй, следуй желанию сердца день и ночь. Весь Запад – страна сна, тягостного мрака; это место спящих в своих мумиях, не пробуждающихся, чтобы видеть своих братьев, своих отцов и матерей, забыло сердце и жен и детей. Вода жизни, что на земле для живущих, для меня гниль. Я не знаю, где я, с тех пор, как прибыла в сию юдоль...»

Нет, это не полное безверие. Это сложная сумма чувств, так понятная современному человеку. Были, конечно, и такие, кто говорил, по слову Псалма, «несть Бог» (Пс. 13, 1; 52,2), но большей частью этому времени присуще сомнение, поиск истины, поиск путей спасения, победы над смертью. Древний ритуал больше не внушал полного доверия. Его плод понимали, считали, наверное, обременительной условностью. А разум подсказывал, что тело,. рассыпавшись в прах, исчезает и если на какое-то бессмертие и можно рассчитывать, то только на бессмертие души, на ее соединение с Богом, Который так же есть Дух.

Молитвенный мистический опыт, практика асккезы обнаруживали в человеке некоторое внутреннее семя, искру света, силу, как бы не ему принадлежащую. Эту-то сущность и осознали как порог личностно-безличностного, одновременно и человеческого и божественного, как сверхличное основание «я». В безбрежье скепсиса, неоглядного гедонизма – «будем пить и есть, ибо завтра умрем», – тоски по недоступной вечности, в робкой надежде на истинность старых, ритуальных знаний, как на той же стеле Таймхотеп, где сетования вдруг разрываются призывом к любимому брату-супругу: «Реки мне, не далеко ты от потока вод! Поверни у края вод лицо мое к ветру Севера, кто знает, не упокоится ли в радости сердце мое!» – во всем этом море мятущейся души новое знание (а все новое, как известно, это хорошо забытое старое) показалось спасительным огнем маяка.

Может быть, наиболее глубоко и драма, и выход из нее пережиты были индийской духовной мыслью. Вера в ведический ритуал утрачивалась. Мысль о том, что такое смерть, ужасала древнего индий-

ца. В Катха-упанишаде брахманский мальчик Начикетас спрашивает самого бога Яму, т.е. смерть: «Сомнение возникает после смерти человека – одни говорят: Он есть, другие: Его нет». На что бог смерти отвечает: «Даже боги до сих пор сомневаются здесь, ибо нелегко распознать это тонкое рассуждение» (1,1, 20–21). И вот – в Упанишадах открывается новое знание. Главное не ритуал, а осознание в себе тождества Божественному Духу: атмана – Атману. Тогда основа человека неуничтожима и в этом смысле он бессмертен. В знаменитой второй главе шестого раздела Брихадараньяки-упанишады царь Правахана Джайвали излагает брахману Гаутаме учение, которое сам текст именует «новым». Учение это – первое известие о метампсихозе, карме и сансаре в индийской религиозной литературе. Оказывается, после смерти перед человеком открываются три пути. Если он аскет, чтил в лесу «веру как сущее», то его атман сливается с Атманом, и для него нет возврата. Если он совершал предписанные ведами ритуалы и вел благочестивый образ жизни, то он возрождается в этом мире среди людей. Если же он не делал ни того ни другого, то единственная его судьба вновь прийти на землю «летающей и кусающейся тварью».

О том же говорит и почти современная Брихадараньяке- упанишаде Бхагавадгита:

Арджуна сказал:

Не аскет, но богатый верой,
в йоге сердце не удержавший,
не обретший в ней совершенства –
по какому пути он шагает?
Иль он сгинет, как облачко в небе,
на обоих путях потерявшись,
и, утратив опору, погибнет,
не достигнув Брахмана, Кришна?..
Благой Господь сказал:
Не погибнет ни в здешнем он, Партха,
ни в ином, после смерти, мире;
ведь никто не приходит к дурному концу,
кто творит здесь добро, моя радость!
Но, достигнув миров благой кармы,
проведя там бессчетные годы,
в доме чистом и благословенном
вновь родится заблудший в йоге. ...
Упражненьем упорным тот йогин,
от грехов себя всех очищая,
восходя от рожденья к рожденью,
высшей цели затем достигает.

(Бхагавадгита 6, 37, 38, 40, 41, 45).

Вскоре новое учение об «умном спасении» становится общепринятым в Индии. Его как натурфилософскую истину признают и индуизм, и буддизм, и джайнизм. С VI века до Р.Х. через Персию это знание попадает в Грецию, где связывается с именами Орфея, Пифагора и Ферекида, а несколько раньше, возможно, и в Египет. Для мятущегося западного религиозного сознания учение царя Праваханы стало соломинкой спасения. Его отблески мы замечаем и в творениях Платона, и в оддах Пиндара, и в Метаморфозах Овидия, и в шестой книге Энеиды Вергилия. Кармические представления столь популярны в античной средиземноморской цивилизации, что прорываются исподволь даже на страницы Евангелия. Увидев слепорожденного, ученики спрашивают Христа: «Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» (Ин. 9,2).. Понятно, что слепой от рождения мог согрешить сам, дабы родится слепым, только в предыдущей жизни своей души в ином теле. Так могли предположить апостолы. Но Иисус объявляет им: « Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии» (Ин. 9,3).

Этим коротким диалогом, за которым следует исцеление слепорожденного, приходит в мир новое видение жизни и смерти, приобретшее к тому времени репутацию древней истины учение о «возвращающейся смерти» и «умном спасении» оказывается преодоленным для тех, кто вскоре стали именовать себя христианами.

Дело Христа Иисуса – это Его воскресение, Его восставление из мертвых. «Воскресение Твое, Христе Спасе наш, Ангелы поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити» – с пения этой стихиры во время пасхального крестного хода начинается годичный круг православного богослужения. Слово «воскресение» – первое слово христианского года. Без воскресения, воскресения и Христа, и всех без исключения людей, не мыслима христианская вера. Поэтому-то в догматическое основание христианского вероучения, в Никео-Цареградский символ одиннадцатым членом включено: «чаю воскресения мертвых».

«Как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? – Вопрошает апостол Павел христиан Коринфа. – Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша ... вы еще во грехах ваших поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть чрез человека, так чрез человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут...» (1 Кор. 15, 12–22).

Почему же так настойчиво, так безусловно проповедует воскресение мертвых христианское учение? Христианство восприняло

древнее, еще ритуальной эпохи знание о трехсоставности человека. «Жизнь есть соединение и сочетание духа, души и тела, а смерть есть не гибель этих сочетанных частей, а расторжение их единства. Все это Бог хранит и по расторжении» , – читаем мы в наставлениях Антония Великого (2, 93).

Но что же представляют собой элементы человеческой природы? По учению Моисея (Быт, 2, 7), «создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою». Здесь присутствуют все три элемента. Тело, сотворенное из земли; дух, «дыхание жизни», вдунутое Богом и, как результат – появление живой души. Живая душа у животных творится землей. «И сказал Бог: да произведет земля душу живую, по роду ее» (Быт. 1, 24). «Душа живая» человека создается не только перстью, но и Духом, дыханием жизни, исшедшим к человеку от Бога. В этом принципиальное своеобразие творения человека, его природы.

Человек состоит из перстного, земного элемента – тела, в чем он подобен всему живому; уникального, только ему, человеку, из всех земных тварей присущего элемента – Духа Божия; и наконец, души живой, возникающей в результате соединения этих двух элементов и потому отчасти животной, перстной, а отчасти – божественной. Каждый земнородный воспроизводит первоначальный генезис. От родителей он получает плоть, в которую в момент зачатия вдувается дыхание жизни, и зачатый становится человеческой личностью, соединяющей в себе родовое перстное и абсолютное божественное начала – «душею живою».

В теле содержится вся родовая предиспозиция человека, если угодно, генетический код, передающий из рода в род, от родителей детям всю сумму качеств. Ее оживотворение Духом формирует «душу живую» – активную носительницу наследованных качеств. Активность души заключается в том, что она может свободно (где Дух Господень – там свобода) воздействовать на себя и через себя на тело, ухудшая или улучшая соматический код. Не случайно именуется душа «живой». После смерти, когда тело возвращается стихиям мира, душа благодаря особенности своего возникновения от персти и Духа (в отличие от животной anima), продолжает свое индивидуальное бытие. Она – как бы отпечаток бывшей человеческой личности и неуничтожимый зародыш, семя грядущего восстановления. Дух же возвращается к Богу, от Которого он исшел.

Здесь примечательно диалектического соотношение родового и личного начал. С одной стороны, человек включен в поток рода. Он получает себя от родителей и передает улучшенный или ухудшенный собою род детям. С другой – он навсегда сохраняет себя индивидуальностью, и в живой душе, и в уникальном, хотя и вернувшемся к стихиям мира, но в первичных своих атомах неуничт-

тожимом теле. И в то же время он после смерти уже не личность, не человек, так как элементы состава его разделились и Дух ушел из него. Он, как любит говорить Библия, «приложился к народу своему», «к роду отцов своих», то есть вошел в ту же землю, частицами которой стали тела его предков,и в тот же Шеол, обитель душ, куда сошли души их, не имеющие «плоти и костей» (Лк. 24, 39).

Родовое преемство примечательно и еще в одном отношении, имеющем для христианского учения принципиальную важность. Поскольку качества предков передаются потомкам, то род имеет некую протяженную, «вечную», совечную земле жизнь. Грех и добро отцов, свободно ими совершаемые, меняют их соматический код и трансформируют зачинаемых ими детей. Более того, поскольку род есть бесспорное преемство по плоти, дела предков заставляют радоваться и печалиться потомков.

В современном праве каждый наказывается за проступки, им самим совершенные. Не так в культурах традиционных, родовых. Не так и в Божественном законе, в Синайской теофании: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Исх. 20, 5–6). В духовном контексте принцип этот не кажется жестоким или несправедливым, так же как не воспринимается как несправедливое наказание, вынесенное судом не немедленно после преступления, но через несколько лет, или как воспринимаются неизбежными страдания детей сифилитика за развлечения отца. Столь же «естественно» страдают дети за грехи родителей в протяженности рода. Сами они лично невиновны, но с плотью получили от отца и матери не только некоторые черты физического сходства, не только некоторые способности и душевные наклонности, но и всю сумму доброго и злого, накопленного их предками.

В связи с этим ум человека обязательно задается вопросом: откуда грех? В разных религиях отвечают на него по-разному. И от того, как именно отвечают, зависит очень и очень многое в учении о спасении. В принципе если исходить из того, что Бог всеблаг, то никакая потенция греза не может быть от Него. Тогда опытное переживание греха человеком, несоответствие императива совести эмпирике собственных поступков – «не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» (Рим. 7, 15), заставляет искать источник греха или в самом себе или во внешнем зле. По второму пути пошли маздеизм, манихейство, указавшие на «второго демиурга», творящего злое, в том числе и плотский состав человека; по первому – большинство других религий. Но если источник греха в самом человеке, а человек создан Богом, а Бог есть благо, то откуда зло в человеке? Ведь Абсолютное Благо не может по естеству Своему творить зло. Проговаривая это вслух или скрывая

в тайниках души, религиозный мыслитель приходит к убеждению, что во зло было обращено благо, дарованное человеку Богом, то главное благо, которое делает его богоподобным, отделяя от всех иных форм жизни, а именно – с в о б о д а.

Индуистские и буддистские схемы деградации мира неизменно подчеркивают, что «из-за воровства, лжи и обмана дхарма исчезает четверть за четвертью» (Ману 1, 82). Однако первоначальная причина адхармы не объясняется. Миры творятся вновь и вновь, вновь и вновь деградируют, уничтожаются, снова творятся, снова деградируют... Употребление свободы во зло констатируется, но не объясняется, и, чтобы связать несоединимое – абсолютное благо Творца и деградацию мира вследствие беззакония человека, Им созданного – вводится понятие «игры» Мировой Души. «Парамештин, как бы играя, создает миры» (Ману 1, 80). Если «игра», то бессмысленно стараться понять ее внутренние мотивы, следует просто знать ее правила. Знать и как можно быстрее преодолеть их, отбросить все это хотя и совершенное, но призрачное, иллюзорное (подобно образу в уме гениального живописца) бытие и соединиться с Бытием Абсолютным, где нет игры, нет иллюзии-майи, но нет и личности, нет субъективности: «нет после смерти сознания» (Брихадараньяка- упанишада 2, 4, 12). Освобождаясь от мира, его грязи и греха, адепт неизбежно освобождается и от себя. На тех, кто думал иначе, кто надеялся сохранить субъективность в мокше и нирване, а таких среди буддистских и индуистских учителей встречалось немало, строгие ревнители истинного знания взирали с неизменной жалостью, как на бессильных расстаться с иллюзией личностной бытийности. Для тех, кто всеми силами стремится выйти из иллюзорного мира, размышлять над тем, почему в этом мире есть грех, – непродуктивно, бесполезно.

Христианство, напротив, с исключительным вниманием сосредотачивается на той начальной точке, когда свобода была обращена во зло, в противление Богу. Точка эта – грехопадение первых людей, Адама и Евы. Впервые свободно избрав зло, нарушив закон, данный Творцом, Адам и Ева положили начало греху в человеческом роде. От них стал передаваться он из поколения в поколение. И не только передаваться, но и возрастать, так как грех творит грех. Именно потому, что род есть континуум, грехи отцов «нападали» на детей, побеждали их, умножались ими и передавались дальше по цепи рождений. Человек, сотворенный свободным и богоподобным, оказался раздавленным бременем своего непослушания, бременем употребленной во зло свободы.

Если бы для христиан этот мир был иллюзией, а тело – призрачной оболочкой, не имеющей отношения к их сущности, то трагедия падшего мира не волновала бы сердце. Пусть мир лежит во зле, пусть тело наше несет на себе все возрастающее бремя родового

греха. Наша задача – выйти из тела, разорвать путы мира.

Но в том-то и беда, что сделать этого нельзя. Сотворенный мир, космос – объективная реальность, манифестация силы Божьей, и тело человеческое – часть его личности, без которой человека просто нет. Не отбрасывание изгвазданной грехом плоти, но ее преображение, очищение – вот предельная задача, «ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и она, тварь, освобождена будто от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рис. 8, 19–21) через «искупление тела нашего» (Рим. 8,23). Тварь, здесь – это вся совокупность одушевленного и неодушевленного мира, исказившая вслед за человеком в результате его греха свою природу, страдающая от этого и надеющаяся на восстановление своей доброты, качественности, через искупление, освобождение от греха единосущной всей твари человеческой телесности.

Однако чтобы освободить самого человека от суммы греха, следует изменить его соматический код, как бы заместить поврежденные молекулы ДНК неповрежденными, а это мог сделать только тот, кто в своем коде хранит такие неповрежденные молекулы. Но такого в роде человеческом, тянувшемся от Адама, обрести было невозможно. Отсюда – учение о Спасителе, существе, которое, являясь вполне человеком, было бы способно воздействовать на природу человека изнутри, а будучи чуждое греховной поврежденности – могло изменить соматический код человека, восстановить его в первозданной целостности.

Таким спасителем стал Господь Иисус Христос. Человеческая и Божественная природы сосуществуют в нем, как определил Вселенский собор в Халкидоне (451 г.), «неслитно, непревращенно, неразделимо, неразлучимо». От своей земной Матери, Пречистой Девы Марии воспринял он человеческую природу в предельно возможной для «правнучки» Адама чистоте. Собственно, вся история еврейского народа, древнего Израиля – это процесс изготовления того уникального сосуда, которым явилась Дева, вместившая полноту Бога. Конечно, при всей Своей чистоте, Мария далеко не достигала чистоты Божественной (потому о воплощении и вочеловечении Слова Божьего христиане неизменно говорят, как о величайшем чуде), но лучшего в роде земном быть не могло. А главное, Пречистая Дев свободно, не искажая принуждением божественности человеческой природы, согласилась стать Матерью Того, Кто создал и ее, и всех людей, и полноту видимого и невидимого мира. «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему», – ответила Мария Ангелу Гавриилу, сказавшему Ей о божественном замысле спасения через Нее родного ей человечества и всего космоса. Вся история человечества, все истинное и доброе, что было в нем, все учителя и пророки,

цари и священники, праведники и ревнители закона тысячелетия трудились, несли тяготы, скорби, лишения, смерть, дабы произнесены были устами Девы эти немногие простые слова. Ради слов этих покинул Авраам родной Ур и отправился в неизвестную западную страну, ради них восходил Моисей на Синай, ради них сражался и пел Давид, созидал Храм Соломон, пророчествовали Исаия и Иезекииль. Как в фокусе, сосредоточилась в словах Марии вся прошедшая история земли, ибо история началась падением человека и стала приготовлением его восстания.

Родовое преемство греха пресеклось в Плоде чрева Марии. Ни один земной отец не передал яда проступка Адама Ей в своем семени. Активным началом в этом таинственнейшем из всех зачатий стал Сам Бог. «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и раждаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1, 35), объяснил Богородице и нам Ангел. Передававшийся из века в век мужчиной через женщину телесно родовой грех здесь проявиться не мог, но сама человеческая качественность, получаемая от матери, реализовалась в полноте. С ней же оказалась соединенной не греховная Адамова, но всесильная и безгрешная божественная природа. Иисус родился вполне человеком, ни в малой степени не переставая быть и вполне Богом.

С идеей Спасителя теснейшим образом связана идея жертвы. Если любое действие влияет на соматический код его участников, то действие, имеющее положительную, т.е. к Богу, направленность, этот код улучшает. Греховность участников мешает чистоте действия и принципиальному улучшению родовой матрицы, но все же было замечено, что чем чище жертвователь и жертва, тем благотворней последствия жертвоприношения. В результате поступка наступает ситуация страдания, искупающая проступок. В этом смысл наказания. Страдание смывает грех. Но тот, кто страдает за свой грех, очищаясь от него, не меняет ни своей греховной природы, ибо она весьма глубока, ни тем более родового изъяна. Невинная жертва значительно эффективней. Именно поэтому страдания невинных младенцев и субъективно невинных потомков смывают грехи отцов и дедов лучше, чем собственные их страдания. В этом – благой смысл кары «до третьего и четвертого рода».

Но невинность даже младенца относительна. Он содержит в себе родовую матрицу греха, он страдает и за себя. Грех отца – его грех. Для спасения человечества нужна была жертва действительно невинная, а без греха – только Бог. Потому-то и происходит боговоплощение и в очеловечение, что иначе не изменить закон Адамова рода, закон греха. Тот, кто меняет его, должен быть, естественно, человеком – одним от рода людского, и, естественно, Богом, по сути Своей чуждым греха.

Добровольная и невинная жертва Богочеловека Иисуса изме-

нила природу человека и не только вернула ее в состояние до грехопадения, в Эдем, но и обожила, поскольку новый Адам, а так христиане именуют Христа, Сам есть Бог и Дух животворящий, а не творение, оживотворенное Им. Поэтому во Христе достигается состояние несравнено лучшее, чем просто райское. Человеческая природа Христа навечно слита с божественной, и подлинно включаясь через крещение, покаяние, евхаристию, через всю полноту Церкви в человеческую природу Его, сродную нам, мы обязательно обретаем и природу Бога, достигаем теозиса.

Так же, как эффект жертвы распространяется на тех, кто действием, словом и мыслью со-участвует в жертвоприношении, так же и жертва Христа актуальная для тех, кто принимает ее и соучаствует в ней в Церкви, которая, по слову апостола, есть «Тело Христово» (1 Кор. 12, 27; Еф. 1, 23). Тело это – тело воскресшее, преодолевшее смерть.

«Он был пригвожден ко кресту, подвергался оплеваниям и заушаниям, Его били по щеке и издевались над Ним... И все это Он претерпел для тебя, ради заботы о тебе, чтобы уничтожить тиранию греха, чтобы разрушить твердыню диавола, попрать узы смерти, открыть нам врата Неба, освободить от тяготевшего на тебе проклятия, отменить первородное осуждение, – учит Иоанн Златоуст. «Сам Он воскрес, расторгнув узы смерти, и нас воскресил, расторгнув узы наших грехов» (он же).

Не душа, вечный отпечаток личности, не Дух, отлетающий к Источнику жизни, но только тело могло принять новые качества восстановленного от греха человека и, приняв, передать их всем, добровольно сочетающим себя с этим носителем новой, обоженной соматической матрицы. Именно через тело соединяются христиане со Христом в таинстве евхаристии, в плоть Христову облекаются в таинстве крещения, а потому и чают воскресения плоти и воссоединения расторгнутых элементов человека – плоти, души и духа – в Последний День. Без веры в телесное воскресение христианство абсолютно невозможно, немыслимо.

Но религиям метампсихоза также свойственно учение о воплощении Бога. Беседуя с царем Арджуной, «Благой Господь» Кришна объясняет:

Много раз Я являлся в мире...
Пребывая всей твари владыкой
нерожденным, нетленным, вечным,
Я внутри Мне подвластной природы
своей майей (здесь – творческой силой, – А.З.) себя рождаю.
Всякий раз, когда в этом мире
наступает дхармы упадок,

когда нагло порок торжествует,
Я себя порождаю, Арджуна.
Появляюсь Я в каждой юге,
чтоб восставить погибшую дхарму,
чтобы вновь заступиться за добрых,
чтобы вновь покарать злодеев.
Кто так знает истину эту
Моих дивных рождений и действий, тот, рождений кольцо разрывая,
после смерти Меня достигает.

(*Бхагавадгита 4, 5–9*)

Классический вишнуизм знает десять нисхождений (аватар) Вишну, девять из которых уже были, а десятая – Вишну-Калкин – явится в конце нашего эона (юги). Их принципиальное отличие от воплощения и вочеловечения Слова-Христа в том, что соединения божественной природы с человеческой при аватаре Вишне не происходит. Бог входит в человека, действует им, учит через него дхарме, наказывает врагов, помогает достойным, защищает слабых, а когда закон сообщен мудрецам, а правда, попранная силами зла, восстановлена, развоплощается, сбрасывая телесную оболочку. Пребывание Вишну в теле человека не изменяет человеческой природы как таковой. Это и не нужно. Для веры, которая ищет только «умного спасения», соединения ума-духа адепта с мировым Умом-Духом, атмана с Атманом, цель воплощения не может не быть исключительно «умной», духовной: научить, восстановить закон, покарать его нарушителей.

Но древнее упование, знание надежды, передававшееся из тысячелетия в тысячелетие тайным учением и священнодействием ритуала, то упование, которое заставляло неандертальских охотников благоговейно доверять земле останки их близких, учило неолитических земледельцев уподоблять зерну и хлебу тела умерших; то знание, которое запечатлелось на стенах погребальных покоев египетских царей и в гимнах арийских вед, – осталось ли упование это бесплодным, знание – ложным? Для серьезного индуиста и буддиста, разумеется, да. С точки зрения христианина – нет. В древних верованиях различает христианин предчувствие спасения, ожидание грядущего искупления Адама, «воспоминание о будущем». Путались в веках сроки, за настоящее и даже бывшее уже принимались события, которым еще должно было произойти, но верило сердце человеческое в преодоление смерти, помнило, что не вечно суждено оставаться ему под игом греха. «Многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите и не видели», – говорил Христос Своим ученикам (Мф. 13, 17). Вся история, все духовные искания народов

готовили их к принятию в себя грядущего Спасителя.

Да и само учение Иисуса, Его притчи, Нагорная проповедь, чудотворения, исцеления болящих – все это только подготовка человечества к вхождению в Его воскресшее тело, то есть к спасению и обоженью. Но само спасения и обоженье достигаются не учением, но делом Господа, Его подлинным, абсолютно реальным страданием, смертью, схождением в ад, воскресением, вознесением на Небо. Для исповедующих Иисуса Христа, «пришедшего по плоти» (1 Ин. 4,2), подвиг Его единствен и уникален, ибо он простирает себя до временных и пространственных пределов космоса, охватывает все видимое и невидимое творение. Христом будет восстановлено человечество. В момент всеобщего воскресения, в день Страшного Суда каждая душа, оживотворенная тем же Духом, что когда-то животворил именно ее, найдет, соберет от стихий мира свое единственное тело. И в той степени, в какой каждый из нас действительно является частью тела Иисусова, то есть христианином, он пройдет тот же путь и достигнет, преодолев смерть, той же полноты божественности и целостности человеческого бытия, что и восставший Себя из мертвых человек Иисус Христос.

«ГОСПОДЬ – СИЛА МОЯ И ПЕСНЬ...»

Нет в еврейском Священном Писании книги более охристианившейся, чем «Псалтирь».

И по числу ссылок на нее на всех уровнях – от отцов и учителей церкви, богословов всех времен и исповеданий до скромной проповеди немудреного приходского священника.

И по числу толкований, изъяснений, парафразов, никогда не иссякавших даже в те времена, когда знакомство с Писанием – непосредственная встреча мирян и рядового духовенства с источниками их веры и религии – отнюдь не поощрялось.

И по месту, которое псалмы заняли в богослужении; достаточно напомнить, что в Русской Православной церкви они входят в состав любого, даже самого краткого чина службы, что «Псалтирь» прочитывается целиком каждую неделю церковного года.

И по значению ее в старинной системе образования: в старой Руси (чтобы не ходить за примерами далеко) она была главным учебником, по ней учились читать, а научившись, часто не расставались с нею ни при каких обстоятельствах до конца дней.

И наконец, по вкладу ее в культуру и цивилизацию всех христианских народов.

Опять-таки не станем искать примеров далеко, ни умножать их сверх меры и без нужды. Немалое число русских крылатых слов и выражений выпорхнуло из книги, приписываемой царю Давиду, да так далеко улетело, что родимое гнездо оказалось начисто забы-

Шимон МАРКИШ – родился в 1931 г. в Баку. Закончил Московский государственный университет по отделению классической филологии. С 1974 г. живет на Западе, преподает в Женевском университете. Автор книг «Никому не уступлю», «Эразм и евреи», «Сумерки в полдень» и многих других.

тым. Кто помнит сегодня, что «ложь во спасение» восходит к неверно понятому стиху 17 из псалма 32[1] в церковнославянском переводе: «Ложь конь во спасение, во множестве же силы своея не спасется»? (В общеизвестном и общепринятом русском переводе – в так называемой Синодальной Библии – стих этот звучит так: «Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею»). А переложения псалмов, вольные вариации в стихах? Вся русская поэзия XVIII века (с заходом в XIX, вплоть, по крайней мере, до Мея) не просто сверкает этими заимствованиями, но дышит.

Все это сказано для того, чтобы подчеркнуть: о псалмах можно судить с самых различных точек зрения, жесткий выбор и самоограничение неизбежны. В этой статье речь пойдет преимущественно о двух вещах: чем были и (в меньшей мере) остаются псалмы на языке оригинала, у народа, который их создал; псалмы как явление поэзии (слово «памятник» решительно не годится!). Обе эти темы представляют, как мне видится, значительный интерес для русского читателя, желающего с большим пониманием судить о столь важном для русской культуры феномене, как переводы псалмов на русский язык, их поэтическое переложение и их отголоски в русской поэзии.

Начнем с названия.

Русское (и вошедшее в международную лексику) «псалом» происходит от греческого «псалмос» (песня, исполняемая под аккомпанемент струнного инструмента). Греческий же термин есть, по всей видимости, перевод еврейского «мизмор», которое повторяется в заголовках более чем третьей части всех псалмов, составивших «Псалтырь». Заглавие же сборника по-русски – более или менее точная фонетическая транспозиция греческого (в средневековом произношении) «псалтирьон» – названия того музыкального инструмента, в сопровождении которого пели «псалмой»; заглавие это вошло в употребление не позже V века христианской эры. К тому же времени у евреев, однако, уже возникло и закрепилось иное заглавие – «Книга Восхваления» – «Сефер Теhилим» (в упрощенной транскрипции; h обозначает фрикативное «г», примерно как в украинском языке или в южнорусских диалектах). Русскому читателю будет легче «почувствовать», что это значит, если он узнает, что «теhилим» – одного корня с хорошо знакомым ему «аллилуйа» («hалелу-йа», «восхваляйте Бога»); этот возглас, по всей очевидности обращенный к молящимся, среди всех библейских текстов встречается только в псалмах.

Но тут же мы встречаемся и с первыми недоумениями, с первыми трудностями.

Любой из тех, кто заглядывал в «Псалтирь», помнит, что

---

[1] По нумерации, характерной для христиан; о различиях в нумерации псалмов см. ниже.

хвалы Всевышнему – совсем не единственное ее содержание. Вероятно, самая известная, а точнее сказать – наименее оспариваемая попытка классифицировать псалмы по содержанию принадлежит немецкому богослову-библеисту Иоганну Фридриху Герману Гункелю (1862–1932). Он наметил пять основных категорий:

1. Гимны, т.е. песни восхваления в собственном смысле слова, прославляющие и призывающие прославлять Бога во всех его проявлениях и творениях; особо выделяется группа гимнов, посвященных святому городу (Иерусалиму) и святой горе (Сиону), которые Бог избрал местом своего пребывания (Храм). Эта категория численно самая значительная, что и оправдывает традиционное еврейское заглавие сборника.

2. Плачи коллективные: сетования, вызванные кризисной ситуацией общины (или нации), и взывания к Богу о помощи.

3. Плачи индивидуальные: жалобы на муки, очень часто – заверения в невиновности, очень часто – надежда и даже уверенность, что жалоба будет услышана и справедливость восстановлена. Плачей индивидуальных гораздо больше, чем коллективных.

4. Песни благодарения, в подавляющем большинстве индивидуальные, но есть и несколько коллективных; соединяя описание бедствия с хвалами Богу за счастливое избавление, они как бы синтезируют плач и гимн.

5. Царские псалмы, изображающие ту или иную ситуацию из жизни царя земного, царя евреев: восшествие на престол, свадьбу и т.д.

(Внимательный читатель легко убедится в несовершенстве этой классификации, но ведь любая схема несовершенна.)

Гункель считал, что все намеченные им категории псалмов имеют культовое происхождение и применялись в храмовом богослужении. Но когда? каким образом? в каком качестве? как приспособляли древние тексты к новым обстоятельствам (например, царские псалмы в период, когда не стало монархии)?

Сколько-нибудь точных ответов нет, есть только предположения, основывающиеся на свидетельствах различных книг Библии (частично – сравнительно поздних, например, «Хроника» или «Хроники», в русской традиции две «Книги Паралипоменон», датируемые современной библейской критикой IV или даже III веком до христианской эры) и на археологических находках, особенно на дешифровке клинописных «библиотек». Попробуем как-то обобщить эти предположения.

Обычай торжественных песнопений в честь божества и его святилища, равно как и плачей, покаянных и благодарственных молитв существовал и в Египте, и в Месопотамии: и в древнем Ханаане во II тысячелетии до христианской эры; следовательно, едва ли можно приписывать евреям «открытие» псалма как поэтического

и религиозного жанра. Но уже в древнейших, по суждению библеистов, частях Писания встречаются, так сказать, псалмообразные вкрапления («Песнь Моисея и сынов Израилевых» после перехода через Чермное море – «Исход», 15, 1–21; «Песнь Деворы и Варака» – «Книга Судей», 5). И – также по суждению библеистов – можно в целом доверять разбросанным по «Хроникам» сведениям о том, что регулярную службу певцов и музыкантов при ковчеге Завета установил царь Давид в первой трети X века до христианской эры. Во все существование Первого Храма, от построения его при сыне Давида, Соломоне (965–928 до н. э.) до разрушения вавилонянами (586 до хр. э.), священные обряды сопровождались пением и струнным аккомпанементом; храмовые музыканты и певчие объединялись в некое подобие корпораций, учрежденных, возможно, еще самим Давидом; все они были левиты, т.е. принадлежали к колену (племени) Леви, исполнявшему низшие священнические функции при Храме. Их потомки, вернувшиеся из вавилонского пленения, продолжали деятельность своих предков во Втором Храме (516 до н. э. – 70 н. э.). Иными словами, псалмопение было в принципе исключительным правом и обязанностью левитов.

Однако еще до разрушения Второго Храма римлянами возникает синагогальная форма богослужения (и в самой земле Израиля, и в диаспоре), и псалмы становятся всеобщим молитвенным достоянием, составляя необходимую и неотъемлемую часть повседневных и праздничных служб. В дальнейшем роль их, удельный вес непрерывно возрастали во всех разновидностях ритуала (нусах), принятого той или иной общиной в рассеянии. И не только в синагогальной литургии, но и в любом внесинагогальном обряде: молитва перед сном, перед дальней дорогою, погребение, освящение могильного камня и т.д. Псалмы неизменно включаются и во вновь возникающие молитвенные обряды, например – по случаю Дня независимости еврейского государства. не будет преувеличением сказать, что вся жизнь традиционного еврейства пронизана и пропитана текстами «Псалтири».

Перейдем же к текстам.

Нет сомнения, что канонический корпус псалмов не вышел полностью из-под пера царя Давида, – если только, разумеется речь не идет о читателе благочестивом, свято верующем святому Преданию, закрепленному в Талмуде. Впрочем, в Талмуде нашла себе отражение и другая традиция, приписывающая авторство части псалмов праведникам, жившим до и после Давида. Эта последняя опирается на само Писание, на текст псалмов, где достаточно часто и совершенно однозначно говорится о разрушении Храма и пленении, изгнании народа; с другой стороны, псалмы снабжены своего рода заголовками и около половины их – 73 псалма – упоминает Давида. Есть и заголовки с другими именами: Моисея, Соломона,

нескольких храмовых певчих в правление как самого Давида, так и его преемников. Современная библеистика соглашается, что Давид действительно сыграл большую, быть может решающую роль в истории еврейской религиозной лирики, что какие-то псалмы могут действительно принадлежать ему, но далее этого не идет. Что касается датировки, то тут мнения расходятся: некоторые ученые полагают, что за крайне немногочисленными исключениями псалмы сложены в глубокой древности (и тогда Давид выступает, скорее, в качестве собирателя, «редактора»), другие – что в них отражена вся история Израиля, вплоть до периода после вавилонского пленения включительно. Временем канонизации сборника считают IV или даже V век до н. э. Сохранность канонического текста признается сегодня достаточно удовлетворительной (и следовательно, поправки, в обилии предлагавшиеся учеными прошлого века, излишними). Высокий уровень сохранности подтверждается в частности и в особенности находками 40–60-х годов нашего века в Иудейской пустыне, так называемыми Свитками Мертвого моря, среди которых оказалось около трех десятков манускриптов «Псалтири».

Канонический текст состоит из 150 псалмов и разделен традицией на пять отделов («книг»). Нумерация псалмов у евреев (и следующих еврейской традиции протестантов) отличается от той, что принята у православных и католиков, и восходит к переводу Библии на греческий язык – древнейшему среди всех вообще переводов Писания (не позже II века до хр. э.). Греческая версия, «Септуагинта», т.е. «Перевод семидесяти толковников», объединяет 9–10-й и 114–115-й; таким образом, общее число псалмов оказывается одним и тем же. Как уже упоминалось выше, в этой статье принята православно-католическая нумерация – так будет удобнее и проще русскому читателю, который пожелает обратиться к распространенным русским переводам в Синодальной Библии. Различия в нумерации объясняются, вероятно, тем, что в древности строго зафиксированного разделения сборника на «главы» не существовало, что, кстати, подтверждается и рукописями; заголовками же снабжены не все псалмы. Отсюда возможность ошибок. Такой ошибкой следует полагать раздробление номеров 9–10-го в оригинале: в совокупности они составляют алфавитный акростих.

«Книги» с I по IV (1–40, 41–71, 72–88, 89–105) завершаются особыми формулами благословения, обозначающими границу между «книгами». Есть достаточно доводов предполагать, что «книги» существовали первоначально в качестве отдельных сборников, а позже были сведены воедино. К числу доводов относится, в частности, то, что псалмы могут повторяться полностью или конгломератами стихов (например, пс. 13 из «книги» I = пс. 52 из «книги» II; или пс. 56, ст. 8–12 + пс. 59, ст. 7–14, оба из «книги» II = пс. 107 из «книги» V). К числу доводов относится и то, что заключительный стих последнего

псалма «книги» II гласит: «Кончились молитвы Давида, сына Иессеева». Предполагается также, что две последние «книги», т.е. IV и V, составляют единый сборник и разделение их носит искусственный характер; оно может быть объяснено стремлением представить «Псалтирь» как некую параллель Учению (Тора), т.е. Пятикнижию; во всяком случае, в начале старинного «Толкования на псалмы» («Мидраш те илим») говорится: «Моисей дал Израилю пять книг учения, Давид дал Израилю пять книг псалмов».

Чтобы понять, хотя бы приблизительно, как «сделаны» псалмы, разберем один из них – № 22 (23 по нумерации оригинала). Начнем со звучания подлинника в произношении сегодняшних израильтян (как звучала еврейская речь две с половиной, а то и три тысячи лет назад, вопрос слишком сложный):

мизмор ледавид

1. йеhова ро'и ло эхсар;

2. бин'от деше йарбицейни ал-мей менухот йена алейни;

3. нафши йешовейвhйанхейни бема'гелей-цедек лема'ан шмо;

4. гам ки-эйлех бегей цалмавет ло-ира ра ки-ата имади шифтеха умиш'антеха hема йенахамуни;

5. та'арох лефнай шулхан негед цорерай дишанта вашемен роши коси ревайа;

6. ах тов вахесед йирдефуни кол-йемей хайай вешавти бевейт-йеhова леорех йамим;

(Транскрипция следует как еврейской графике и пунктуации – отсутствие прописных букв, отсутсвие точек, так и усвоенной современными изданиями разбивке на полустишья).

Вот перевод, целиком сосредоточенный на передаче смысла:

Песня Давида.

1. Бог – мой пастух, я не буду терпеть нужду.

2. Он уложит меня на травянистом месте, приведет меня к тихим водам.

3. Освежит мою душу, поведет по путям справедливости во имя Свое.

4. Даже если я пойду долиной мрака, не буду бояться дурного, ибо Ты со мною, Твой посох и Твоя трость будут мне в утешение.

5. Ты накрыл для меня стол на виду у моих врагов, щедро помазал маслом мою голову, моя чаша полна сверх краев.

6. Лишь добро и милость будут мои спутники во все дни моей жизни, и я буду жить в доме Бога долгое время.

Трудности понимания (и перевода) начинаются с того, что система времен глагола в языке Библии либо не до конца прояснена, либо вообще не поддается окончательному прояснению. Так или иначе, но весьма часто невозможно решить, идет ли речь о настоящем и будущем. В нашем случае два авторитетных перевода новейшей поры, латинский и французский, отдают предпочтение настоящему,

один, английский, – будущему. Наш собственный выбор определен не столько громким именем и научной славою английского переводчика Митчелла Дахуда (его работа в трех томах вышла в 1966–1971 гг.), сколько непосредственным восприятием наследников и живых носителей иврита, образованных израильтян, основательно начитанных в библейских и постбиблейских источниках.

Заголовок: точное значение его не известно. При отсутствии знаков препинания в рукописях ничто не препятствует поставить после первого слова точку: «Песня». Второе же слово может означать как «принадлежащая Давиду», т.е. сочиненная им, так и «связанная с Давидом» тем или иным образом: повествующая о нем, посвященная ему, написанная в его манере, положенная на его мелодию и т.д. Как уже говорилось выше, очень древняя традиция толкует «ледавид» в первом из двух смыслов.

Разноречий в толковании собственно текста столько, что придется ограничиться лишь примерами.

Стих 2. «Тихие воды», т.е. спокойные, небурные, могут быть поняты как «воды покоя, отдыха», т.е. источник, подле которого стадо располагается на отдых.

Стих 3. «Поведет по путям справедливости» – передает словосочетание, встречающееся в Библии всего один раз (гапаксслегоменон). Дахуд понимает его совершенно иначе: «приведет на богатые пастбища», чтобы соотнести с «травянистым местом» в предыдущем стихе (зачем ему такое соотнесение, будет выяснено ниже).

Стих 4. «Долиной мрака» – «среди полной темноты». «Будут мне в утешение» – «вот они поведут меня».

И любое из различных осмыслений – никак не каприз и не фантазия, но результат филологического анализа, часто глубокого и изощренного, и ступенька к выводам, иногда далеко идущим. Только один пример. В стихе 6 «вешавти» оригинала может быть выведено из двух корней: ЙШБ со значением «сидеть», «пребывать», или же ШВБ со значением «возвращаться». В комментарии к псалмам, который вышел в Житомире в 1902 г. (на иврите) и принадлежал известному оригеналисту Цви-Перецу Хайесу, рассматриваются возможные варианты написания и соответственно понимания; среди прочего Хайес указывает: если принять значение «я вернусь в дом Бога», то речь должна идти о возвращении в Храм, откуда певца (или его предков) изгнали враги, и тогда, по суждению комментатора, псалом следует относить к эпохе Хасмонеев и борьбы с Селевкидами (II век до н. э.). Для современной библеистики, как уже упоминалось, эта дата неприемлема – слишком поздна.

Важнейший для перевода вопрос – о стилистическом уровне текста – неотделим от куда более широкой проблемы библейской поэзии в целом. Ее несхожесть с поэзией европейской и характеризующие ее особенности были по-настоящему обнаружены лишь в

XVII веке, и только нынешнее столетие включило ее в систему родственных ей поэзий Ближнего Востока, в основном более древних и, по-видимому, впрямую на нее влиявших. Главным ритмообразующим элементом в ней (повторяющимся, противопоставляющимися, соотносящимся) выступает единицы смысла, «отрезки» мысли, а не формы, не стопы или (и) икты, ударения. «Отрезки» (их называют по-разному, общепринятой терминологии, сколько можно судить, до тех пор не сложилось) складываются в разного рода параллельные конструкции. Параллелизм может быть синонимическим:

Господь – свет мой и спасение мое: кого мне бояться?
Господь – крепость жизни моей: кого мне страшиться?

(Псалом 26, стих 1; Синодальный перевод)

Он может быть антитетическим:

Они зашатаются и упадут, а мы подымемся и станем твердо.

(Псалом 19, стих 9)

Возможны и иные варианты, но эти два – наиболее наглядны. Параллелизм может быть полным (как в приведенных примерах) или частичным, когда число элементов в «отрезках» неодинаково или же – при равновеликости – не все имеют свою параллель. Он может быть прямым, как в первом из приведенных примеров, или перевернутым, хиастическим, как во втором.

Что касается системы стихосложения в европейском смысле, метрической организации стиха, то она упорно не поддается определению. Можно утверждать только, что библейский стих был акцентным, что равновеликие «отрезки» были достаточно часто и равноударными с числом иктов от 2-го до 4-го, в зависимости от длины «отрезка», и что преобладают, скорее, трехударные «отрезки». Но главным фактом остается метрическая нестабильность библейской поэзии.

И наконец, фонетическая организация библейского стиха. Она была развита в высокой степени – от простых аллитераций и ассонансов до сложной, изощренной, эффектной звукописи и даже созвучий в окончаниях «отрезков», хотя говорить о рифме в поэзии древнего еврейства не приходится. (Заметим, кстати, что необоснованным, так сказать, анахроническим, представляется и применение понятия строфы.)

Теперь вернемся к нашему псалму, начиная с конца – с фонетики и метрики. Сразу бросается в глаза, что стих 2 содержит «рифму», которая возвращается как внутренняя в стихе 3. Заметно

также обилие аллитераций на «ш», рассыпанных по всему тексту. Обращают на себя внимание ассонансы «ей» («йе») и «ай» («йа»), сосредоточенные во вторых полустишиях. Одним словом, «инструментовка» кажется не случайной, но умышленной и целенаправленной. Распределение иктов почти регулярное (по три в долгих «отрезках», по два в коротких).

С параллелизмами, однако, все не так четко. Очевидный синонимический параллелизм представлен стихом 2. Есть комментаторы, которые видят в первой половине стиха 6 своего рода резюме стихов 4 и 5, а во второй половине стиха 6 – резюме стихов 2 и 3. Тогда перед нами «большая перевернутость», «макрохиазм», охватывающий все названные выше стихи. Это толкование, однако ж, выглядит чересчур смелым. Напротив, если согласиться с Дахудом в его понимании второго «отрезка» стиха 3 («приведет на богатые пастбища»), а доводы его отнюдь не легковесны, то возникает перевернутый синонимический параллелизм с первым «отрезком» стиха 2 («уложит меня на травянистом месте»).

Все сказанное позволяет нам подойти к выводу весьма важному, как мне кажется, для нашей темы. Речь идет о стилистическом уровне библейской поэзии, в частности псалмов. Как мы могла убедиться из проделанного выше анализа, она беспримерно (без сравнения – если воспользоваться церковно-славянизмом) богата образностью – на этот счет существует общее согласие. При этом образы черпались из всех без изъятия сфер бытия, от самых возвышенных до самых низменных. И независимо от сферы образы эти всегда были конкретны, наглядны, «вещны». Это связано с качествами – или, если взглянуть с противоположной точки зрения, слабостями – самого еврейского языка библейской эпохи, а именно – сравнительной бедностью его средствами выражения отвлеченных понятий и отношений. Отсюда – простота, пусть серьезная, важная, торжественная даже, но все-таки простота, в известном смысле заземленность библейского текста. И это действительно очень важный момент, о котором необходимо помнить, встречаясь с переводами и переложениями текстов псалмов по-русски. Дело в том, что и по-русски, и на других языках эти тексты взвились под стилистические небеса. И потеряли при этом «вещность», обескровились. Тут действовал, по- видимому, главным образом психологический мотив: Священное Писание должно быть возвышенным, иначе какое же оно священное?

Кстати, та же беда постигла и христианский канон, повествовательные его части (Четвероевангелие, Деяния Апостолов), греческий язык которых по-простонародному незамысловат, неуклюж, а случается, и неграмотен.

Проверим это на переводе нашего псалма в Синодальной Библии.

1. Господь – Пастырь мой: я ни в чем не буду нуждаться.

2. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим.

3. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.

4. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня.

5. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена.

6. Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.

И лексика, и даже синтаксис поражают безжизненностью, бесплотностью – по сравнению с оригиналом. Регулярно проведенная инверсия существительного и притяжательного местоимения; инверсия определяемого и определения («к водам тихим»); «в виду» в значении «на виду», «перед глазами»; «так» в значении «да», «точно»; и в первую голову лексические архаизмы – пастырь, покоит, злачные пажити, стези, убоюсь, жезл, трапеза, умастил елеем, преисполнена, благость, пребуду, – вся эта сверхкнижность, чтобы не сказать замшелость, привнесена переводом.

Однако следует иметь в виду и то, что ложная по отношению к оригиналу возвышенность тона прочно закреплена традицией, и литературной и языковой, а стало быть, перестала быть ложной. В этой традиции выполнены, например, и недавние стихотворные переложения псалмов Наума Гребнева. И выполнены, мне кажется, прекрасно. Тем более что, перелагая прозу Синодального перевода и сохраняя в целом его стилистический ключ, Гребнев пытается кое-где снизить тон – примешивает к архаизмам просторечье (вестимо, тыщи, одежи и т.п.), вводит в число размеров дольник.

И все-таки хорошо было бы преодолеть традицию и приблизить русского читателя не только к русской же «Псалтири», но и к древнееврейским тегилим. Тогда, независимо от того, наделен ли он даром веры или нет, он лучше, совершеннее, полнее осознает и прочувствует, что значат слова псалмопевца, вынесенные в заглавие этой статьи: «Господь – сила моя и песнь...» (псалом 117, стих 14

Женева

В качестве приложения к статье Шимона Маркиша предлагаем вашему вниманию переводы первого, второго и сто семнадцатого псалмов, сделанные Наумом Гребневым.

1 ПСАЛОМ

Блажен тот муж, который с малых лет
Сойти с пути греха себя неволит,
Не держит с развратителем совет,
Не делит с нечестивыми застолья.
Но мыслит благодарно и блаженно
Лишь о законе Бога ночеденно.

Да будет тот, кто благодать обрел,
Возросшим, будто бы широкий ствол
При щедрых водах бурного потока.
Лист этого ствола не станет желт
И не поникнет ветвь его до срока.

А нечестивцы будут, словно прах,
Развеяны на всех земных ветрах,
Средь праведных нет места для лукавых,
И на суде к ним помощь не придет,
Ибо Господь с заоблачных высот
Благословит путь праведных и правых,
А путь неправедного пресечет.

2 ПСАЛОМ

Зачем мятутся племена людские,
Зло замышляют, козни и коварство?
Зачем противятся князья земные
Тому, кого помазал Бог на царство?

Зачем они, забывши стыд и страх,
Твердят: «Расторгнем узы и оковы!
И, слыша богохульственное слово,
Дивится Тот, кто есть не небесах.
Их осуждая по своим законам,
Глядит Господь, строптивцам говоря:
«Над сей моей святой горой Сионом
Я вам помазал моего царя!»

Я есть тот царь, и мне изрек Господь:
«Мое ты чадо, кровь моя и плоть,
Тебе я эти земли дал и бездны,

Чтоб мог ты нечестивых побороть,
Чтоб мог отступников жезлом железным,
Как утварь глиняную, расколоть».

Князья земные и земные судьи,
Господь над нами справедлив и страшен,
Пусть лишь в служение Господу пребудет
И трепет ваш, и страх, и счастье ваше!
Почтите тех, кто Господу угоден,
Помазанников на земной престол.
Беда тому, кто гнев навлек Господень,
Блажен, кто силу в Господе обрел!

117 ПСАЛОМ

Славь же Господа, всяк человек,
Ибо милость Господня вовек,
Дом Израиля преклонится
Перед Тем, чья милость вовек,
Будет дом Аарона молиться
И все те, кто Бога боится,
Ибо милость Господня вовек.

Я, стесненной земной теснотою,
Звал Того, чья милость вовек.
И услышал Он, что я рек,
И широкой повел стезею.
Что содеет мне человек,
Если Он, мой Господь, со мною?

Лишь от Господа мне подмога,
Чем надеяться на людей,
Чем надеяться на князей,
Уповать не верней ли на Бога?

Сто народов меня окружили,
Но в меня не вселили страх.
Не убили и не низложили,
Ибо я их противился силе
С Божьим именем на устах.

Налетели они волнами
На меня, как пчелиный рой,

Но тотчас угасали, как пламя,
Ибо был мой Заступник со мной.

Враг толкал меня, чтоб я упал,
Но Господь меня поддержал,
Ибо Он – и мое спасенье,
Как всех тех, кто свои моленья
Обращал к Нему и уповал.

И весь век свой я буду молиться,
Славить Бога, чья власть велика,
Ибо силы Господня десница
Дарит нам, и она высока.
А меня Господня рука
Наказала, чтоб мне не гордиться,
Но мне смерть не судила пока.

Буду петь, буду славить я Бога,
Отворите мне правды врата,
В кои праведным только дорога,
Ибо эта дорога чиста.

Ты услышал мои стенанья,
И молитва к Тебе дошла,
Камень тот, что отвергнут был ране,
Может стать главою угла.

Все от Господа, дух и плоть,
И в очах наших дивно от Бога.
Этот день сотворил Господь,
Так возрадуйтесь, люди, премного.

Лишь Тобою спасенный спасен,
Ты и к нам споспешествуй тоже.
И да будет благословен
Всяк, грядущий во имя Божье.

Что бы, Господи, ни случилось,
Буду славить Твой каждый шаг,
Чтобы имя Твое святилось.
Славьте Господа, ибо Он благ
И вовеки Господня милость.

Елена Степанян

ПОНЯТНЫЙ СМЫСЛ ПРАВДИВЫХ РАЗГОВОРОВ

«Вера Христова – вера огненная. Таков критерий. Но как может быть убедительной для неверующего мира весть об огненной вере, если он, этот мир, не видит огненности в тех, кто называют себя верующими? Где там огонь? Воздушные замки мечтательности на религиозные темы, воздушные умствования и теоретизирования, мнения и суждения о вере. Тепловатая вода набожных эмоций. Земляная тяжесть так называемого православного быта... Вспыхнет на мгновение огонь, озарит, согреет – и снова погаснет».

Эти слова С. Аверинцева очень хорошо соотносятся с нашей сегодняшней реальностью – как социальной, так и умственной, или эмоциональной. Перечисленные Аверинцевым черты – и «мечтательность на религиозные темы», и «мнения и суждения о вере», и «тепловатую воду набожных эмоций» – мы в избытке встретим где угодно – хоть в прессе, хоть в интимном разговоре. Значительно реже, но встречается и «земная тяжесть так называемого православного быта». А поскольку искусство – специфическая часть живой жизни, вовсе от нее не отделенная, то характерные и отличительные черты этой жизни без труда обнаруживаются в облике современного искусства, в частности – в поэзии.

Да, наша жизнь и наша поэзия окрасились – отчасти – в тона религиозности. Как это произошло?

По большей части с удивительной спешностью, стремитель-

Елена СТЕПАНЯН – родилась в Москве. Окончила филологический факультет МГУ. Кандидат филологических наук. Автор статей о современной русской и зарубежной литературе.

ностью, не свидетельствующими, понятно, ни о глубине, ни о всепроникающем характере этого процесса. Ведь совсем еще недавно, чуть не вчера, упоминание любого религиозного понятия в художественном контексте было для читателя дорого уже и как бы помимо своего коренного содержания – своей долгой до того подзапретностью. Помню, как я работала в искусствоведческом издательстве, и когда на художественно-технических советах обсуждался состав альбомов по древнерусскому искусству, начальство замечало: обратите внимание, товарищи, слишком много куполов! Естественным протестом против такой подзапретности и было то, что любое упоминание деталей религиозного быта, а также всяческие «мнения и суждения о вере» способны были почти автоматически пробудить в нас сочувственный отклик. Стихи, снабженные подобными аксессуарами, становились как бы – отчасти, во всяком случае, – эстетически неподсудными. И автоматически пополняли собою раздел религиозной поэзии в отечественной словесности.

Дело окончательно запутывалось и запутывается из-за внешней непроясненности термина. То, что мы сегодня – по наличию религиозной тематики или хотя бы упоминаний тех или иных значащих, «ключевых» слов – называем «религиозной поэзией», часто бывает далеко либо от поэзии, либо от религии, либо от того или другого вместе. Но мы сейчас не будем касаться подобных крайностей, ибо даже с высокими образцами разобраться очень и очень трудно. Мера сочетаемости « религии» и «поэзии» в каждом отдельном произведении – это какая-то весьма подвижная, трудно уловимая величина.1

В самом деле, в какой степени являются, например, религиозной поэзией пастернаковские «Стихи из романа», написанные с таким сердечным жаром, обращенные с такой силой искренности к Богу? И до какой степени являются религиозной поэзией (в современном, то есть учитывающем по преимуществу требования сугубой художественности и образной выразительности смысле) хотя бы духовно-поэтические сочинения С. Аверинцева?

Тут хотелось бы сделать небольшое отступление. В 1830 году Пушкиным были написаны, с одной стороны, ряд антологических стихотворений в классическом духе, отмеченных самодовлеющей скульптурностью, пластичностью, с другой же стороны – ответ на послание митрополита Филарета «В часы забав иль праздной скуки». Ответ, который М. Гершезон назвал «чистой песнью сокрушения и

---

[1] Оговариваюсь сразу, что исключаю из своего рассмотрения Боговдохновенные, священные тексты, которые, если уж поставить вопрос с предельной строгостью, только одни и являются религиозной поэзией в чистом, полном смысле этого слова.

благоговения перед святостью». Такие факты соседства разнородных или резко противоречащих друг другу начал в творчестве Пушкина, даже очерченном пространством одного года, давным-давно известны и подробно описаны. Но характерно, что в том же году Пушкин написал «В начале жизни школу помню я...» – вещь, в которой он сам же пронзительно отчетливо и трезво высказался об особой трудности религиозного пути для человека искусства, о специфической сложности сочетания религиозного мироотношения и художественного устремления.

Я думаю, можно допустить, что «Смиренная, одетая убого, но видом величавая жена», упоминаемая в стихах, – это религия и Церковь, тем более, что пятая и шестая строфы стихотворения читаются как автобиографический экскурс в историю юношеского пушкинского атеизма:

Меня смущала строгая краса
Ее чела, спокойных уст и взоров,
И полные святыни словеса.
Дичась ее советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл правдивых разговоров.

«Превратно истолкованный» «смысл правдивых разговоров», то есть церковного предания – в этом, по существу, вся «Гаврилиада».

Мережковский утверждал, что «видом величавая жена» – это добродетель. Не думаю. Известны слова Пушкина: «Поэзия выше нравственности». В настоящем же стихотворении жена «с челом», покрытым «покрывалом», с «очами светлыми, как небеса» – это олицетворение начала, которое не терпит поражения, не отступает перед искусством, а спокойно ждет возвращения художника к себе, – следовательно, начала более всеобъемлющего, чем добродетель, исходного по отношению к ней. Искусство же[1] окрашивается каким-то магически-сомнительным тоном, беглым, подвижным сумраком, столь же чарующим, сколь и опасным, неверным. Пушкинская лексика выразительно двойственна в этом случае: «следы вдохновенья», «чудесные творенья», – с одной стороны, и «бесы», «идол», «демон», «кумиры» – с другой. Позволю себе процитировать эти хрестоматийно известные строфы:

То были двух бесов изображенья.
Один (Дельфийский идол), лик младой –
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.

---

[1] Кстати, олицетворенное скульптурными образами

Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал –
Волшебный демон – лживый, но прекрасный
.....
Средь отроков я молча целый день
Бродил угрюмый – все кумиры сада
На душу мне свою бросали тень.

Этим, как известно, стихотворение и кончается. Полагаю, что тут мы имеем дело с обычным у Пушкина открытым финалом, в котором, тем не менее, расставлены все акценты и ясно обозначено то, что должно последовать. Мне кажется, что разрешение намеченного Пушкиным конфликта заключено в слове «тень», последнем в стихотворении. Природа тени – в ее подвижности и преходящести, в том, что она отступает перед «солнцем правды». Так и произошло в судьбе Пушкина: религиозный пафос «Каменноостровского цикла», его позднейших высказываний о Евангелии и христианского завершения жизненного пути, пафос, наконец, его кончины свидетельствует об этом, и свидетельства эти общеизвестны.

Но в «Каменноостровском цикле», тем не менее, религиозная мысль воплощается в чистые и спокойные формы совершенного искусства; тут произошло редкое по своей полноте примирение двух начал, зачастую совершенно непримиримых; наш век увенчал своей художественной практикой то расхождение между ними, которое обозначилось уже весьма давно, по крайней мере пятьсот лет назад. В течение XX века художник то и дело подчеркивал, что культура – это, пользуясь словами Пушкина, «совсем другое дело», чем религия; что словесное творчество само по себе – высота, которую незачем соотносить с другими высотами; что игра как несущий принцип искусства есть вещь неподсудная (даже Ахматова, с ее известной религиозностью, и та не отказывалась от фразы звучной и все же, думаю, не совсем верной: «...поэтам Вообще не пристали грехи»). Но и этот подход к культуре не является еще крайностью; ведь существует, например, творчество М. Кузьмина, который весь свой поэтический дар и пыл, случалось, вкладывал в переосмысление религиозных образов с точки зрения гомоэротической эстетики! (Вспомним хотя бы адского, с моей точки зрения, кузьминского «Лазаря».)

Не пускаясь в дальнейшие экскурсы, посвященные зачастую драматическим«леверкюновским» взаимоотношениям между религиозным идеалом и художественным творчеством, вернемся к поэзии наших дней. Я уже говорила, с какой обостренной (и то и дело вовсе не религиозной) готовностью приветствовалось и принималось читающей массой хотя бы беглое упоминание христианского понятия или образа в художественном контексте. Довольно типичный пример:

Не плачь, ради Бога, не бойся: и сера – вранье.
Когда это брезговал Он неумытой душою?
Как прачка, Мария отмолит, отбелит ее,
Прикроет привычной ладонью, по-женски большою.

Андрей Чернов

Попробуем разобраться в наших впечатлениях. Несомненно, что как после «великолепных кощунств», от которых культура XX века уже отчасти устала, так и после долгой советской подзапретности читатель с благодарностью останавливался на строках, подобных упоминаемым. Разумеется, тут действовала, во-первых, совершенно внеконъюнктурная, вечно притягательная мысль о Приснодеве, как о заступнице всякой души... Образ «Марии-прачки», отбеливающей душу, освящает всю строфу, как скрытый источник света. Но ведь, во-вторых, в этой же самой строфе, если приглядеться к ней, есть и режущие неточности, от которых трудно отмахнуться. Неточность первая и важнейшая: «сера – вранье». Что имел в виду поэт? Разве возможность ада – нереальная возможность? Сам Спаситель говорил об аде, и, думаю, затруднительно будет кому бы то ни было из поэтического цеха оспорить Сказавшего: «Я есмь путь, и истина, и жизнь».

Вторая неточность состоит в собственно поэтической погрешности. Режет слух строка: «прикроет привычной ладонью, по-женски большой». В этой «по-женски большой» ладони есть, увы, какое-то форсирование приема, стремление всеми доступными средствами утеплить и, так сказать, «одомашнить» священный образ – стремление, переходящее, как мне кажется, рубеж меры и вкуса.

Вообще сугубая сложность создания современной религиозной лирики (ведь в этом случае каждое лыко ставится в строку и каждая погрешность или неточность, какова бы не была ее природа, выступает – сто'ит в нее вглядеться чуть пристальнее – с какой-то аляповатой яркостью), сейчас, в последние год-два, еще возросла, и вот почему. Широкое увлечение разнообразными упоминаниями религиозных реалий теперь отчасти заменилось некоторым настороженным раздражением в отношении тех же самых реалий. Я не говорю даже о, скажем, изощренных профессионалах, о литературных критиках, ясно высказавшихся в этом духе; настроение это весьма интенсивно проникает и в быт, то есть в достаточно широкую читательскую среду. Реплика «Слишком много куполов!» уже исходит не от охранительных верхов, а – то и дело – от «массы». Самой мне доводилось выслушивать это от «рядовых читателей» – и с недоумением, и, каюсь, с нехристианским раздражением. Как, нам только-только довелось услышать – в условиях псевдосвободы – не слово, но еще только четверть слова о христианстве, и этого уже

оказалось слишком, раздражающе много?

Но в этих условиях, столь неожиданно неблагоприятных, тем более высоко должна быть поднята планка искусства, стремящегося стать религиозным. Ему мало должно быть добрых этических и эстетических намерений, общих (и зачастую размытых) благих устремлений.

Кстати о размытости. Никто не посягает на право поэта на «лирические туманы» (М. Цветаева). Но проблема в том, что то и дело образ или понятие из религиозного ряда, оказываясь в поэтическом контексте, энергично привлекая к себе читательское внимание, как бы одновременно ставит вопрос об обоснованности своего присутствия в этом контексте: таково уж свойство слов этого ряда.

Скажем, у Ю. Кублановского читаем:

Память – река с ледяными заторами,
если уехал – тони под которыми
впредь до подъема
в знобкое утро Второго пришествия...

Это – чудесные русские стихи, с ритмической гибкостью и подвижностью, образным единством и цельностью.

Знобящая лиричность стихов Юрия Кублановского есть несомненное достоинство поэта, но упоминание в них о Втором Пришествии выглядит, по-моему, в этом контексте несколько проблематично, произвольно.

Об этом, впрочем, можно спорить; но порой в творчестве Кублановского, православного поэта, напрямую неоднократно заявлявшего о традиционности своих убеждений, мы сталкиваемся и с достаточно неожиданными в этом отношении явлениями. Для меня такой неожиданностью стали строки:

Дома! Взбегу-ка по лестнице
к милой (и славно, что в плесени
ручка дверная),
забарабаню костяшками,
как там у ней под рубашкою
крестик, гадая.

Кублановский – поэт, любящий аксессуарные ряды, широко вводящий их в ткань стихотворения. И в этом стихотворении тоже перечисляются предметы – признаки, детали некоей дорогой поэту, ностальгически узнаваемой обстановки (серебряные щипчики для сахара, позеленевшая дверная ручка и т.п.). Так что же – надо полагать, «крестик под рубашкой» просто-напросто продолжает этот

аксессуарный ряд? Или, что еще труднее себе представить, этим упоминанием создается эротико-мистическая аура (ведь понятно, что крест на груди – это одно, крест на груди – совсем, совсем другое). Такая строка – это уже и в самом деле «знобящая» неожиданность для верующего читателя... Наше время больно смешением понятий, и мне жалко, что православный по убеждениям поэт приносит жертву духу времени.

Если же попытаться разобраться в том, чем вызвано такое опасно смелое употребление слов религиозного ряда, то мы вправе предположить: очень часто – для определенной маркировки своей поэтической личности – сейчас скажу, какой. В стихах уже двадцатилетней давности Кублановский писал об отмеченности в советской толпе новых христиан, о том, как они узнают друг друга:

У московских ребят
прилетевшие с севера книги
и патиной покрытая соль соловецкой вериги,
а крещенные в тридцать повесили крестик на грудь.

И в другом месте:

Когда в мильонной гидре дня
узнаю по биенью сердца
в ответ узнавшего меня
молчальника-единоверца...
Не зря Всевышнего рука
кладет клеймо на нас, убогих:
есть нити, тайные пока,
уже связующие многих...

Боже упаси оспаривать, что вера и крещенье отличают человека от языческого окружения и что верующий начинает чувствовать новую общность с теми, с кем он и не думал до того ее ощущать. Но в нашей жизни, богатой перевернутыми явлениями и понятиями, бывает ведь так, что уверовавший именно начинает дорожить в первую очередь своей отличностью от окружающей его среды – и отсюда демонстративная избыточная тяга к культовой лексике:

То реквиемом, то Осанной
ночной переполнив массив,
с живительной манной
кутейное брашно разбив...

(от избыточности и неточность: брашно – это еда, а не сосуд, содержимое, а не емкость, разбить его нельзя. Неточность, замечу,

Но веки смыкая
при лампе, коптящей в метель,
ты помнишь – какая
тебя принимала купель.
Какой иорданью
омыта с мизинца до лба,
когда к отпеванью
судьбу обряжала судьба.
...смеюсь над испугом твоим
и символом веры,
в котором слова – сургучи...

Я могу предположить, что в словах «иордань», «купель», «символ веры», «отпевание» для поэта и было и есть, помимо их коренного смысла, много других оттенков. И прежде всего – оттенок фрондирующего отличия от всего, что окружает, от постылой и дискредитированной социальности.

Конечно, через купель и веру человек становится абсолютно «странным», сторонним и чуждым миру, но ведь и вовсе не в первую очередь социально (как нам всем хорошо известно, Христос не призывал разрушать храм и не отменил подати). И удивительно то, что поэт, активно увлекающийся именно таким словоупотреблением, энергично настаивающий, что он, его «молчальники-единоверцы», сама его любовь всегда были отличны от советского фона, пронизаны токами иного бытия: удивительно, повторяю, что поэт, его позиция как раз неожиданно и оказываются резко социально ангажированными.

Такие сближения религиозного и чувственного, религиозного и социального свойственны Кублановскому, и не только ему – они подчас свойственны неохристианскому сознанию, «крещенным в тридцать», нередко сохраняющим (себе на беду) нерастворенный субстрат привычек, вкусов, даже убеждений, сложившихся и воспринятых «до тридцати». Это на самом деле тяжкая ноша всех нас, неофитов. Поэтому мне легче и отраднее читать те стихи Кублановского, где целомудренно не употреблены слишком ответственные, обязывающие слова. Больше того, мне иногда представляется, что поэту порой и самому легче дышится, что ли, в его стихах, когда он не применяет почти обязательную для его лирики маркировку религиозными понятиями. Кублановский – поэт больших пластических возможностей. Когда он, например, каким-то свободным, нескованным движением пишет пейзаж:

Твое молчание... оно подобно снегу,
сравнявшему за час
холмы с болотами. Лишь ночь дала ночлегу
в окно алмаз, –

или когда он с той же нестесненной гибкостью художника пишет о «рудинском» историческом опыте своего поколения:

Я с этой целиной, наполненной до края,
решил вперед брести,
твердя известное, как некий, дорогая,
одряхший Филиппок, что, в школу поспешая,
всегда в путь, –

то, я думаю, целомудренное умолчание о религии идет на пользу этой свежести, гибкости – одним словом, художеству. Замечу, что одновременно фигура умолчания о главном в цитированных стихах не означает отсутствия в них мысли о главном, вернее – ощущения главного.

Я уже говорила и повторю еще раз, что специфика слов религиозного ряда такова, что они могут быть разрушительны для поэтики: далеко не всякая поэтика в состоянии их усвоить, от их неосторожно-торопливого называния произведение может пожухнуть, как листва от огня. (Убеждена, что именно так дело обстоит с упоминавшимся «крестом под рубашкою». Боюсь, что эти строчки, помимо трудно переносимой путаницы религиозного и чувственного, которая в них есть, еще и находятся по ту сторону художественности.)

Впрочем, религиозный поэт , православный поэт – это... трудная фигура для воображения, иначе выразиться не могу. Трудная потому, что он (поэт) ставит себя на пересечении требований собственно поэзии – и самой неуступчивой из идей, требующей всего человека и прекрасно могущей обходиться без каких бы то ни было ухищрений художества. Конечно же, дерзания стать и быть религиозными поэтами и были и будут; стоит назвать Олесю Николаеву, кажется, раз и навсегда определившую себе именно этот путь. Помню, как еще на рубеже перестройки, когда мы еще не предполагали, что вдруг «все станет можно», я листала ее сборник «На корабле зимы», с дружеской надписью другой поэтессе. В нем с предельной для того времени отчетливостью прочитывалась центральная тема О. Николаевой (правда, редактор был вынужден кое-где заменять слова, напоминающие о «культовой лексике», на более нейтральные; рукою автора, как сейчас помню, они по всему экземпляру были восстановлены. Мелочь тогдашнего литературного быта, тогдашней жизни). Книга девяностого года «Здесь», книга прозы О. Николаевой, говорит о верности себе. Я хотела бы остановиться только на втором разделе сборника «Здесь»», на поэмах Николаевой, если уж быть совсем точной – на поэме «Деревня». Должна сказать, что слово «дерзание» тут и впрямь применимо, и вот почему. Поэтесса

не боится прямо сопоставить, почти столкнуть лирическое излияние – и безыскусное религиозное слово. Она пишет «историю одного лета», своей любви, своей сердечной жизни, фоном которой неожиданно оказывается трагедия религиозных гонений (впрочем, еще вопрос, что в этой поэме является фоном, что – центральным действием).

Там же, под образами, оказалась и связка писем,
Обратный адрес был бессмысленно накалякан.
И мы с дерзновением прочитали.
Там было написано:
«Дорогие!
Претерпеваем потоки бед, болезней и искушений,
но, яко Ной, спасаемся в ковчеге веры
от изливаемого потопа».

Там было написано:
«Христос воскресе!
Спасемся, как оный Лот, от огня Содома
и бежим, не оглядываясь, прежней греховной жизни».
Там было написано:
«Брат и сестра, мир вам!
Боримы недугом, немощами, обидой,
не замечаем во сне житейском,
что, как Иаков, боремся с Богом,
все устрояющим к нашему вхождению в Небесное Царство».

К стене была приколота вырезанная из журнала картинка:
суровые сосны, сумрачные верхушки которых
наискосок перерезаны лучами солнца.
Снизу было написано:
«Слава Божья».

И «Деревня», и поэма «Августин», и лирика О. Николаевой дают понять, что у нее, в отличие от Ю. Кублановского, нет искушения как-то по-своему «транскрибировать» религиозные понятия, связать их напрямую со всеми абсолютно обстоятельствами своей жизни, с иногда даже противоречащим им контекстом. Пользуясь выражением Аверинцева, в случае Ю. Кублановского мы имеем дело скорее с «воздушными... мнениями и суждениями» о вере; в случае О. Николаевой – с «земляной тяжестью православного быта». Характерно для поэтического (и конечно, человеческого, что еще важнее) опыта Николаевой, что эта «земная тяжесть» ее не пугает, не кажется ей чем-то внеположным и современной жизни, и поэтическому искусству... Между тем характерна та душевная напряженность, то

и дело переходящая в неприятие, с которой реагируют на «православный быт», шире говоря – на воцерковленный образ жизни даже широко мыслящие люди интеллигентного, творческого круга, круга Николаевой. Характерны крайне резкие записи Д. Самойлова, опубликованные посмертно: «Ну, и, конечно, спектакли любит наша интеллигенция. Надо повыламываться, пококетничать, покрасоваться, причаститься, помолиться... Веруйте! Я не верю вам ».

Д. Самойлов, насколько мне известно, ценил поэтический дар О. Николаевой. Тем более мне по сердцу эта принципиальная неуступчивость, негибкость поэтессы, ее неуклонное следование этой теме.

Мне скажут: брось, как-никак все-таки выигрышная тема, модная тема. Я на это повторю: и вызывающая раздражение, образчик которого мы сейчас видели, кристаллизующееся уже в читательской массе раздражение... Что же касается выигрышности, то, возвращаясь к длинной цитате из «Деревни», которую я привела выше, мы, думаю, убеждаемся как раз в невыигрышности, в предельной сложности поэтической работы с таким материалом. «Цитата из писем» в поэме Николаевой, похоже, документального происхождения; мне показалось, что действие этих кусков на контекст сильно, так сильно, что перед ними бледнеет лирическая героиня, слабея, отступает сюжет, а может быть, редеет ткань всей поэмы. Белый стих, которым написана «Деревня» да и другие поэмы раздела, как будто бы моментами тяготеет к не-стиху, отчасти теряет свое поэтическое качество.

Следовательно, что же? Функция православного поэта практически невыполнима, религиозная мысль трудно сводима с поэзией и поэт должен отказаться либо от проповеди своих взглядов, либо от искусства?

Конечно уж, не от своих взглядов. Но если он при этом не собирается оставлять свое ремесло, то должен, видимо, со всей трезвостью понимать грозную опасность, происходящую для искусства от соседства с проповедью, даже просто с называнием религиозного понятия. Великое и редкое благо для искусства, если в нем есть «зерно глубокой, полной веры»; но лирическая поэзия, как всякий другой род человеческой деятельности, не в состоянии брать на себя несвойственные ей функции, не может уверенно и прямо приступать к религиозным понятиям. (В этой связи описанный Пушкиным побег от святыни «в великолепный мрак чужого сада»[1], приступ дикой стыдливости несозревшей души дан – с психологической точки зрения – исчерпывающе точно. Тут антитезис, противовес слишком уж поспешному и прямому приближению ко всему, что связано с религией. Какая-то тут есть целительная робость[2] в отношении с высшим.)

---

1 «В начале жизни школу помню я...»

2 Хотя, конечно, и опасность уклонения с пути к вере тут тоже есть, и об этом у Пушкина ясно сказано.

Я, понятно, не собираюсь побивать Пушкиным современных и интересных мне поэтов. Но, в конце концов, хочется же как-то разрешить эту задачу, хочется же понять, каким способом, на каких – может быть, окольных – путях возможно, не жертвуя своей задушевной правдой, найти для нее сколько-то адекватное выражение.

В связи с вышесказанным приходит на ум имя Ольги Седаковой. Характерна та последовательность, с которой поэтесса уходит от «прямого разговора», от называния того, что является предметом ее сердечных дум. Если пользоваться сравнениями (не смущаясь их псевдоплатоническим характером), то поэзия Седаковой напоминает сад, освещенный только падающим с террасы светом: не теряя своей таинственной поэтичности, вещи Седаковой дают понятие о свете, как бы сквозящем за ними. Но поэтесса постоянно указывает на то, что понятие это – косвенное, частичное, неполное, что сейчас тайна знания о святыне скрыта, с тем чтобы, возможно, раскрыться позднее. Во всяком случае, кажется, что Седакова убеждена: не поэзии эту тайну раскрывать, зато поэзии ее предчувствовать.

То обстоятельство, что поэтесса уходит от «прямого разговора» о христианстве, сказалось даже в названии ее вышедшего в 90-м году сборника – *«Китайское путешествие». «Стелы и надписи».* Тем не менее эта непрямота не уводит в сторону: она и скрывает, и одновременно дает ощутить, что же это такое – христианский взгляд на вещи[1]. «Китайскому путешествию» предпослан эпиграф из Лао – Цзы: «Если притупить его проницательность, освободить его от хаотичности, умерить его блеск, уподобить его пылинке, то оно будет казаться ясно существующим». Но это и есть генеральная тема О. Седаковой: как идеально-духовное существование именно из-за своего нестерпимого света и блеска, из-за неисчислимой множественности своих проявлений, окружающих нас, из-за своей необъятности представляется нам невидимым и из-за этого – довольно часто – несуществующим; но иногда оно снисходит и дает себя ощутить в каких-то доступных нам *умеренных* проявлениях и масштабах. Эта иносказательность небесного – огромная тема Седаковой; и так кстати тут пришлись мягкие стилизации в китайском и эллинистическом духе, ибо они тоже – иносказание о другом, о главном, присутствующем внутри всех стилизаций с неуклонностью:

Родина! вскрикнуло сердце при виде ивы:
такие ивы в Китае,
смывающие свой овал с великой охотой,

---

[1] Климент Александрийский считал, что «истина, усматриваемая за завесой, выглядит более величественно и внушает к себе большее благоговение». – Цит. по кн.: *В. В. Бычков.* Эстетика поздней античности. М., 1981, с. 273

ибо только наша щедрость
встретит нас за гробом.

Чарующая меланхолическая «китайщина» этого пейзажа, непринужденность и легкость этой стилизации никого не обманывает, и главные для читателя строки в строфе, которые могли бы быть набраны курсивом, – две заключительные.

Как стилизация может скрывать сущность поэтического высказывания, так вообще всякая сущность скрыта, затемнена, затаена. Все из здешнего мира кажется не тем, что есть на самом деле, – я думаю, что эта сквозная тема стихов О. Седаковой, тех, во всяком случае, которые объединены в этой книжке. В разделе «Стелы и надписи» можно, например, прочесть диалог между умершим и живым:

– Будешь ты счастлив.
– Когда?
– Всегда.
– Это горько.

Запредельное, посмертное счастье бывает горько для здешнего земного сознания, у которого свои понятия о счастье; а тот, кто здесь представляется нам страдальцем, оказывается впоследствии оправданней, правей, чем счастливец:

Велик рисовальщик, не знающей долга,
кроме долга играющей кисти,
и кисть его проникает в сердце гор,
проникает в счастье листьев.

Но тот, кого покидает дух, от кого
отводят луч,
кто десятый раз на мутном месте

ищет чистый ключ,
кто выпал из руки чудес, но не скажет:
пусты чудеса! –
перед ним с почтением
склоняются небеса.

Конечно же «играющая кисть» или небеса, склоняющиеся «с почтением» – это все та же восхищающая нас своей умной, деликатной тонкостью стилизация; но есть в этой же книге и другие стихи. В них пелена намеков и уподоблений становится прозрачнее, редеет:

...знаю, что душа – младенец,
младенец до последнего часа.
Всему, всему она верит

и спит в разбойничьем вертепе.

Душа – младенец (вспомним сюжет церковных фресок: праведные души – в виде младенцев – на лоне Авраамовом), душа, которая верит всему (тут мы улавливает отзвук слов апостола Павла из Первого послания к Коринфянам: «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится... все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит»). (13,4–7)

Но все же и это – именно отзвуки. О. Седакова очень хорошо понимает специфику проявлений возвышенного и духовного в реальной жизни; и точно так же, как в реальной жизни «гадательно, как сквозь мутное стекло», видимы эти проявления в ее искусстве. Именно о заволакивающем земное зрение тумане поэтесса говорит: «Про других мы ничего не знаем»; но это не отменяет сокровенной сердечной убежденности в том, что – вне зависимости от нашей слепоты или зрячести – духовная сущность, чудеса, иная жизнь существуют с такой полноценностью, несомненностью, наличностью, как нам и не снилось: «Все бывает, и больше бывает».

Знание об ином существовании обеспечивает расширение воззрений человека на самого себя, на свою жизнь. Собственная судьба оказывается при каких-то поворотах полной непредвиденных и небывалых возможностей, играющей новыми красками. В одном из стихотворений О. Седакова говорит о себе, как о бессчастной, родившейся «в черный понедельник». Но открываются глаза (в стихотворении об этом говорится с использованием традиционного, даже стертого лирического оборота «и мне снилось»):

И мне снилось, как меня любили
и ни в чем мне не было отказа,
гребнем золотым чесали косы,
на серебряных санках возили...

Но тут требуется осторожность: любые попытки насильственно приблизить к себе тайну жизни, силой проникнуть в то, что только иногда видимо внутренним зрением,

...читать по звездам,
или раскладывать камни,
песок варить и иголки,
чтобы узнать, что будет, –

эти попытки ведут к краху всех притязаний, к предчувствию полного конца, окончательной, не подлежащей обжалованию погибели:

А как огни потушат
и все по домам разойдутся

или за столом задремлют –
то-то страшно будет подумать,
где ты был и по какому делу,
с кем и о чем совещался.

***

Тут, на цитате, мне и хочется остановиться. Ведь такой вопрос, как вопрос о встрече религиозности и лирической поэзии, – из ряда неисчерпаемых. Появляется в литературе новое имя – могут явиться и какие-то новые способы разрешения религиозной мысли на путях искусства. Или, наоборот (а то и одновременно), может возникнуть и нетерпеливая читательская досада на неполноту, на неточность, на чрезмерную дерзновенность...

Но указать, где они – полнота и точность, читатель, конечно, не возьмется, Впрочем, выход из этой сложной ситуации известен, и он только один (и в то же время для каждого религиозного художника – свой): прислушаться к голосу страха Божия в себе самом, внутри своей совести художника[1]. Религиозный образ – это не послушный материал в руках поэта, и об ответственности мастера в этой работе я уже сказала. Об этой ответственности – жизненной и художественной – Седакова и напоминает:

то-то страшно будет подумать,
где ты был и по какому делу,
с кем и о чем совещался.

...Легко было Пушкину говорить о «понятном смысле правдивых разговоров!» Понятность, правдивость в лирической интерпретации религиозного переживания современного человека – задача, по меньшей мере, с тремя неизвестными (по числу прилагательных в этой фразе). Но хочет или нет, от поисков понятности (стремления не затемнить истину, по возможности не исказить ее, привнести в ее художественное воплощение как можно меньше творческого эгоизма), а также правдивости (верности Слову) не уйти искусству, стремящемуся стать духовным, религиозным.

Такому искусству мы и пожелаем приращения таких качеств.

---

1 Выход, сам по себе являющийся очередной трудной и сложной задачей, требующей от творческой личности, от интеллектуала сосредоточенности и индивидуальных усилий. Социолог Ю. Левада пишет: «Как показал анализ, с ростом образования ослабевает... страх гнева Божьего, зато растут страхи перед... искусственно созданными, социогенными факторами» (*Ю. Левада. Уходящая натура. «Знамя». №. 1992., с. 210*

ВЫХОД В ПРОСТРАНСТВО СВОБОДЫ[1]

1. ИЗ РЕКИ ПО ИМЕНИ ФАКТ

В одной из самых важных сцен романа «Жизнь и судьба» старый большевик Магар, умирающий в лагере, говорит своему другу Абарчуку (Абарчук присел на койку – рядом с трупом раскулаченного крестьянина):

«Как пытки не хочу, но должен сказать. И ты слушай, – сказал он покойнику, – это тебя касается, твоей Насти. Это последний революционный долг, и я его выполню!.. Мы ошиблись. Наша ошибка вот к чему привела – видишь... Мы с тобой должны просить прощения у него. Дай-ка мне закурить. Да какое уж там каяться. Сего не искупить никаким покаянием. Это я хотел сказать тебе. Раз. Теперь два. Мы не понимали свободы. Мы раздавили ее: и Маркс не оценил ее; она основа, смысл, базис под базисом. Без свободы нет пролетарской революции. Вот два и слушай – три. Мы проходим через лагерь, тайгу, но вера наша сильней всего. Не сила это – слабость,

Григорий ПОМЕРАНЦ – родился в 1918 г. в Вильне (ныне Вильнюс). Окончил ИФЛИ. Участник Великой Отечественной войны. Автор книг «Неопубликованное» (Мюнхен, 1972), «Сны Земли» (Париж, 1958), «Открытость бездны. Этюды о Достоевском» (Нью-Йорк, 1989), «Открытость бездны. Встречи с Достоевским» (М., 1990).

Зинаида МИРКИНА – родилась в Москве. Автор книг стихов «Святая святых» (1990), «Потеря потерей» (1991).

[1] Журнальный вариант

самосохранение. Там, за проволокой, самосохранение велит людям меняться, иначе они погибнут, попадут в лагерь – и коммунисты создали кумира, погоны надели, мундиры, исповедуют национализм, на рабочий класс подняли руки, надо будет, дойдут до черносотенства... А здесь, в лагере, тот же инстинкт им велит не меняться – если не хочешь накрыться деревян-бушлатом, то не меняйся в лагерные десятилетия... Две стороны медной монетки...» (Гроссман. Жизнь и судьба, Париж, 1980. С. 123–124).

«Мы ошиблись...» В этих словах есть присутствие автора. Не они ошиблись (большевики, революционеры, безбожники, русские, евреи), а мы ошиблись. Люди неохотно отождествляют себя с теми, кто был неправ, чья ошибка сегодня очевидна школьнику, и в этом есть какая-то фальшь. Мы живем после опыта, который опроверг Утопию, и склонны приписывать себе мудрость веховцев, отбросивших мякину. Но мы-то (по крайней мере, мы, люди старшего поколения) клевали ее. И Гроссман знает, что клевал, и признается в ошибке изнутри сознания, совершившего ошибку. В этом больше евангельского духа, чем во многих церковных проповедях.

Пафос «Жизни и судьбы», пафос «все течет» – не обличение зла извне, а совиновность. Есть у позднего Гроссмана обличительные страницы, но господствует не обличение их, а мук нашей совести.

С этим связан язык Гроссмана – язык очерка из журнала «Наши достижения». Сперва трудно его принять (мы уже заново привыкли к более личному слогу), но потом понимаешь, что все правильно, что иначе нельзя. Это язык человека, который «каплей лился с массами» и не стремился к какому-то особому, выделенному общению, по ту сторону языка газет и собраний и именно в протокольной сухости искал величия эпохи. Как Стендаль (тоже современник революции) – в наполеоновском кодексе. И Стендаль, и Гроссманн преодолевают наше сопротивление и заставляют почувствовать могущество стиля, который, «как прозрачный лак, не скрывает окраски, то есть мыслей и чувств, им выражаемых» (Стендаль, из романа «Красное и черное»).

Стиль – это установка на разговор с известного рода людьми. Расин мысленно обращался к придворному, Зощенко – к недовыговаривающим, вброшенным в культуру и с трудом ворочающим словами. У Платонова другой язык, потому что другой собеседник, – правдоискатель, выросший в деревне или на городской окраине и поверивший в революцию, как в Царствие Небесное, и автор сливается с ним совершенно, без всякой иронии... Напротив, Булгаков не желает разговаривать с шариковыми и демонстративно хранит язык старого режима, звучавший в 20-е годы как белогвардейская провокация. Солженицын по словарю Даля конструирует язык новых староверов, будущих первопроходцев Северо-востока. Гроссман говорит с советскими людьми. Так, как привык говорить с ними всю

свою прошлую литературную жизнь. Но не только по привычке.

Привычка была. Гроссман вырос из советской полуочерковой прозы 30-х годов, и вторая часть эпопеи выросла из первой, «За правое дело». Произошло чудо: посох пилигрима расцвел. Но расцвел потому, что какая-то скрытая жизнь, какой-то нравственный пафос в стиле «советского Гроссмана» был: попытка быть строго верным факту, не лгать слогом, не состязаться с величием исторического опыта, потрясающего в самом сухом, протокольном пересказе. Так было по идее с нашими достижениями (которые никого не потрясли). И так в самом деле стало с нашими преступлениями. Форма,казавшаяся мертвой, вдруг обрела жизнь.

Сухость, протокольность авторского слова уравновешивала чудовищность, немыслимость фактов. Это была единственная возможность вести связный рассказ о том, что Иконникова свело с ума. Установка на протокол не давала закричать, завыть. В слове персонажей Гроссман дает себе волю, но себя он не «выражает». Иначе не вышло бы осмысления великого исторического опыта, и рассказ уступил бы место воплю, и автор потерял бы себя: собранного, мужественного человека, не дающего страстям взять верх над разумом. Как раз в отсутствии «самовыражения» выразилась его личность. И когда входишь в «середину вещей», впечатление досадной сухости исчезает. Раскрывается эстетическая необходимость сухости, и противовес сухости и страсти создает внутренний напор книги.

Так же оправданна структура романа, без всяких модернистских выдумок. На первый взгляд, это стандартный советский классицизм: опять отечественная война и опять «война и мир». Но все, что Гроссман взял у Толстого, повернуто заново. Роман развивается как сопротивление материала традиционной форме – и постепенное изменение формы, невольно принимающей новый характер.

Есть две-три семьи, через историю которых удобно показать и фронт и тыл, есть сцены, в которых образованный герой сталкивается с простым народом. Но и семьи не те, и народ не тот, и противопоставления войны и мира, истории и внеисторического народного бытия – тоже нет. Есть война, но нет мира, нет ничего подобного сцене псовой охоты, первого бала Наташи – вообще всего того, что, как Наташа, не удостаивает быть умным и понимать историю, осмыслять ее, и преодолевает все «умное», даже не вникая в него. Война в романе Гроссмана идет и в тылу, тотальная война против личности. Самые впечатляющие сцены тыла – массовые убийства безоружных людей. Убийства физические и убийства моральные. Уцелеть иногда можно, но только отрекшись от друзей, от близких, от самого себя. Перед лицом этого испытания человеку не на что опереться, кроме самого себя. Семьи неустойчивы, легко рассыпаются, не идут ни в какое сравнение с кланами Ростовых, Болконских, Курагиных. Это, как говорил Достоевский, случайные

семейства. В решающие минуты человек один на один со своей судьбой: Магар на своей больничной койке, Крымов на следствии, Штрум в ожидании ареста...

Одиночество личности, постепенно нарастающее в романе, достигает своего предела в повести «Все течет». И в этой «предельной», «пограничной» ситуации заброшенного, прижатого к стене человека вырывается на свободу его мысль, его стремление понять судьбу и задать Богу свои вопросы. Бремя мысли, которое у Толстого лежит только на двоих – Пьере Безухове и Андрее Болконском, падает на всех.

«Жизнь и судьба» в чем-то прямо противоположна «Войне и миру». У Толстого господствует традиция народа, семьи, дворянской чести, полковой чести. Философия, обращенная к личности, делает только первые шаги, ее почти никто не слышит. В конце романа Андрей умирает, а Пьер укореняется в клане Ростовых, укореняется в духе Платона Каратаева. Господствует воля к укоренению, воля мира в обоих смыслах этого слова (без войны и без обособления личности).

У Гроссмана господствует судьба. Отдельные островки жизни и свободы все время возникают, как дом Грекова (исторически – дом Павлова), завоевавший себе независимость на ничьей земле между двумя армиями. Но та же война, которая создала дом-крепость, уничтожает его. Судьба ставит человека перед выбором: погибнуть или предать. Не только образованного человека (который у Толстого мог выбирать между народной правдой и светской фальшью), но каждого человека. Верхи и низы равны в своем праве на роковой выбор. И верхи и низы мыслят по мере своей смелости, по мере своей готовности поплатиться жизнью. Мысль перестала быть достоянием избранных. Она разлилась повсюду. Всеобщее философствование (вплоть до самых простых, малограмотных солдат) сближает прозу Гроссмана скорее с Достоевским, чем с Толстым. Но дело не в том, что Гроссман взял что-то в одном углу, а что-то в другом. Просто он присматривался к другому народу, чем Толстой: не к «рою», а к совокупности людей, готовых оставаться с вопросом без ответа, но не принимать лжи. Ибо новый народ рождается из людей, лично выносивших свою правду.

У Толстого автор в конце романа все объясняет. У Гроссмана вихрь открытых вопросов сильнее авторской воли осмыслить процесс истории. Вихрь врывается в записке Иконникова, и неромантический, свободный от быта, притчевый характер Иконникова создает себе особое эстетическое пространство: бытие выжигает быт. В повести «Все течет» это движение завершается: возникает новая проза, где сюжет сведен к нескольким формулам, за каждой из которых – целый духовный мир.

Таким образом, неоклассицизм Гроссмана оказывается глу-

боко современным искусством. В структуре романа, как и в слоге, – это попытка сохранить разум в условиях, опрокидывающих разум, в действительности, где сошедший с ума бухгалтер ведет строгий учет, сколько трупов расстрелянных он сжег, а сошедший с ума чекист создает утопию всемирного и всеохватывающего лагеря; и над всеми героями эпической войны (которых Гроссман никак не развенчивает) возвышается одинокий подвижник, добровольно идущий на казнь.

2. СОВЕСТЬ ТРОЙНОГО КРИЗИСА

Когда-то Гроссман любил Магаров – людей страстной революционной воли; и он не отрекается от своей любви.. Магар сам признает свою моральную катастрофу, и это сохраняет за ним величие «всемирно-исторической ошибки». Более того: это ставит Магара в один ряд с любимыми героями Гроссмана. В Магаре совесть революции обличает революцию, в Штруме совесть науки обличает науку, в Иконникове совесть религии обличает религию (можно прибавить, что в повести «Все течет» коллективизацию обличает Анна Сергеевна, сама раскулачивавшая крестьян). И мы не переходим от одной идеологии (атеистической и революционной) к другой идеологии (религиозно-консервативной), а порываем со всякой идеологией и выходим в пространство открытых вопросов. Над которыми веет дух, взлетающий к нерасколотому добру.

Получив письмо матери, погибшей в гетто, Штрум думает: «Есть ужасное сходство в принципах фашизма с принципами современной физики. Фашизм отказался от понятия отдельной индивидуальности, от понятия «человек» и оперирует огромными совокупностями. Современная физика говорит о больших и меньших вероятностях явлений в тех или иных совокупностях физических индивидуумов. А разве фашизм в своей ужасной механике не основывается на законе квантовой политики, политической вероятности? Фашизм пришел к идее уничтожения целых слоев населения, национальных и расовых объединений на основе того, что вероятность скрытого и явного противодействия в этих слоях и прослойках выше, чем в других группах или слоях. Механика вероятностей и человеческих совокупностей...

Бывали минуты, когда наука представлялась ему обманом, мешающим увидеть безумие и жестокость жизни. Быть может, не случайно наука стала спутницей страшного века, она – союзник его» (стр. 52).

Штрум отмахивается от этих мыслей, но они приходят к нему

снова: «Мне кажется моральным, справедливым социальный признак. Но немцам бесспорно моральным кажется признак национальный. А мне ясно: ужасно убивать евреев за то, что они евреи. Они ведь люди, каждый из них человек – хороший, злой,талантливый, глупый, тупой, веселый, добрый, отзывчивый, скаред. А Гитлер говорит: все равно, важно одно: еврей. И я всем существом протестую! Но ведь у нас такой же принцип – важно, что не дворянин, важно, что из кулаков, из купцов. А то, что они хорошие, злые, талантливые, добрые , глупые, веселые, – как же? Ведь в наших анкетах речь идет даже не о купцах, священниках, дворянах. Речь идет об их детях, внуках. Что же, у них дворянство в крови, как еврейство, они купцы, священники по крови, что ли? Ведь чушь. Софья Перовская была генеральская дочка...» (стр. 399–400).

«Что ж это? Он-то знал: статистический метод! Вероятность! Большая вероятность врага среди людей с нетрудовым прошлым, чем среди людей из пролетарской среды. Но ведь и немецкие фашисты, основываясь на большей или меньшей вероятности, уничтожают народы, науки. Этот принцип бесчеловечен. Он бесчеловечен и слеп. К людям мыслим лишь один подход – человеческий...» (стр. 401).

Но как найти этот человеческий подход? Не при наборе сотрудников в лабораторию (это Штурм придумал), а во всей широте жизни? Как избежать перехода от науки – к научной идеологии? Легко оправдаться и сказать, что по своему складу научная идеология совсем не наука; скорее, катехизис, взятый готовым на уроках закона Божия и наполненный тезисами научной теории – без духа методического сомнения, без экспериментальной проверки. Нетрудно *противопоставить* «катехизису революционера» Нечаева или «Азбуке коммунизма» Бухарина *подлинную* науку. Но Штрум не ищет оправданий. Он ищет совиновности, и он находит ее. Разве наука не оторвалась от духовного единства культуры? Разве наука не несет в себе заряд редукционизма (сведения сложного к простому, чтобы легче было это упрощенное моделировать и подсчитывать)? И разве редукционизм не лежит в основе научной идеологии (все решает классовая борьба, все решает раса и т.п.)?

Гроссман оставляет вопросы Штрума без ответа. Наука развязала силы, с которыми не может справиться. И поэтому она совиновна в их шабаше.

Но совиновна и религия! У нас в стране ее столько терзали, что некогда было задуматься о собственной вине; однако на Западе чувство совиновности в Катастрофе окрасило и Второй ватиканский собор, и протестантскую «теологию после Освенцима». Растет понимание глубокого общего кризиса историче-

ского христианства.[1] Этот кризис религии нашел своего исповедника в Иконникове – персонаже почти бесплотном, персонаже притчи, занимающем мало места в тексте романа, но очень важной для его понимания.

«В чем оно, добро? – пишет Иконников в предсмертной записке. – Кому добро? От кого добро? Есть ли добро общее, применимое ко всем людям, ко всем племенам, ко всем положениям жизни? Или мое добро в зле для тебя, добро моего народа в зле твоего народа?..

Подвинулись ли за тысячелетия люди в своих представлениях о добре? Есть ли это понятие общее для всех людей, несть эллина и иудея, как полагали евангельские апостолы? Несть классов, наций, государств? А быть может, понятие еще более широкое, общее и для животных, для деревьев, мха, то самое широкое, которое вложили в понятие добра Будда и его ученики?..

Я вижу: возникающие в смене тысячелетий представления морально-философских вождей человечества ведут к сужению понятий добра.

Христианские представления, отделенные пятью веками от буддийских, сужают мир живого, к которому применимо добро. Не все живое, а лишь люди.

Добро первых христиан, добро всех людей сменилось добром для одних лишь христиан, а рядом жило добро для мусульман.

Но прошли века, и добро христиан распалось на добро католиков, протестантов, добро православия. И в добре православия возникло добро старой и новой веры.

И рядом шло добро богатых и добро бедных, рядом рождалось добро желтых, черных, белых.

И все дробясь и дробясь, уже рождалось добро в круге секты, расы, класса; все, кто был за замкнутой кривой, уже не входили в круг добра.

И люди увидели, что много крови пролито из-за этого малого, недоброго добра, во имя борьбы этого добра со всем тем, что считало оно, малое добро, злом.

И иногда само понятие такого добра становилось бичом жизни, большим злом, чем зло.

Такое добро – пустая шелуха, из которой выпало, утерялось святое зернышко. Кто вернет людям утраченное зерно?» (стр. 276).

Не первый раз в России литература берет на себя задачу философии. И сейчас, через 30 лет после Гроссмана, его порыв к нерасколотому добру многим покажется юродством. Образованный читатель заметит мелкие неточности; например, легко под-

---

[1] Ср. статьи С.Лезова, в особенности в журнале «Октябрь». 1990. № 10.

черкнуть, что иудео-христианская традиция, выделившая человека из природы, не *после* буддизма, а рядом с ним: это монотеистическое религиозное сознание в противоположность индийскому (общему для буддизма и индуизма); отличаются друг от друга не эпохи, а регионы («культурные круги», «цивилизации», «субэкумены»). Однако остается горькой истиной, что сознание духовного единства, возникшее в «осевое время», раскололось на вероисповедания и секты; и религиозные войны предшествовали идеологическим, и тридцатилетняя война между католиками и протестантами унесла больше жизней, чем французская революция, а в процентном отношении к числу жителей – даже больше, чем русская революция: население Германии сократилось *втрое*. Двоичное мышление, знающее только или–или, возвращается от одного малого добра к другому малому добру; оно не замечает вопроса Иконникова «Что принесло людям это учение мира и любви?»

Византийское иконоборчество, пытки инквизиции, борьба с ересями во Франции, в Италии, Фландрии, Германии, борьба протестантства и католичества, коварство монашеских орденов, борьба Никона и Аввакума, многовековый гнет, давивший на науку и свободу, христианские истребители языческого населения Тасмании, злодеи, выжигавшие негритянские деревни в Африке. Все это стоило большего количества страданий, чем злодеяния разбойников и злодеев, творивших зло ради зла. Такова потрясающая и сжигающая ум судьба самого человеческого учения человечества, оно не избежало общей участи и тоже распалось на круги частного, малого добра» (стр. 277–278).

Три покаяния, поставленные рядом, говорят о тройном кризисе – религии, науки и революционной воли – восстановить попранную справедливость. Никакого частного выхода в мире Гроссмана нет – ни на Северо-востоке, ни на Западе. Он решительно не хочет искать новое малое добро и жертвовать отдельным человеком для идеи, для класса, для народа, для церкви... Он верит в то, что человек выше субботы, выше любого принципа.

3. БОГ И ИДЕЯ БОГА

Какая разница между Богом и идеей Бога? Огромная. Идеей можно овладеть, как овладевают марксистско-ленинским учением, или учением католической церкви, или православной. Богом овладеть нельзя. Можно только дать Богу овладеть нами. То, чем мы можем овладеть, что можем вместить в свой ум, *соизмеримо* с нами, *постижимо*. Бог несоизмерим с нами и непостижим. Он представим.

И не равен никакой идее Бога. Он бесконечно больше всякой идеи Бога. Идея – лишь одежда Бога. То, за что человек может ухватиться умом.

И если человек боится потерять свои собственные одежды, свой дом, свою землю, то свои идеи он боится потерять еще больше. Гораздо больше. Самые лучшие, «идейные» люди легко отдадут жизнь за идею. А если умрет их идея, им и жизнь не нужна будет.

Если умрет идея...

Все, что смертно, должно умереть. Смертная идея рано или поздно умирает. И если человек не умрет вместе с ней, не умрет духовно, он остается нищим – ничем не владеющим. И вдруг увидит, что есть нечто, чего отнять нельзя. Ибо это слито с ним самим, это его глубочайшая суть. Сущее. И это Сущее не состоит из частей и не подвержено разрушению.

Так или иначе, в одном сердце идея добра рухнула и заменилась безыдейной добротой. И на этой-то безыдейной, беззащитной, беспомощной доброте думает человек удержать мир? Безумие... Но ведь «нищий духом» неуязвим. Он ни на что внешнее не опирается. Только на свою собственную суть, которая внутри. Его нельзя разочаровать, нельзя отнять веру, смысл. Ибо все это неотделимо от него самого. Смысл его жизни и его душа – одно и то же.

Весь русский серебряный век, все его мыслители искали Бога, пытались понять и осмыслить данные векового «коллективного опыта», подойти со своего угла, найти свой Лик, своего Бога.

Все они христиане, все признавала высшим образом образ Христа, но ведь Христос Вл. Соловьева и Христос Бердяева – уже не одно. А Шестов и Розанов, а Толстой и Достоевский!..

Единый Лик раздробился на множество лиц. Но как понять, какое лицо истинно? Где же Единый Бог?

В единстве. Бог есть то, в чем (ком) все и вся сливаются в Одно. Бог есть то, что связывает всех и вся.

Моим может быть путь, дверь, тропа – подход к Богу. Но там, где Бог, нет моего и твоего. Ты можешь прорыть свой ход в открытое пространство Бога, обнимающее, проникающее всех и вся. Пространство – не ТВОЕ. Небо не делится. Оно обнимает всех.

Можно объединиться с группами, идущими по одной дороге; можно идти вместе. Можно идти порознь. Но как все реки впадают в море, все ИСТИННЫЕ пути ведут в Единое. Оно не определяется твоими представлениями, не измеряется твоими понятиями. Оно определяет и измеряет тебя, а не ты Его.

Если ты еще отделяешь и разрезаешь, если жизнь ты хранишь для одних и отнимаешь у других, не надейся, что ты нашел Бога. Ты нашел свое представление, свою идею Бога, которая может быть началом пути, точкой отсчета, – но не дай Бог на ней остановиться! Остановка – путь вспять, в смерть, а

не в жизнь. Это начало безумия.

Если заповедь о духовной нищете – самая трудная для понимания, то самая трудная для исполнения – заповедь о любви к врагам. Большинством людей она ощущается как что-то неестественное и ненужное, или уж слишком высокое и недостижимое.

Но вот в книге «Жизнь и судьба» любовь и сострадание к врагам живет как-то само собой, безо всякой идеи о необходимости этого, безо всякого императива. Это есть – и все.

В книге почти не цитируется Евангелие, не говорится, как надо поступать. Она вовсе не претендует на учительство. Она просто показывает: вот простая крестьянская русская баба, без всяких идей. В ее избе расположились немцы-каратели и ведут себя так, точно она кошка, а не человек. У нее только что увели мужа, может быть на расстрел... Нет, она не может любить этих нелюдей. Она задавлена, задушена ими, она хочет только одного – чтобы они исчезли, сгинули. Но вдруг один из них случайно простреливает себе живот и корчится в агонии. И тут, наконец, замечает ее и просит воды. И она приносит ему воды, и приподнимает его, и дает ему обхватить свою шею руками, хотя придушить его ничего не стоит – и ведь надо бы, надо бы... Но что поделаешь с дурацкой душой, для которой всякая боль – своя боль?..

Эта баба – одна из тех, которые убили в Иконникове идею, что Бога нет. Бессмысленная, дурацкая, сверхразумная доброта... Чувство, что всякая боль – твоя боль... Так это есть на земле? – Есть. Рядом с другим чувством подпольного человека Достоевского: «Миру провалиться, а мне чай всегда пить».

В книге есть свои полюсы добра и зла. Но основная масса живет не на полюсах, а в средней полосе. И в каждой душе происходит движение – то вверх, то вниз.

Только хорошие или только плохие? Их невероятно мало. Может быть, совершенные праведники – разве лишь Иконников и Марья Ивановна Соколова. А абсолютные злодеи... Но, впрочем, не так уж обязательно называть их. Разумеется, они есть, но самое страшное – это не они, а массовое движение душ к полюсу зла. Как прекратить это движение? Отделить, отрубить зло? Уже много раз пробовали. И мир, в котором мы живем, – результат этих проб. Что же делать?

В одной восточной притче говорится, что зло – это многоголовая гидра. И если отрубить ей головы, то из крови, пролитой на землю, вырастет десять других. Выход только один – заморить гидру голодом. Не кормить зло собственной душой, в собственной душе.

Такой же молчаливый, не сказанный, но показанный ответ этой книги. Без окончательных выводов, без слов даже, самим мирочувствованием, самими судьбами и характерами героев, отношением к ним.

Религиозная идея, давно похороненная русской революцией, оказывается, не умерла – или выросла на развалинах храмов, на обломках старой культуры. Снова зачитываются мыслителями серебряного века, снова русская интеллигенция открывает Христа и видит, что не так-то легко найти идеал повыше...

Только одно остается как-то совершенно незамеченным, точно этого и не существует, – разница между Богом и идеей Бога.

Людям кажется, что можно повернуться к Богу, попросту переменив идейную ориентацию, принадлежность к той или иной партии. А такие «беспартийные» чувства, как благоговейный страх – страх обидеть, ранить кого-то, или благоговейный трепет перед Тайной, единящей нас всех и никем не понятой до конца, – такие чувства как были, так и остались где-то на периферии внимания. В центре другое: мы или они?

И если раньше все подтверждалось цитатами из Маркса или Ленина, то теперь все на свете можно подтвердить цитатами из Евангелия. Мы овладели идеей. Мы вооружены.. Сказано в Евангелии – « не мир, но меч». Вот и давайте разделимся.

Люди по-прежнему строят свою Вавилонскую башню и полны надежды добраться до самого Бога, а подчас и уверены, что уже добрались, что истина у них в кармане. У них монополия на истину, на Бога. Он «наш». Нет Бога, кроме нашего Бога, и тот-то и тот-то – пророк его.

Снова МЫ и ОНИ: наш Бог – их Бог. Так чей же все- таки Бог? Наш или их?

В древней притче царь Соломон решал спор двух матерей: кому принадлежит ребенок? Он предложил, как известно, разрубить ребенка пополам. Одна согласилась, а другая предпочла отдать ребенка, только бы он остался цел. Мудрый судья понял, которая мать была настоящей.

Такой настоящей матерью истины представляется нам книга Гроссмана «Жизнь и судьба». Она добивается только одного: чтобы Истина, чтобы Добро, чтобы Душа человека и человечества оставались ЦЕЛЬНЫМИ. Читая ее, понимаешь, что, убивая, нельзя исцелить. Вот и все. И только-то?

Религия – связь. Религия – соединяет. Разделение – дело идеологии. (И, может быть, иногда святое дело, когда оно – хирургия, а не убийство, когда она режет без ненависти). Осуждая, ненавидя, (не что, а кого; не грех, а грешника), не понимая, что мы суть Одно, нельзя подходить к решению религиозных задач.

А Василий Гроссман подходит к решению религиозных задач? Подходит. Хотя не пытается их решать. Он понял то, без чего к религиозным задачам нельзя и близко подходить. И это великое понимание. Нет, в этой книге не ведется разговор о Боге. Здесь ведется разговор о человеке. Развенчиваются, разрушаются его

выдуманные, безумные идеалы и расчищается даль, сквозь которую виден идеал истинный – Сущий. Расчищаются пути к Господу.

4. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОСЬ

Гроссман не Иконников и не Иван Григорьевич; по большей части он ближе другим своим воплощениям. Но точно так же Достоевский не Мышкин и не Алеша. И все же именно они, своим порывом к нерасколотому добру, создают вертикаль, вокруг которой строится действие. И можно представить себе духовный строй «Жизни и судьбы» как расширяющийся книзу конус. В его верхней точке – Иконников, а внизу – поле битвы, где столкнулись в смертельной схватке две одинаково страшные системы.

С запиской Иконникова сюжетно связан политический узел романа – разговор Лисса с Мостовским. Вернее – бесконечная речь оберштурмбаннфюрера, которую заключенный Мостовский вынужден слушать. Лисс ни минуты не верит, что записка, найденная под матрацем Мостовского, была написана старым большевиком; просто хочется поговорить:

«Когда мы смотрим в лицо друг другу, мы смотрим не только на ненавистное лицо, мы смотрим в зеркало. В этом зеркале – трагедия эпохи. Разве вы не узнаете себя, свою волю в нас? Разве для вас мир не есть ваша воля, разве вас можно поколебать, остановить?..

Два полюса! Конечно, так! Если бы это не было совершенно верно, не шла бы сегодня эта ужасная война. Мы – ваши смертельные враги, да; да, но наша победа – это ваша победа. Понимаете? А если победите вы, то мы и погибнем, и будем жить в вашей победе. Это как парадокс: проиграв войну, мы выиграем войну, мы будем развиваться в другой форме, но в том же существе...» (стр. 270–271).

Замечательно, что Лисс не обсуждает идеи большевизма, идеи нацизма – он начинает с сути дела, со взрыва воли к насилию, разбуженной первой мировой войной; идеи для Лисса – фиговые листки. Решает воля к тоталитарному государству, к мировому господству. Мостовскому мучительно слушать это; он предпочел бы физическую пытку (вспомни Магара: «как пытки не хочу»). Мостовский убежден, что большевики не этого хотели, у них была другая цель; но где-то, на самой глубине, он глухо чувствует: цель, отнесенная в светлое будущее, оказалась приманкой Утопии. И пусть, пусть она захватила людей мужественных, жертвенных – и долго удерживала своим обаянием, – она все же приманка, иллюзия, ложь...

Абсурдность выбора между Сталиным и Гитлером сегодня

осознана и вызвала отталкивание от всей героики войны (отталкивание, сблевывающее пошлости «военно-патриотического воспитания»). Вслед за героями революционных фильмов, Лениным и Чапаевым, в анекдот спустились герои войны. В этом есть какая-то трагическая горечь, «насмешка обманутого сына над промотавшимся отцом». «Чонкин» и его отголоски так же оправданы, как «Симплициссимус-45» у немцев. Но есть в разливе пародийного сознания что-то избыточное; Ксения Мяло называет это «хроницидом», – убийством смысла истории. Она пытается доказать, что смысл был:

«Формула «война двух тоталитарных государств», популярная в последнее время, в сущности, ничего не объясняет. И государств было не два, а больше, и бесспорный тоталитарный характер СССР не отменяет ни его места в антигитлеровской коалиции, ни вопроса о том, что было бы, если бы... Если бы победила идея расы, ибо «манихейская война», на наш взгляд, была именно войной идеи расы против идеи человечества. А то, что отстаивать последнюю довелось России, облаченной в форму тоталитарно-коммунистического государства, лишь усугубляет трагедию и саму сложность вопроса, от которого легко отвернуться, как отворачиваются от могил...» (К.Мяло. Посвящение в небытие. «Новый мир», № 8, 1990, стр. 241–242).

«Что было бы, если бы...» (многоточие автора) имеет известные исторические рамки. Гитлер был дважды обречен. Как всякий человек, больной национальной озабоченностью, он чувствовал душу отечественного мещанина и мог вызвать в ней взрыв энтузиазма, но совершенно не понимал чуждых ему человеческих типов. Он недооценил потенциальной силы России – и потенциальной силы ученых, вынужденных бежать из Германии. Если бы не было Сталинграда и Курской дуги, если бы советские армии не поспели на Эльбу, – оставалась атомная бомба. Сталин, подхлестывая наступление, нечаянно спас Германию от атомной смерти (Гитлер не капитулировал бы, как Хирохито) и, может быть, всю Европу от гигантского Чернобыля. Даже если бы немецкие армии дошли до Урала, это не остановило бы работы Опенгеймера и его соратников. В худшем случае, понадобилось бы больше бомб, и немецкие армии в России остались бы без Германии. Или граф Штауфенберг взорвал бы фюрера. Тогда Сталину нечем было бы гордиться, русские не были бы отравлены дурманом победы и на несколько десятилетий раньше освободились бы от рабства. А в исторической реальности разгром немецкого расизма положил начало отечественному расизму.

Роман Гроссмана вмещает в себя обе точки зрения: и на абсурдность войны, и на ее народность:

«Национальное сознание проявляется, как могучая и прекрасная сила, в дни народных бедствий. Народное национальное сознание в такую пору прекрасно, потому что оно человечно, а не потому, что оно национально. Это – человеческое достоинство,

человеческая верность свободе, человеческая вера в добро, проявляющиеся в форме национального сознания. Но ... у начальника отдела кадров, сберегающего коллектив учреждения от космополитов и буржуазных националистов, и у красноармейца, отстаивающего Сталинград, по-разному проявляется национальное самосознание» (стр. 463).

«Логика развития привела к тому, что народная война, достигнув своего высшего пафоса во время Сталинградской битвы, именно в этот сталинградский период дала возможность Сталину открыто декларировать идеологию государственного национализма...

Родимые пятна российской социал-демократии были сняты, удалены. И именно в пору сталинградского перелома, в пору, когда пламя Сталинграда было единственным сигналом свободы в царстве тьмы, открыто начался этот процесс переосмысления» (стр. 464). – процесс прямого подражания гитлеровскому нацизму. Победив, Сталин дополнил свою политику стратоцида (истребления социальных слоев) гитлеровской политикой геноцида и стал еще более жестоко, чем до войны, ссылать целые народы – так, что половина погибала по дороге. Победив, Сталин стал называть равноправие людей безродным космополитизмом и проводить чисто расистскую политику кадров, заменив роковой шестой пункт (социальное происхождение) роковым пятым пунктом (национальность – под которой понималась раса). Именно после победы советская идеология стала почти открыто черносотенной и заложены были основы нынешнего курса журналов «Наш современник», «Молодая гвардия» и пленумов Союза писателей РСФСР (Суслов, направлявший развитие в сторону «Памяти», – прямой наследник Сталина).

К сожалению, этот печальный случай – не единственный в русской истории. Народ, с богатырским размахом защищавший свою свободу от иноземцев, укреплял государство, а государство сворачивало победителей в бараний рог и превращало воинов в рабов.

В романе есть замечательная сцена. Немецкая авиация неслыханной даже в Сталинграде бомбежкой пробивает путь к Волге. Под удар попал и русский, и немецкий передний край. Солдаты спасаются из окопов (слишком мелких) в глубокие воронки на ничейной земле. И вот двое русских солдат оказались в одной воронке с немцем. Когда бомбежка кончилась, «Климов приподнялся, подле него лежал покрытый пылью, тертый, жеванный войной с пилотки до сапог немец. Климов не боялся немцев... Но сейчас он растерялся, его поразило, что, оглушенный и ослепленный, он утешался, чувствуя немца рядом, что руку немца он спутал с поляковской рукой. Они смотрели друг на друга. Обоих придавила одна и та же сила, оба были беспомощны бороться с этой силой, и казалось, она не защищала одного из них, а одинаково угрожала одному и другому...

Жизнь была ужасна, и в глубине их глаз мелькнуло унылое прозрение, что и после войны сила, загнавшая их в эту яму, вдавившая мордами в землю, будет жать не только побежденных » (стр. 299).

Таков ад страха и ненависти, ад бессмысленной войны малого добра с другим малым добром. Но именно на самом дне - вдруг охватывает бесстрашие и вместе с ним приходят прозрение, свобода и любовь.

5. НЕИСТРЕБИМОСТЬ СВОБОДЫ

«Человеческая душа, ставшая на службу фашизму, объявляет зловещее, несущее гибель рабство единственным и истинным добром. Не отказываясь от человеческих чувств, душа-предательница объявляет преступления, совершенные фашизмом, высшей формой гуманности... В помощь инстинкту приходит гипнотическая сила мировых идей. Они призывают к любым жертвам, к любым средствам ради достижения величайшей цели – грядущего величия Родины, счастья человечества, нации, класса, мирового прогресса... Насилие тоталитарного государства так велико, что оно перестает быть средством, превращается в предмет мистического религиозного преклонения, восторга» (стр. 138).

Но «природное стремление человека к свободе неистребимо, его можно подавить, но его нельзя уничтожить» (стр. 139).

Свобода возрождается всюду, где исчезает страх. И вот сама война требует бесстрашия, и свобода возрождается в пекле, там, где родилась пословица: «хуже каторги не будет, дальше фронта не пошлют». На войне люди расправлялись, сбрасывали привычки рабства, начинали свободнее жить и мыслить. Это факт, его могут подтвердить многие фронтовики. Но дом «шесть дробь один» в романе Гроссмана – не просто фронт, не фотография с натуры. Это метафора распрямившегося народного духа, это Телемская обитель Рабле на переднем крае. Каждый в этой обители делал что хочет. Лейтенант Зубарев «учился до войны в консерватории. Иногда ночью он подбирался к немецким домам и начинал петь то «О, не буди меня, дыхание весны», то арию Ленского. Зубарев отмахивался, когда его спрашивали, для чего он забирается в кирпичные груды и поет с риском быть убитым» (стр. 171). А Греков (управдом) его не удерживал. Он понимал, что сила его гарнизона – в чувстве свободы и равенства перед лицом смерти.

«Для Сережи, прожившего всю жизнь в интеллигентской среде, стала очевидной правота бабушки, всегда твердившей, что

простые рабочие люди – хорошие люди. Но умненький Сережа сумел заметить бабушкин грех – она все же считала простых людей простыми. В доме «шесть дробь один» – люди были не простые. Греков поразил как-то Сережу словами:

– Нельзя человеком руководить, как овцой, на что уж Ленин был умный, и тот не понял. Революцию делают для того, чтобы человеком никто не руководил. А Ленин говорил: «Раньше вами руководили по-глупому, а я буду по-умному».

Никогда Сережа не слышал, чтобы с такой смелостью люди осуждали наркомвнудельцев, погубивших в 1937 году десятки тысяч невинных людей.

Никогда Сережа не слышал, чтобы с такой болью люди говорили о бедствиях и мучениях, выпавших крестьянству в период сплошной коллективизации. Главным оратором был сам управдом Греков...» (стр. 171–172).

А власть теряла силу. Она ничем не могла пригрозить, и если пыталась приказывать – Греков «сбил ладонь (радистки) с переключателя – она испуганно вскрикнула. Он усмехнулся, сказал: осколок мины попал в радиопередатчик, связь наладится, когда Грекову нужно будет» (стр. 166).

«Телем» в доме «шесть дробь один» прикончили немцы, обрушив на него лавину бомб. Дом рухнул. Но всюду, где исчезал страх, возникали новые очаги свободы. В лагере военнопленных зона свободы – вокруг майора Ершова. «В нем жило нерушимое, задорное, неистребимое презрение к насилию» (стр. 210). Ершову казалось, «что, борясь с немцами, он борется за свободную русскую жизнь, победа над Гитлером станет победой и над теми лагерями смерти, где погибли его мать, сестры, его отец...» (стр. 212).

Иногда мужество ведет за собой свободную мысль. А иногда мысль, достигнув какого-то предела интенсивности, сама вырывается из пут страха и тащит за собой человека, вообще-то совсем не героя, скорее робкого и даже слабого (как был слабым, помимо минут творческой силы, О.Э.Мандельштам). Так мысль тащит за собой Штрума и его друзей. И в разговоре о Чехове набрасывается программа «выдавливания из себя раба», программа демократической русской культуры.

«Он сказал, как никто до него, даже Толстой не сказал: все мы прежде всего люди, понимаете ли вы, люди, люди, люди! Сказал в России, как никто до него не говорил. Он сказал: самое главное то, что люди – это люди, а потом уж они архиереи, русские, лавочники, татары, рабочие. Понимаете – люди хороши и плохи не от того, что они архиереи или рабочие, татары или украинцы, – люди равны, потому что они люди... Чехов знаменосец самого великого знамени, что было поднято в России за тысячу лет ее истории – истинной, русской, доброй демократии, понимаете, русского человеческого

достоинства, русской свободы. Ведь наша человечность всегда посектантски непримирима и жестока... Русский человек за тысячу лет всего насмотрелся – и величия, и сверхвеличия, но одного не увидел – демократии» (стр. 187–188).

Рассыпанные по всему роману, такие разговоры смываются стремительным ходом действия. Но поставьте в центр записку Иконникова, соберите все диалоги вокруг нее – и возникнет стройное целое.

Гроссман боится идеи Бога, во имя которой людей распинали и жгли на кострах, но в сердце его, изнутри, действует Бог. Нравственность его книги – евангельская: в ней нет ненависти к людям, ставшим невольными орудиями зла. И нет оборотной стороны ненависти: идеализации благородных героев. Сослуживцы, травившие Штрума, делали это неохотно, покоряясь необходимости, и были искренне рады, когда Штруму позвонил Сталин и травля прекратилась. Сам Штрум – очень близкий автору персонаж, центральный персонаж «мира» (как Греков – нравственный центр «войны») – то подымается, то падает, празднует труса, знает минуты совершенной духовной свободы – и вдруг уступает нажиму и совершает поступок, который до конца дней будет считать подлостью. Почти все время он талантливее, свободнее, сильнее, независимее Соколова, но в какой-то миг его оставила благодать свободы, а к Соколову – неожиданно для всех – она пришла. И самое ценное нравственное приобретение Штрума, в конце книги, – жгучая память о своем падении, о своей слабости, не произнесенная, не написанная, не дошедшая до сознания молитва грешника.

Всякий человек, попавший в беду, может рассчитывать на наше сочувствие. В том числе Крымов, один из авторов системы, которая топчет его, – никогда не сомневавшийся «в праве партии действовать мечом диктатуры, святом праве революции уничтожать своих врагов» (стр. 353). У Гроссмана нет попытки предугадать Божий суд и раз навсегда рассортировать людей на палачей и жертв. Крымов, пишущий донос на Грекова, отталкивает. Крымов, попавший на Лубянку, искупает свои грехи страданием, и чуткая сердцем Женя отказывается от любви хорошего, нежного к ней человека ради верности разведенному мужу, фанатику, с которым она не смогла ужиться, – и будет теперь посылать посылки в лагерь. Гроссман чувствует в лад с богословами, признавшими «крещенными кровью» жертвы тотального насилия. Во всем его творчестве звучит невыговоренный текст молитвы: и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим. Рельефнее всего – в последних строчках повести «Все течет»:

«Никогда он не видел свою жизнь, всю целиком, и вот он увидел ее.

И увидя ее, он не испытал злобы к людям.

Все они, и те, кто вели его, толкая прикладом, в кабинет следователя, и те, кто не давал ему спать на допросах, и те, кто подло говорил о нем на собраниях, и те, кто отрекался от него, и те, кто крал его лагерный хлеб, и те, кто бил его, – все они в своей слабости, грубости, злобе делали зло не потому, что им хотелось причинить ему зло.

Они изменяли, клеветали, отрекались потому, что иначе не проживешь, пропадешь,и все же они были людьми. Разве эти люди хотели того, чтобы он, потеряв любовь, старый, одинокий, шел к своему заброшенному дому?

Люди не хотели никому зла, но всю жизнь люди делали зло.

И все же люди были людьми. И чудное, дивное дело – хотели они того или нет – они не давали умереть свободе, и даже самые страшные из них берегли ее в своих страшных, исковерканных и все же человеческих душах».

6. СВОБОДА И РАБСТВО

Печатание романа Гроссмана в «Октябре» вызвало ряд нареканий. Не понравилась, в частности, сцена, в которой уголовник Николай Угаров убивает старого коммуниста Абрама Рубина. Одна литературная дама нашла тенденциозным, что русский убивает еврея. Это, однако, бытовая правда: евреев-бандитов в 40-е годы уже не было, перевелись. А факты – упрямая вещь, даже если они не соответствуют стереотипам национальной озабоченности.

Высказывалось также общее суждение, что Гроссман болеет за одних евреев и равнодушен к русским страданиям. Это какой-то дальтонизм. Гроссман при каждом случае вспоминает коллективизацию с такой болью, которой в то время ни у кого нельзя было найти, по крайней мере – в печати. Но о евреях он тоже пишет, по европейским стандартам – столько, сколько требовалось. Европа была потрясена геноцидом, и там письмо Анны Семеновны Штрум из гетто или сцены гибели в газовой камере никому не показались бы излишними. Режут эти сцены глаз только на фоне спора – какой народ больше страдал. Спор нелепый: страдание нельзя подсчитать, оно у каждого человека разное. Можно подсчитать число погибших; эти числа у больших народов всегда побольше: китайцев погибает больше, чем русских, а русских больше, чем крымских татар. Из чего, однако, не следует, что крымские татары, погибавшие в запертых вагонах, или евреи, задушенные в газовых камерах, или армяне, которых буквально разрывали на части, недостаточно пострадали. Смысл спора – «побег из лагеря общей памяти» (Адамович) –

доказать, что злодействовали – они, а мы только страдали. Поэтому обидно, что Угаров убил Рубина. Надо бы, чтобы Рубин вбил гвоздь в ухо Николая Угарова.

Гроссман знал, что за каждым его словом следят разнузданные антисемиты. Разгромная статья Бубеннова против романа «За правое дело» достаточно памятна; так же как образ Бубеннова, отпечатавшийся в нескольких эпиграммах.

Роман Гроссмана «Жизнь и судьба» написан с некоторым полемическим пафосом. И геноциду посвящено много страниц, даже с некоторым нарушением хронологии (немцы принялись сжигать трупы расстрелянных после Сталинграда, когда пришлось думать – как скрыть следы преступлений). Мешает ли это художественному впечатлению? Думается, что нет. Так же как воспоминания о коллективизации, тоже хронологически не связанные с сюжетом. Сразу за главами о смерти Софьи Осиповны и маленького Давида в газовой камере идет рассказ старухи Чуняк об истреблении голодом украинских крестьян. И так Гроссман болел этой темой, что еще раз вернулся к ней в предсмертной своей повести «Все течет». Сцены, которые рисует Анна Сергеевна, потрясают.

Что касается пропорций двух тем в романе, то тут сказались нелитературные обстоятельства. Гроссман был одним из составителей «Черной книги» о преступлениях расистов. Книгу запретили, и он попытался спасти часть ее материалов в романе (который тоже был запрещен).

Видимо, некоторые читательницы невольно отождествляли себя с соседкой Анны Семеновны.

«Соседка моя, вдова, у нее девочка шести лет, Аленушка, глаза синие, чудные глаза, я тебе писала о ней когда-то, зашла ко мне и сказала: «Анна Семеновна, попрошу вас к вечеру убрать вещи, я переберусь в вашу комнату». – «Хорошо, я тогда перееду в вашу». – «Нет, вы переберетесь в каморку за кухней».

Я отказалась, там ни окна, ни печки.

Я пошла в поликлинику, а когда вернулась, оказалось: дверь в мою комнату выломали, мои вещи свалили в каморке. Соседка мне сказала: «Я оставила у себя диван, он все равно не влезет в вашу новую комнату».

Удивительно, она кончила техникум, а покойный муж ее был славный и тихий человек, бухгалтер в Укопсилке. «Вы вне закона», – сказала она таким тоном, словно ей это очень выгодно. А ее Аленушка сидела у меня весь вечер, я ей рассказывала сказки. Это было мое новоселье, и она не хотела идти спать, мать ее унесла на руках» (стр. 46–47).

Обвинители Гроссмана сами себя выдают, – с кем они.

На серьезный спор толкают только рассуждения о Ленине и Сталине, несколько вырывающиеся из повести «Все течет», своего

рода вставное эссе, опыт философии советского периода русской истории и отчасти всей русской истории. При первом чтении, в самиздате 60-х годов, эти страницы потрясали своей новизной. Сейчас, когда тема Ленин – Сталин десятки раз растолкована и перетолкована, бросаются в глаза промахи и недоработки. Однако ярость, с которой набросились на них критики Гроссмана, заставляет вспомнить «Маленького героя» Достоевского: «Но грубо не узнают они истины в уклоненной, переходной и неготовой форме и отталкивают все, что еще не поспело, не устоялось и бродит...»

Перечитывая Гроссмана, вряд ли можно принять железную необходимость, с которой развитие революции вело к Ленину, а от него к Сталину. В этой концепции не остается места ни для исторической случайности, ни для свободы воли:

«Великая раба остановила свой идущий, сомневающийся, оценивающий взгляд на Ленине. Он стал избранником ее («Октябрь», № 6, 1989, стр. 96). «... развитие Запада оплодотворялось ростом свободы, а развитие России оплодотворялось ростом рабства. История человека есть история его свободы... Русское развитие обнаружило странное существо свое: оно стало развитием несвободы. Год от года все жестче становилась крестьянская крепость, все таяло мужичье право на землю, а между тем русские наука, техника, просвещение все росли да росли, сливаясь с ростом русского рабства» (стр. 97).

Сквозь гиперболы, продиктованные страстью, проступает много верного. Верно, что Ленин оборвал процесс эмансипации, начавшийся, по Гроссману, в 1861 году (а по нашему мнению – в 1762-м, с указа о вольности дворянства). Верно, что привычка решать технико-экономические задачи не освобождением, а закрепощением работника – очень стара в России. Но это не история во всем ее богатстве, а одна ее тенденция, превратившаяся в языческий рост. Восставая против мифа о Ленине, Гроссман создает новый миф:

«По-прежнему ли загадочна русская душа? Нет, загадки нет. Да и была ли она? Какая загадка в рабстве?» (стр. 98–99). Это настолько уж просто, что Гроссман тут же оговаривается: закон развития «определен теми параметрами, а их десятки, а может быть, и сотни, в которых шла история России... И пусть в эти параметры, в леса и степи, в топи и равнины, в силовое поле между Европой и Азией, в русскую трагическую огромность тысячу лет назад вросли бы французы, немцы, итальянцы, англичане – закон их истории стал бы таким же...» (стр. 99). К сожалению, верный ход мысли, необычайно важный, остается неразвитым; и рассуждение снова сбивается в антимиф:

«Пора понять отгадчикам России, что одно лишь тысячелетнее рабство создало мистику русской души» (стр. 99).

Если так, то откуда взялся взрыв русской воли к свободе в

доме «шесть дробь один», у майора Ершова, у самого Ивана Григорьевича? Как помирить Гроссмана с Гроссманом? Как, по меньшей мере, объяснить это противоречие, с которым умирающий писатель не успел справиться?

Разгадка в характере времени – и в характере Гроссмана. Время изменилось. Мы, старики, помним, как оно менялось, как воины-освободители, полные чувства собственного достоинства, съеживались и делались рабами, большей частью – даже без кукиша в кармане. Всего за каких-нибудь четыре года, с 1945-го по 1949-й.

В 1946 году в МВТУ им. Баумана пришел парторг ЦК, на каждом шагу ругавший жидов. Коммунистам это не понравилось, и на выборах парторг был забаллотирован. Это было сочтено антипартийной группировкой. Трех заводил арестовали. Первичную организацию разделили на две: профессорскую и студенческую. После этого профессорская организация послушно исключала всех намеченных для гражданской казни; а студенческая (из молодых фронтовиков), не решаясь больше на открытый бунт, в каждом отдельном случае заменяла исключение выговором или строгим выговором; и не выдала товарищей. Надо прибавить, что исключали за антисемитизм: поскольку фракционное антипартийное поведение способствовало развитию антисемитизма. Слово «космополитизм» еще не было пущено в ход. Но то было в 1946-м. В 1949 году, после кампании против низкопоклонства перед Западом и против безродных космополитов, все голосовали как надо.

Это помним мы, старики. А молодым хорошо бы вспомнить прекрасную повесть Кураева «Капитан Дикштейн». Особенно сцену, где мятежный матрос, свистом сгонявший с трибуны большевистских ораторов, покорно стоит часами в очереди перед запертым ларьком по приему стеклотары и готов заискивать перед скверной бабой – приемщицей.

Вот такое превращение орлов-воинов в мокрых куриц Гроссман не мог вынести. Именно потому, что он всей душой был предан русской свободе. И он обличает возвращение к рабству, как пророки Израиля – возвращение к язычеству. С таким же гневом и такими же гиперболами.

Одна из гипербол – категорическое неприятие каких- либо разговоров о загадочной русской душе. Такие разговоры чаще всего велись вокруг Достоевского, и спор Гроссмана с мифом о русской душе – это спор с Достоевским. Вернее, с одним аспектом творчества Достоевского – с любовью к нравственно неустойчивым характерам, беспорядочным, но с порывами благодати. Благодать у Достоевского – иррациональный мистический порыв, вдруг озаряющий пьяницу Мармеладова, мошенника Лебедева, дебошира Митю, и чуждый людям рационально устроенным. Однако у Достоевского вовсе не

было уверенности, что нравственная беспорядочность – постоянная, утвердившаяся и в общем хорошая русская черта. Устами одного из своих персонажей он высказывает сомнение – особенная ли это широкость русского человека, обещающая ему великое будущее, или просто подлость? А другой говорит: широк, слишком широк человек, я бы сузил! Правда, формально это всего лишь реплики персонажей. Но Достоевский – писатель, мысливший характерами мыслителей, и именно в репликах персонажей – его самые глубокие мысли. Именно в них раскрывается парадоксальность русской консервативной мысли, нашедшей выражение и помимо Достоевского – в замечании Леонтьева, что в России легче встретить святого, чем элементарно порядочного человека; или в проповеди о. Иосифа Фуделя (современника и корреспондента Леонтьева), кончавшейся словами: «радуйтесь, грешники! Праведников поведет в рай апостол Петр, а вас – сама Божья Матерь!»

Для Гроссмана вера без дел мертва, религиозное и этическое чувство нераздельны, и благодать – это порыв к целостному добру. Падре целует руку Иконникову, отказавшемуся строить газовую камеру; и это символ преклонения расколовшегося исторического христианства перед евангельским. Гроссману нужна вера, которая помогает выйти из рабства, а не оставаться в рабстве. Этой сложившейся веры у него нет, но он *ее* ищет.

Современный православный писатель Вл. Зелинский как-то заметил, что нераздельность религии и этики – скорее еврейская, чем русская черта. Правильнее было бы сказать: скорее иудейская, чем православная; но также – скорее протестантская, чем православная, и русские народные течения сплошь и рядом неправославны, тяготеют к протестантской этике. Да и в современном православии, если присмотреться, есть движение меньшинства к «ортопраксии», то есть к «православному варианту протестантской этики» (как выразилась И.Роднянская о С.Н.Булгакове)[1]. Поэтому было бы, вероятно, неверно считать спор Гроссмана с Достоевским спором двух этнических типов. Это спор двух человеческих типов. И еще не решено, какой тип займет преобладающее место в России.

Этика Гроссмана – это этика свободы. И он остается страстным исповедником своей нравственной веры в повести «Все течет». Гроссман восхищается русскими людьми, вставшими насмерть за свою свободу. Гроссман возмущен русскими людьми, согласившимися на рабскую долю. Однако разница между романом и повестью не так уж велика. Свобода остается сверхценностью и для гарнизона дома «шесть дробь один», и для Ивана Григорьевича.

---

[1] На сегодняшний день это прежде всего традиция А.В.Меня.

Все, наверное, помнят «Тоску по родине» Марины Цветаевой:

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И все равно, и все едино.
Но если на дороге куст
Встает... Особенно рябина...

В повести «Все течет», после инвективы против русского рабства, – та же рябина: вспоминается друг, не веривший в победу свободы. И оказывается, что Иван Григорьевич (и сам Гроссман) верят – вопреки своей же логике – в победу русского порыва к свободе над традицией русского рабства.

Попытаемся посчитать, сколько раз в повести прорывается воля к свободе. Выйдет нарастающая волна:

«... нет выше счастья, чем слепым, безногим выползти на брюхе из лагеря и умереть на воле, хотя бы в десяти метрах от колючей проволоки» (стр. 59).

«Я в Ленинград не вернулся не только потому, что жена и дочь погибли. Не могу я смотреть своими рабочими глазами на участь путиловского пролетариата. Бастовать, и то не может. А какой же рабочий без права забастовки». (стр. 61).

«Русская земля щедро рождает и собственных Платонов, и быстрых разумов Невтонов, но как ужасно и просто пожирает она своих детей» (стр. 63).

«С трагической очевидностью определился святой закон жизни: свобода человека превыше всего; в мире нет цели, ради которой можно привести в жертву свободу человека» (стр. 91).

«В этом государстве не только малые народы, но и русский народ не имеют национальной свободы. Там, где нет человеческой свободы, не может быть и национальной свободы, ведь национальная свобода – это прежде всего свобода человека» (стр. 102).

«Свобода совершалась в глубокой тьме и в глубокой тайне... Как бы ни были огромны небоскребы и могучи пушки, как бы ни была безгранична власть государства и могучи империи, все это лишь дым и туман, который исчезнет. Остается, развивается и живет лишь истинная сила – она в свободе. Жить – значит быть человеку свободным. Не все действительное разумно. Все бесчеловечное бессмысленно и бесполезно!» (стр. 105).

В повести изображен свободный русский человек, проклинающий русское рабство. Которое ему, свободному русскому человеку, поперек горла. Тем, кого проклятия возмутили, рабство само по себе, видимо, не очень мешает. Невыносимо, оскорбительно, отымает душевный покой только слово «раб». Нельзя говорить о веревке в доме повешенного.

Обвинителям Гроссмана следовало бы доказать, что он ненавидит Иконникова, Грекова, Новикова, Женю Шапошникову, Марью

Ивановну... Но живые характеры, изображенные писателем, и есть живая Россия. Когда же писатель или близкий к нему персонаж мыслит о России отвлеченно, то фактически речь идет об одной-двух тенденциях русской жизни, о какой-то модели – и только. Потому что охватить всю Россию мыслью – на это не хватит не только нескольких реплик, но нескольких томов. И тенденция к рабству, обрисованная Иваном Григорьевичем, никак не зачеркивает неудержимого порыва к свободе у того же Ивана Григорьевича, у Грекова и всего гарнизона его дома.

Само проклятие рабству в монологах Ивана Григорьевича – это порыв к свободе. Явление русского духа – Чаадаев, писавший о рабстве, а не Николай I, пресекший неприличный разговор. Если же судить по отдельным фразам, то величайшим патриотом был граф Бенкендорф. Никакой «России – суки» вы у него не найдете. Наоборот: «Прошлое России прекрасно, настоящее великолепно, а будущее превосходит всякое воображение». Непонятно только, почему Пушкин дружил с русофобом Чаадаевым и вовсе не был дружен с графом Александром Христофоровичем?

7. АГОРАФОБИЯ

Когда человека травят, хочется думать, что все его гонители – подонки. Но это грубое упрощение. Очень большую роль во всех кампаниях играют искренно убежденные люди. Травля инакомыслящих – изнанка идейности, изнанка любого миросозерцания, светского или религиозного, которое субботу ставит выше человека и предмет полемики выше стиля полемики.

Искренних и убежденных гонителей – тьма тьмущая. Среди людей, гнавших Христа, был его будущий апостол Павел; пока не услышал на пути в Дамаск: «Савл, Савл, зачем ты гонишь Меня?»

Пафос травли основан на чувстве нарушенного табу. В Англии несколько веков нет табу на оскорбление величества и потому невозможна травля за оскорбление величества Идеи или Народа. Знаменитый роман Ричарда Олдингтона «Смерть героя» кончался словами: «Старая добрая Англия! Да поразит тебя сифилис, старая сука!» Никакого скандала это не вызвало. Человек, доведенный до отчаяния, имеет право на проклятия. Поколение, которое было принесено в жертву борьбе за мировое первенство, имело право проклясть национальные святыни, во имя которых была развязана первая мировая война.

Англичане любят свое отечество не менее русских. Но у них крепко вошло в сознание понятие свободы слова и нет вбитого в

подсознание страха перед «словом и делом государевым». А в России страх перед словом, привычка к табу на слово стала чем-то вроде условного рефлекса, и многие искренно не могут представить себе величие, перед которым не обязательно в установленном законом порядке снимать шапку; величие, над которым можно пошутить. В какой цивилизованной стране был бы возможен донос Шафаревича со товарищи на журнал «Октябрь»?

Однако попытаемся понять доносчиков. Они были глубоко оскорблены, обижены – и не за себя, за Россию. Им казалось – примерно как магистру, с которым спорил Белинский, – что в благоустроенном государстве Чаадаевы нетерпимы, и если Запад терпит их, то он гнилой, разлагающийся Запад...

Люди ужасно обидчивы. Гораздо обидчивее, чем Бог. Бог не рассердился на проклятие Иова и заговорил с Иовом, отмахнувшись от его благочестивых друзей.

Бога не смущают формальные кощунства, нарушение табу. А людей смущают. И они осудили Христа, нарушившего ветхозаветные табу. Осудили убежденно, бескорыстно. И все же безнравственно (Достоевский советовал различать нравственность от честности, убежденности и других смежных понятий).

Нам скажут, что слишком высоко взято. Начали с Гроссмана и дошли до Библии и Евангелия. Однако мы сравниваем не Гроссмана с Христом, а только факты травли. В Гроссмане (как и в его друге Платонове) шел процесс нравственного осознания советского опыта, открытия заново потерянных нравственных истин. На этом держалась дружба Гроссмана с Платоновым. От этого слова Платонова, цитированные на вечере памяти Гроссмана 14 ноября 1989 года: «Ты, Вася, Христос». Кстати: вот еще повод для возмущения: приравнял советского писателя ко второй ипостаси. Но, может, не приравнял? Может, это просто художническая гипербола?

Платонов хотел сказать, что его друг Гроссман – праведник, что в нем жив дух Христов. И это верно.

Как же может праведник ненавидеть народ, русский народ? Кто прав – Платонов или Шафаревич?

Когда мы говорим о ксенофобии писателя, это имеет совершенно ясный смысл. Листаешь его роман и не найдешь ни одного симпатичного еврея, – только физически и нравственно неполноценные. Иногда это грубее, иногда тоньше выражено, но всегда просвечивает. К Гроссману такой критерий явно не подходит. Иван Григорьевич возмущается русским рабством, но в этом есть возмущение Гроссмана самим собой, сбитой в подсознание покорностью, с которой он позволил изъять свой роман. Не все выговорено словами, но если вспомнить Магара о революции, Анну Сергеевну о коллективизации, Штрума о науке, Иконникова о религии, то в этот ряд естественно встанет и Иван Григорьевич о России. О России изнутри

русского духа, рвущегося освободиться от своих исторических пут. И если в таком порыве сделано было несколько неловких, чересчур резких движений, то велика ли беда?

Мысленно попытаемся представить себе нашего оппонента – честного, добросовестного оппонента – и слышим: «Гроссман с симпатией относится к отдельным русским людям, но Россию он ненавидит».

– Как, неужели гарнизон дома «шесть дробь один» – «хорошие люди, хотя и русские»?

– Не так грубо. Нет, они просто – хорошие люди. Но Россия – мистическое целое, которое не дробится на отдельных людей. Люди могут быть скверными, например, в «Мертвых душах» Гоголя, но Гоголь любил Россию, а Гроссман не любит.

И тут мы вынуждены признать, что ничего подобного гоголевскому мифу о России, никакой «птицы-тройки» у Гроссмана действительно нет. Более того, он прямо отрицает Россию как языческий кумир. А как относится к таким кумирам христианство? Если понимать под этим словом религию Христа и апостолов, а не шатовское исповедание веры?

Чтобы разъяснить нашу мысль, надо провести различие между религиями Ветхого и Нового Завета (беря оба термина очень широко, шире общепринятого). Ветхозаветные религии жестко связаны с племенем, с народом и не выходят за его границы. Ветхозаветную точку зрения очень ярко выразил Шатов; к ней иногда склонялся и сам Достоевский:

«Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Никогда еще не было, чтоб у всех или многих народов был один общий бог, но всегда и у каждого был особый...» (положение, прямо противоречащее здравому смыслу: у всех монотеистов один Бог). «Истинно великий народ никогда не может примириться со второстепенной ролью в человечестве или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот уже не народ. Но истина одна, а стало быть, только единый из народов и может иметь бога истинного, хотя бы остальные народы имели своих особых и великих богов».

Во всех этих рассуждениях мы пишем слово «бог» со строчной буквы. Это языческие боги древних племен и народов, возрожденные романтическим национализмом.[1]

В противоположность этому, новозаветные религии (христианство, буддизм) рассекают племя, народ, даже семью и обращены прямо к личности. Ограничусь христианскими примерами: «Я принес не мир, но меч; разлучу отца с сыном...», «Враги человеку домашние

---

[1] См. главу "Смешной человек и народ-богоносец в кн.: *Г. Померанц.* Открытость бездне. М., 1990. Ст. 182 - 202.

его» и т.п. Никакого мистического тела народ, с христианской точки зрения, не имеет. Мистическим телом, то есть бессмертной душой, обладает личность. Вечен Григорий Богослов, вечен Симеон Новый Богослов, а Византия была – и нет ее, и церковь ее не поминает в своих молитвах.

Новозаветная вера, обращенная к личности, и только к личности, требует, однако, развития личности сверх обычного в народе и племени, требует «сильно развитой личности», как говорил Достоевский, и сам Достоевский не всегда выдерживал это и отступал от собственного символа веры, основанного на личной любви к Христу и более ни на чем, и в минуты богооставленности пытался опереться на особый завет Христа с русским, записанный в русском сердце. Вера в мистическое тело России избавляет от долга завершить себя, перейти от беспорядочности к внутреннему порядку, иерархии. Для многих героев Достоевского такое требование невыполнимо, и соблазн шатовской веры бесконечно велик. Велик он и для многих нынешних людей, испорченных утопией. Но если мы хотим выйти из личностной слаборазвитости (неразрывно связанной со слаборазвитостью социальной), то эта ложная вера должна быть отвергнута.

Наш оппонент сошлется на авторитеты; мы также можем это сделать. В «Записке о православии», недавно опубликованной журналом «Символ» (Париж, № 21, 1989), П.А.Флоренский писал: «Люди всегда склонны сотворить себе кумир, чтобы избавить себя от подвига служения вечному и пассивно предаться простой данности. Этот кумир может быть весьма различным. Для русских православных людей таким кумиром чаще всего служит сам русский народ и естественные его свойства, которые ставят они перед собою на пьедестал и начинают поклоняться, как Богу. Вера в быт превыше требований духовной жизни, обрядоверие, славянофильство, народничество силятся стать на первое место, а вселенскую церковность поставить на второе или вовсе отставить.

В основе всех этих течений лежит тайная или явная вера, что русский народ сам собою, помимо духовного подвига, в силу своих этнических свойств есть прирожденно христианский народ, особенно близкий ко Христу и фамильярный с Ним, так что Христос, как будто несмотря ни на что, и не может быть далеким от этого народа. И как всякая фамильярность с высоким, эта фамильярность влечет за собою высокомерие и презрение к другим народам, – не за те или иные общие качества, а за самое существо их. Смысл этого высокомерия может быть выражен тем, что мы – природные христиане, с нас, собственно, ничего не требуется, и нам все простительно, тогда как другие народы, в сущности, не христиане, и самые их достоинства вызывают в нас чувство пренебрежения.

Может быть, соблазн такого самообожествления есть у каждого народа, но у русских он исключительно велик...» (стр. 97).

Как правило, о мистическом теле страны говорят тогда, когда не хочется или не удается вступить в современность. Современность, если подходить к ней со стороны слаборазвитости, – совсем не сладкая жизнь. Скорее, жизнь очень горькая. Это неловкое балансирование на разъезжающихся бревнах течений, направлений, постоянно новых фактов, с которыми не знаешь, что делать, и с нарастающим чувством затерянности, заброшенности, «потери тождества с собой», как писал европейски образованный основатель «Мусульманского братства» Хасан аль Банна. Типическая реакция миллионов людей, внезапно оказавшихся в «открытом», постоянно меняющемся, все более сложном обществе – это фундаментализм, фундаментализм в самом широком смысле, тяга назад, к ясно очерченному малому добру. Волна фундаменталистских движений катится по всему вестернизированному миру, от Ирана и Ливии до России.

Иногда приходит в голову мысль: что бы случилось, если бы «Жизнь и судьба» вовремя попала в самиздат? Вероятно, выиграло бы демократическое движение, расширился бы его кругозор и несколько проиграло движение почвенническое. Но основные линии остались бы без изменений. Влияние Гроссмана не могло бы сравниться с влиянием Солженицына. Солженицын, начиная с «Глыб», зовет от одного малого добра (социализм) к другому малому добру (русский национальный фундаментализм). Это просто и понятно. А Гроссман ставит вопрос о движении к нерасколотому большому добру, которого никогда еще не было как цели миллионов (а не только горстки подвижников). И еще, надо подчеркнуть, – к свободе поисков большого добра, к свободе движения по неизведанной земле...

Есть такая болезнь – страх открытого пространства. Есть страх открытого культурного пространства, движения от кризиса к кризису, в котором нет никакого окончательного решения и количество открытых вопросов все возрастает. Так, человек, никогда не покидавший суши, боится открытого моря. Человек, привязанный к малому добру, теряется, потеряв из виду берег. Ему непременно нужно знать, что его малое добро надежно, как земля под ногами. И когда земля уходит из-под ног, когда говорят, что малое добро где-то становится злом, он чувствует себя пораженным в самое сердце.

Современность – это открытое море. Чреватое бурями, может быть, гибельными, но открытое. Для одних это сверхценность свободы, для других – ужас бездны, и от ужаса – ненависть к западному открытому обществу, до готовности поддержать любой консерватизм. Человек, назвавший социализм Ленина и Троцкого волей к смерти, защищает социализм Полозкова. Это надо понять!

Можно дополнить метафору о береге и море другой, из сказки Михаэля Энде. Мир там треснул – весь мир, включая небосвод (это

был маленький мир, вроде планетария, где на куполе были нарисованы солнце, луна и звезды, а посредине, на вращающемся диске, жил маленький человек). В трещину стало видно пустоту, и в пустоте закутанная фигура, чем-то напоминавшая Христа. «Иди ко мне», – мягким голосом сказал человек, стоявший ни на чем. «Я боюсь, – ответил маленький человек. – Ты зовешь меня в пустоту, я упаду в нее!» – «Учись падать», – ответил человек из бездны. «Учись падать и держаться ни на чем, как звезды...»

Учись плавать, учись падать – говорит история (подходят обе метафоры). Учись жить в мире открытых вопросов и в этом мире находить внутреннюю тишину, добро и любовь. Так, как Василий Гроссман среди эпических событий и чудовищных злодейств XX века находит место для тонких, сдержанных, благородных интимных сцен (любви радистки Кати и Сережи – в доме «шесть дробь один», любви Ивана Григорьевича и Анны Сергеевны, материнского горя Людмилы Шапошниковой).

Для фундаменталиста это голос змея-искусителя. Человеку страшно (и надо его понять: действительно страшно). Человек видит в истории заговор жидо-массонов, и все, что разрушает его малое добро, он называет русофобией. Гоголь не русофоб. Его ноздревы и собакевичи отталкивают, но зато среди мертвых душ скачет «птица-тройка». Фундаменталист признает, что отдельные русские люди – дрянь, они отступили от своего малого добра и попали в грязь, но не трогайте нашей «птицы-тройки». А Гроссман создал образ народа, отстоявшего Сталинград, но он не верит в наше малое добро, он разрушает его и потому он русофоб. В таком рассуждении есть своя логика, которую непременно надо найти в теориях И.Р.Шафаревича. Он не мог быть элементарно, грубо нелогичным.

Однако в логике Шафаревича есть по меньшей мере один изъян: если принять ее всерьез, тогда Штрум – наукофоб (он разрушает кумир науки), Иконников – религиофоб (он разрушает кумир религиозного малого добра). И в такой «фобии», пожалуй, можно найти сходство с «эгофобией» христианских подвижников. Говорят же они о себе: «Я хуже всех...»

То, что в одной системе разум, в другой – безумие, фобия. И что в одной системе фобия, то в другой – светлый, мужественный разум.

Савелий Ямщиков

ЗАПИСКИ ХУДОЖНИКА-РЕСТАВРАТОРА

В моей мастерской, что находится во флигеле бывшей Поливановской гимназии на Кропоткинской улице, гости, попадающие сюда впервые, как правило, удивляются отсутствию икон, редких картин, старинной мебели. Удивление их мне понятно. Более тридцати лет заниматься реставрацией и изучением древностей и ничего не оставить себе на память о любимой работе может человек или ко всему на свете безразличный, или тщательно эту любовь скрывающий. В безразличии к красивым вещам упрекнуть меня трудно, да и за чрезмерное проявление любви к избранному делу меня частенько били и одергивали. Объясняется эта ситуация двумя причинами. Во-первых, от природы я абсолютно лишен страсти коллекционировать произведения искусства и драгоценности, хотя в других такую страсть не осуждаю и даже приветствую. Во-вторых, считаю все музейные реликвии, с которыми мне пришлось столкнуться как искусствоведу и реставратору, если не личной собственностью, то хотя бы частично мне принадлежащими, ибо несу за их судьбу ответственность.

Но есть у меня в мастерской великолепный снимок Владимира Хетагурова, который все поначалу принимают за живописное произведение, а потом обязательно спрашивают, где находится церковь, попавшая в объектив фотохудожника. На вопрос этот я отвечаю: «В России». Не потому, что не знаю места и даты построения храма, а из-за глубокой символичности удачно сделанной фотографии.

Именно такой мне запомнилась срединная Россия после того, как исколесил я ее вдоль и поперек пешком, на поездах, попутных машинах, тракторах, а иногда и на телегах, которые теперь не часто встретишь. Среди бесконечных полей, долин, холмов, оврагов и

Савелий ЯМЩИКОВ – родился в Москве в 1938 г. Закончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Более двадцати лет проработал реставратором икон.

перелесков тут и там попадаются на глаза храмы, реже датируемые XVI веком, чаще – XVII – XVIII, а в большинстве своем относящиеся к XIX – началу XX века. Умело вписанные зодчими в неповторимый российский пейзаж, украшенные позолоченными крестами и куполами, выложенные сверкающими на солнце изразцами или просто скромно выбеленные, когда-то эти церковные постройки очень много значили для русского человека, бывшего от рождения своего набожным и свято чтившего храм. Не надо обладать особым воображением, чтобы представить, как духовны и величественны были живые картины природы, увенчанные церковными главами, и какие возвышенные чувства вызывали они у богомольцев и простых путников. И уж совсем ничего не требуется додумывать и воображать, когда видишь следы безжалостного уничтожения, оставленные на этих картинах в послереволюционные годы. Сначала слезы сожаления выступают на глазах, потом невольно сжимаются пальцы в кулаки, и посылаешь запоздалые проклятия тем, кто заставил людей надругаться над вечной красотой, талантливыми их предками сотворенной.

Не из пропагандистских книг, лекций по историческому и диалектическому материализму узнал я правду про раскулачивание крестьян и поругание церквей. Под корень были вырублены прочные устои многочисленной семьи моего деда по материнской линии. Только за то, что умели они работать и свято чтили крестьянские традиции, никогда не пользуясь услугами наемных рабочих, прогнали моих предков из живописных деревень Калужской и Брянской губерний, разбросали по белу свету, а многих мужчин упекли в ГУЛАГ. Дед, получив для начала десять лет, отбывал их в селе Шушенском, где работал кузнецом и не писал революционных воззваний, а мечтал вернуться к жене и детям. За хорошие трудовые показатели продлили ему положенный срок, и осталось бабушке, скрывавшейся с шестью детьми в московском бараке, на память о погибшем в ссылке муже несколько писем, проштемпелеванных в ленинских местах, да маленькая фотокарточка, сделанная на паспорт.

Мы с мамой уверены, что пережить те страшные времена, помноженные на военное лихолетье, нашей семье помогла только вера в Бога. Бабушка строго соблюдала традиции и каноны старообрядчества – ведь мы принадлежали к одному из основных его направлений – поморскому беспоповскому согласию. С малых лет помню праздничные службы в храме на Преображенской заставе, чин и порядок в котором помогали поддерживать чудом избежавшие страшной участи многочисленных сталинских жертв наши близкие и дальние родственники. Какими светлыми и радостными красками встречало пасхальное утро выходящих на ступени церкви богомольцев, торжественно поздравляющих друг друга с Воскресением Хри-

стовым! Покоренный благолепием и красотой пасхальной службы, ликами древних икон, я невольно задавал себе вопрос, почему так безжалостно разрушаются московские «сорок сороков»? Вид находившегося напротив нашего барака на высоком берегу Москвы-реки Новоспасского монастыря напоминал самые страшные кадры из популярных тогда военных фильмов... Мог ли я подумать, что пройдет не так уж много лет и судьба приведет меня работать в стены этой старой московской обители, где расположен сейчас Всесоюзный институт реставрации?..

Как благодарен я Провидению, помогшему мне, мальчишке из железнодорожных бараков на Павелецкой набережной, с малых лет промышлявшему на станции ведро угля для барачной печки, несколько картофелин, подобранных при разгрузке вагонов, или бутылку подсолнечного масла, выстоянную в длиннющей очереди, когда номер, написанный химическим карандашом на ладони, заходит далеко за тысячу – благополучно закончить школу, несмотря на постоянные трения с дирекцией, не жаловавшей своевольные поступки и резкие высказывания ученика, в табеле которого при «хороших» и «отличных» оценках за учебу частенько проставлялся «неуд» за поведение и прилежание. Я выдержал вступительные экзамены на искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Уже по окончании университета, будучи в командировке в Суздале, узнал от находившегося там в ссылке известного теперь ученого Николая Покровского, что группа преподавателей истфака, в которую и он входил, пытаясь облегчить поступление в храм науки подобным мне разночинцам, боролась против блатных абитуриентов – детей высокопоставленных родителей. Благороден был порыв этих смельчаков, отсидевших потом положенные сроки в лагерях и на поселении, да только все равно среди своих однокашников увидели мы отпрысков Сусловых, Поскребышевых и многих других. На первых порах обучения я увлекся экзотикой, очарованный лекциями профессора Павлова по искусству Древнего Египта. Начал изучать иероглифы, многие часы проводил в восточных залах Эрмитажа и Музея изобразительных искусств, старательно готовил курсовую работу о фаюмских портретах.

А на первую летнюю практику во Владимир и Суздаль повез нас недавно выпущенный на свободу доцент МГУ Виктор Михайлович Василенко. Увлеченно и страстно он рассказывал о скульптурном убранстве Дмитровского и Успенского соборов, поклонился вместе с нами редчайшей древнерусской святыне – храму Покрова на Нерли, провел по тихим улочкам и монастырям Суздаля. С той поры я собой не распоряжаюсь. Влюбившись раз и навсегда в творчество мастеров Древней Руси, стараюсь служить верой и правдой делу охраны, реставрации и изучения памятников отечественного искусства.

С обучением в университете мне повезло. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. На втором курсе я тяжело заболел, но как только стал передвигаться, получил освобождение от воинской повинности и сразу перевелся на вечернее отделение. Это прежде всего дало мне возможность не посещать кучу ненужных, но обязательных лекций по общественно-политическим наукам, с помощью шпаргалок сдавая необходимые экзамены и зачеты. Зато сколько драгоценного времени освободилось для чтения редких книг, слушания спецкурсов и семинаров, работы в экспозициях и запасниках музеев. А вскоре после моего ухода с дневного отделения читавший нам спецкурс по реставрации произведений искусства Виктор Васильевич Филатов предложил мне место ученика во Всероссийском реставрационном центре.

Я получил возможность непосредственного общения с русской иконой. Под наблюдением опытных учителей, среди которых особенно хочу выделить первоклассного художника-реставратора Евгению Михайловну Кристи, робко и неуверенно на первых порах, я начал осваивать процессы восстановления разрушенных от воздействия времени иконописных образов. Лучшего пути, чем работа реставратора, для проникновения в тайники богатейшего мира древнерусской живописи и представить нельзя. Временами мне казалось, что я совершаю фантастическое путешествие на машине времени, попадая в мастерские псковских и новгородских средневековых иконописцев, присутствую на празднике окончания ферапонтовских росписей Дионисием с сыновьями, наблюдаю за монтировкой иконостаса Благовещенского собора в Московском Кремле и словно слышу, как старший по возрасту Феофан Грек делает замечания талантливому ученику Андрею Рублеву.

Двадцать счастливых лет провел я под сводами Марфо-Мариинской обители на Большой Ордынке, куда в 1941 году переехали Центральные реставрационные мастерские, расформированные в период предвоенных репрессий. Здесь все напоминало о духовном подвиге основательницы – великой княгини Елизаветы, причисленной позднее к лику святых. Чудом сохранились почти все монастырские постройки и остатки богатого некогда церковного сада с фонтаном»; на стенках Покровского храма в первозданной чистоте сияли драгоценные краски нестеровских росписей, а помощник великого мастера Павел Корин, принимавший непосредственное участие в их создании, некоторое время был художественным руководителем наших мастерских. Нередко вместе с ним навещала бывший монастырь его супруга Прасковья Тихоновна, с детских лет принимавшая послушание в руководимой св. Елизаветой обители. Не хочется сейчас вспоминать о бесконечной веренице директоров, регулярно спускаемых к нам по воле руководства Министерства культуры. Поступки их могли бы описать лишь Гоголь и Салтыков-Щедрин. Один из этих «глуповцев» умудрился отметить очередной юбилей

Советской власти тем, что заставил слесаря спилить орнамент на дверных ручках Покровского храма, изготовленных известным мастером Ф. Мишуковым и через день после «славного» уничтожения появившихся в иллюстрациях одного из томов истории отечественного декоративно-прикладного искусства. Предав забвению двуглавых орлов на музейных реликвиях, горе-директор на этом не остановился и немного погодя уволил с работы Павла Дмитриевича Корина, поставив последнему в вину нерегулярные появления на службе.

Стараясь как можно реже попадаться на глаза не в меру ретивым директорам и их услужливым прихвостням, возглавлявшим партийные и общественные организации мастерских, я охотно уезжал из Москвы в служебные командировки, добрую половину из двадцати лет работы на Ордынке проведя далеко от столицы. Суздаль, Новгород, Псков, Рязань, Вологда, Ростов, Ярославль, Кижи, Кострома... Благодаря постоянным разъездам по России я получил реальное представление о своей родине, на себе узнал заботы и нужды, которыми живут люди в русской провинции. Занимаясь изучением многочисленных художественных школ Древней Руси, я отчетливо представил себе масштабы направленного истребления памятников архитектуры и искусства, имевших не только национальное, но и мировое значение. Составление реставрационной описи всех произведений древнерусской живописи XII – XX веков из музеев РСФСР, предпринятое мною вместе с профессиональными помощниками из московских мастерских и сотрудниками провинциальных древлехранилищ, еще раз убедило меня в количественной ничтожности сохранившегося до наших дней богатейшего некогда наследия старых мастеров. Одновременно я смог воочию убедиться в мужестве, стойкости и бескорыстии тех, кто несмотря на систематические запреты и приказы со стороны начальства местного и вышестоящего, в прямом смысле слова спас от гибели то немногое, чем должны мы гордиться и что останется в наследие потомкам.

Русская провинция... Как много значит это понятие не для одной только России, но и для всего человечества. Не квасной патриотизм, а подкрепленная многочисленными историческими фактами, подлинными документами осведомленность и личный опыт позволяют мне быть уверенным в будущем русской провинции.

Конечно, и провинция российская сегодня далеко не похожа на тот мир, который посчастливилось мне лет тридцать назад застать в патриархальных Вологде, Суздале, Костроме, Ярославле и других городах, не до конца уничтоженных молохом революции очагах нашей государственности. Дискотеки, порновидео, атрибуты иностранного туризма сделали свое грязное дело. Отцы и деды ушли из жизни, унеся в могилу вековые заветы и традиции, а потомки не в силах устоять перед всепоглощающим шквалом «массовой культу-

ры», навязанной смутным временем.

И несмотря на все эти удручающие обстоятельства, именно в провинции русской вижу я надежду и спасение Отечества. Провинциальным музеям, хранящим историко-культурное наследие и объединяющим вокруг себя современных художников, историков, археологов, могут позавидовать столичные собратья.

Об одном из заветных уголков России мне и хочется рассказать в этих заметках.

Именно в российской глубинке начинают возрождаться могучие традиции церковной истории и культуры.

***

Псковская земля богата древними памятниками. В вековой тишине непроходимых лесов, на ярких коврах заливных лугов, по берегам быстрых речек, над бескрайними озерными гладями или просто посреди широких полей разбросаны неповторимые архитектурные творения псковских зодчих. Драгоценные россыпи сокровищ древней псковской культуры привлекают современного путешественника высокими художественными качествами, органичным слиянием памятников архитектуры с окружающей природой, мастерством исполнения, строгостью форм, тонким вкусом. Общие принципы и незыблемая закономерность в строительстве не мешали псковичам создавать непохожие по своему многообразию монастырские постройки и жилые дома, княжеские дворцы и церкви, монументальные здания кафедральных соборов и неприступные оборонительные сооружения.

Знакомство с древнерусским городом начинается обычно в тот момент, когда подъезжаешь к нему издалека. Каждый старый город открывается своеобразным пейзажем–вступлением, отражающим в себе, как в зеркале, основные элементы архитектурного облика этого города. В таком пейзаже фокусируются художественные устремления зодчих, веками создававших живописную панораму города.

По дороге на Новгород путешественник невольно залюбуется лаконичными силуэтами церквей, разбросанных среди просторных окраин древнего города. Залюбуется и никогда не забудет эту типично новгородскую картину, нарисованную уверенными, сдержанными штрихами. Задолго до въезда в городские ворота можно видеть вологодскую Софию, господствующую над белоснежными храмами, которые словно застыли у самой кромки тихих вод реки Вологды. Суздальская панорама возникает неожиданно, после того как глаза устают от пристального высматривания контуров города

среди вольготных просторов владимирского «ополья».

В Псков ведут разные дороги. Троицкий собор виден со всех сторон, задолго до въезда в город. Но своеобразная прелюдия к величественной музыке древнего Пскова наиболее открыто и торжественно звучит в Изборске, «псковском пригородке», расположенном в тридцати километрах к западу от города. Здесь начинается история Псковского княжества, здесь свершались легендарные дела и события общерусского значения. Город-крепость выдержал столько нападений, так много дней и ночей провел на осадном положении, что недаром зовется в письменных источниках «железным городом». У его стен в течении многих веков пробовали силы лучшие воинские отряды Европы, но все ловцы военной удачи испытали горечь поражения и возвратились в родные страны «со многим стыдом и срамом».

Ушли в прошлое годы тяжелых войн и постоянных набегов. Изборск потерял былую славу защитника западных рубежей Русского государства. Мирная жизнь с ее повседневными заботами окружила стены могучей крепости. В Старом Изборске цветут сады, на трудообрабатываемых землях голубеет лен, зреют хлеба. И все же именно в Изборске псковская история воспринимается необычайно остро, а крепостные стены живо напоминают о далеких событиях, волновавших средневековый мир.

Изборск принадлежит к числу тех исторических мест России, которые время словно обязалось сохранить в первозданном виде. В Изборске все заповедно: небо, земля, пейзаж и конечно же исторические памятники. Люди, живущие в изборских окрестностях, чтут древние легенды и соблюдают традиции, передаваемые от поколения к поколению. Хорошая слава живет долго, и местным крестьянам есть чем гордиться. История каждой крепостной стены, маленькой часовни или ажурной звонницы рассказывает о боевых подвигах изборян.

Мужественная красота присуща внешнему облику Старого Изборска. Она складывалась на протяжении столетий. Незримое могущество окутывает склоны Жеравьей горы. Здесь нет места сентиментальному, идиллическому настроению, ибо красота в Изборске скрыта в самых простых вещах, она совсем земная и присутствует в явлениях обычных, повседневных. Созданные руками людей крепостные стены, жилые дома, храмы и часовни Изборска не просто вписаны в окружающую их природу. Они принадлежат ей, они – неотъемлемая часть изборского пейзажа. Поэтому Изборск не поражает диковинными формами и колоссальными размерами, на изборских холмах ничто не нарочито и не заставляет изумляться. К крепостям Изборска нужно привыкать постепенно, и тогда раскрывается их потаенный смысл. Чтобы понять красоту Изборска, необходимо пожить у его стен хотя бы недолго, просыпаться по утрам

вместе с жителями сложенных из местного известняка домов, ходить пешком в Сенно, чтобы услышать колокольный звон действующей звонницы XVI века, посетить Мальский монастырь, часами говорить с рыбаками, так много знающими и так охотно рассказывающими об изборской истории. Древний Изборск радушно принимает всех, кому дорога и близка древняя культура народа.

Человек, однажды посетивший Псков, обязательно сюда вернется или будет мечтать о встрече с этим городом. Псков поражает обилием древних памятников. Церкви и жилые постройки прошлых веков появляются на улицах неожиданно, заставляя сначала удивляться, а потом становятся привычными и восхищают законченностью и лаконичностью архитектурных форм.

В Пскове время течет незаметно. Дни кажутся длинными, подчиненными спокойному, величавому настроению местной природы. И размеренность здешней жизни заставляет забыть о повседневной суете. В Пскове не хочется торопиться – торопливость неуместна рядом с вечностью. Особенно величав город в солнечные летние дни. Белые стены соборов впитывают лучи солнца и становятся почти прозрачными на фоне голубеющего неба, никогда не бывающего ярким. Звуки, шумы центральных улиц растворяются в жарком мареве и не долетают до маленьких улочек, перечерченных неподвижными тенями высоких звонниц и куполов церквей.

Нередко я задаю себе вопрос, почему именно Псков влечет меня к себе с особой силой. Ведь другие древнерусские города тоже богаты чудесными памятниками, и талант их создателей не уступает умению псковских мастеров. И все-таки Псков привлекает к себе больше. Многолетнее знакомство с городом дало единственно правильный, как мне кажется, ответ: причина привлекательности Пскова для современного путешественника кроется в неповторимом укладе здешней жизни. Древние памятники Пскова органично вплетаются в канву повседневного бытия, без них нельзя представить современный город. В Пскове живется и дышится легко. Приехав сюда, перестаешь чувствовать себя туристом. Древности Пскова располагают к более интимному отношению. Псковская старина – ненавязчивая, неброская, однако вселяющая душевное спокойствие и навсегда запоминающаяся. У путешественника постепенно появляются в городе любимые места, ансамбли и отдельные памятники. Наступает тот момент, когда город делает из созерцающего музейные редкости человека полноправного своего гражданина, которому близки и понятны малейшие нюансы городской жизни.

Древний Псков в том виде, как он предстает перед современным зрителем, отличается прежде всего эпической величавостью и монументальным строем внешних форм. Старые постройки связаны

между собой чисто псковской спецификой архитектуры. Они дополняют друг друга. Каждой из них, подобно инструментам в большом оркестре, время отвело свою партию, всегда значительную, которую не выбросишь из партитуры.

Любое средневековое здание, будь то церковь, жилой дом, крепостная башня или звонница, доведено до максимальной законченности, индивидуально решено древними зодчими. От стен псковских сооружений исходит могучая сила, и нет сомнений, что возводили здешние дома и храмы мастера, хорошо знакомые с основами архитектурного творчества.

Река, а вернее реки играли и продолжают играть важную роль в жизни Пскова-города, в становлении его внутреннего бытового уклада и внешнего облика. Они дополняют друг друга – полноводная, широкая Великая и неглубокая, извилистая, быстрая на перекатах Пскова, впадающая в Великую у стен кремля.

Люди, согласуясь с природными условиями, использовали реки для различных целей. Берега Великой – реки судоходной, соединяющей Псков с внешним миром, – были застроены торговыми домами, крупными монастырями и пристанями. В центре города водную гладь пересекала паромная переправа, отчего стоящую рядом церковь называли Успеньем от Парома. На крутых, обрывистых спусках Псковы возводились приходские церкви, небольшие жилые постройки, ремесленные мастерские, и лишь громада Гремячей башни со стенами (необходимое оборонительное сооружение) нарушала уют и провинциальное спокойствие, царящие на берегах маленькой речушки, заросших густой травой.

С реками связаны многие события в жизни столицы Псковского княжества. Главные городские окраины в древности нарекли: Завеличье и Запсковье, и названия эти сохранились по сей день.

Историко-художественные музеи в старых русских городах являются своеобразными центрами по изучению культурного наследия прошлого. Сотрудники музеев тщательно собирают и хранят археологические предметы, исторические документы, произведения живописи и скульптуры. Богатая интересными и значительными событиями жизнь древнерусского города словно оживает и заново проходит перед глазами посетителей местного музея. В результате работы в фондах музеев-заповедников наши ученые сделали немало важных археологических и исторических открытий.

Уникальные памятники изобразительного искусства, выставленные в залах новгородского, суздальского, вологодского, ростовского, кирилловского и других крупных древлехранилищ, могут принести славу любому музею мирового значения.

Создание и устройство переферийных музеев – это история охраны и восстановления памятников старины на местах. Неотъемлемой частью исторических судеб древних городов стали имена

людей, участвовавших в основании лучших музеев России. Благодаря стараниям и умению ученых-энтузиастов неповторимые творения старых мастеров доступны теперь широкому кругу зрителей. Ошибки, неизбежные при такой ответственной работе, как устройство экспозиций и запасников, полностью искупаются окончательными результатами благородного труда талантливых специалистов. О создателях местного музея в каждом древнерусском городе говорят с уважением и испытывают к этим людям чувство глубокой благодарности.

Музей во Пскове создавался в первые послереволюционные годы. Губернский комитет, образованный сразу после освобождения Пскова от иностранных интервентов, выполняя декрет об охране памятников, начал брать на учет произведения живописи, скульптуры и прикладного искусства. В фонды будущего музея поступали первоклассные памятники из частных коллекций. Древние иконы, недоступные ранее для обозрения, исследовались специалистами и также ставились на музейный учет. В Псков приходили посылки из Государственного художественного фонда, музея Императорской Академии художеств и Третьяковской галереи. Многие из поступивших тогда в Псков произведений заняли впоследствии достойное место в экспозиции местного музея.

Псковский музей продолжает пополнять свои коллекции. Расширяются старые разделы, открываются новые экспозиции. Научные сотрудники музея изучают уникальные памятники, устраивают выставки, публикуют образцы псковского изобразительного искусства. Тематические выставки настолько полно и интересно освещают отдельные периоды художественной культуры древнего Пскова, что некоторые из них действуют постоянно, привлекая широкое внимание посетителей. Так, в последние годы открылись отделы древнерусской живописи, прикладного искусства, рукописной книги, народного творчества.

«...Недалеко время, когда псковская школа предстанет перед нами, быть может, с такими же легко определимыми оттенками, какие мы сейчас различаем в школе новгородской». Эти строки написаны академиком И. Э. Грабарем почти полвека назад. Послевоенная работа реставраторов показала, что предвидение ученого было верным. Экспозиция древнерусской живописи в псковском музее почти на три четверти состоит из икон, прошедших реставрацию совсем недавно. Правда, лишь некоторые из них относятся к рангу первоклассных, но значение каждого выставленного произведения для псковской школы трудно переоценить.

Почти все памятники, отреставрированные уже после войны, вывозились оккупантами в Германию и были возвращены нашей стране по мирному договору. Такова судьба и великолепной иконы «Сошествие во ад», которая безусловно принадлежит к числу клас-

сических образцов древней живописи Пскова. Надо отметить, что она написана на излюбленный местными мастерами сюжет. Если сопоставить в количественном отношении известные нам псковские иконы, то памятники с изображением «Воскресения Христова» («Сошествие во ад») займут в такой таблице первое место. Здесь достаточно напомнить первоклассные иконы «Сошествие во ад», принадлежащие Третьяковской галерее и Русскому музею. Кроме чисто псковской системы построения ликов, сама композиция полностью соответствует иконографическому изводу, характерному только для изобразительного искусства Пскова. Чисто псковской особенностью является на вновь открытой иконе ряд фигур святых, представленных в верхнем ярусе композиции.

Псковичи любили вместе с основным изображением помещать фигуры церковных деятелей, соименных заказчику или связанных косвенно с какими-либо событиями в жизни города. Икона «Сошествие во ад» датирована первой половиной XV века. Характерные признаки сближают ее с известными памятниками и произведениями, созданными в последующие десятилетия.

Чем же так знамениты псковские иконы? Где кроется секрет неповторимости и оригинальности творчества псковских художников? Почему их произведения невозможно спутать или отождествить с образцами, написанными в других русских городах?

Ответить на такие вопросы просто и одновременно сложно. Просто – потому, что внешние признаки псковской школы легко отличимы от характерных особенностей искусства мастеров, работавших в других областях Древней Руси. Любая деталь псковского почерка, даже если она заимствована и перенесена в произведение художника совершенно иного направления, сразу бросается в глаза. Псковичи же, окруженные памятниками искусства самого различного происхождения, умели использовать для работы приемы, оставаясь приверженцами только одного стиля – стиля псковского, рожденного и взлелеянного на местной почве. Иногда даже поражаешься, изучая псковские иконы, той стойкости и прочности традиций, которым следовали здешние мастера.

Псков – город, живший в средние века насыщенной, бурной жизнью. Псковичи никогда не замыкались в пределах своего княжества. Улицы здешних городов видели людей, приезжавших из разных уголков земли. Псков торговал, воевал, строился, разрушался и вновь строился, приглашая нередко в помощь иноземцев, которые помогали вершить дела политические, а также давали советы, как лучше строить храмы, дворцы, крепкие стены оборонительных сооружений. Но странное дело: если новгородские мастера, чей родной город имел не менее оживленные связи с другими областями средневекового мира, охотно пользовались достижениями чужеземных собратьев по искусству, псковичи были непреклонными и последо-

вательными в каком-то пуританском отношении к сохранению местных традиций. Получив основные уроки от византийских мастеров, художники древнего Пскова разрабатывали на протяжении многих десятилетий свою систему иконописи, учитывая и осмысливая малейшие нюансы трудного, высокого долга служения духовному искусству.

В псковской иконописи все отличается самостоятельностью, оригинальностью и неповторимостью. Начиная со способа обработки доски и кончая структурой построения ликов, псковский художник стремился не выйти за рамки принятой в псковском искусстве системы. Почти все псковские иконы XIV века – классического периода в истории этой школы – написаны на сосновых досках, сработанных и скрепленных между собой с помощью таких похожих столярных приемов, что кажется, один умелый ремесленник руководил их изготовлением. Левкасные грунты также абсолютно специфичны в псковских иконах. Они нанесены на деревянную основу плотными слоями, поверхность левкаса не зашлифована под стекло, как, например, в суздальских образцах, а отличается шероховатой, неровной фактурой. Левкашение икон в древнем Пскове напоминает принцип обмазки церковных построек города штукатуркой, положенной свободно и неравномерно, вылепленной руками строителей, не заботившихся о наведении особого глянца. Подобный способ обработки грунта придает внешнему виду псковских икон особую простоту и делает более живописными красочные плоскости. Благодаря вот такому «ручному» левкашению достигается впечатление свободной построенности иконы, настолько иллюзорно выглядит верхний слой грунта, будто сейчас положенной иконописцем.

Псковские художники – недосягаемые мастера колорита. Кроме умения использовать лучшие достижения современной им живописи в искусстве цветовых построений, они и здесь оказались оригинальными творцами. В мастерских древнего Пскова пользовались охотно красками местного происхождения, и псковскую палитру с полным правом можно считать единственной в ее цветовой оригинальности.

Местные иконописцы, судя по сохранившимся памятникам, ограниченно и скупо применяли золото, особенно на раннем этапе становления псковской школы. Листочки золота заменяла желтая краска, добываемая тут же, во Пскове. Покрытые ею фоны древних икон кажутся более воздушными и легкими, чем плотные золотые поверхности византийских и новгородских образцов. Псковичи так же, как и в процессе левкашения, наносили желтую краску свободно, неравномерными плоскостями, так что нередко можно видеть следы движения кисти. Фоны псковских икон светятся изнутри. Пламенеющая краска становится особенно живой, когда рассматриваешь псковские памятники при горящих свечах, на свет которых и рас-

считывали старые мастера при написании иконы. Не менее замечательна и зеленая краска местного происхождения, присутствующая чуть ли не во всех древних псковских иконах. Она обладает удивительной материальностью и насыщенностью. Псковичи применяют ее, умело варьируя плотность красочных слоев и силу звучания цвета.

Манера письма художников древнего Пскова поистине уникальна. Псковскую икону, созданную в XIV – XV веках, сразу выделишь среди других произведений средневековой живописи. Никто из современников не мог написать такие лики, которые смотрят с икон древнего Пскова. Да, они, вероятно, казались мастерам остальных русских городов странными, далеко не соответствующими традиционным представлениям и канонам изображения святых. Необычайная экспрессия, переходящая в фанатизм духовный, обдуманный, а не внешний, исступленный, передавалась псковичами с помощью контрастного сопоставления цвета и света, осмысленной деформации линии рисунка и красочных плоскостей. Динамичные ходы имеют свое продолжение в конструктивном построении фигур на псковских иконах. Художники любят фиксировать моменты энергичного движения, продиктованного внутренними силами и руководимого какими-то незримыми центрами. В динамике псковских икон абсолютно исключен момент суетности, авторы никогда не дают бессмысленно раскручиваться основной пружине, все время сдерживая ее потенциальный порыв. Пробелы, отмечающие складки одежды на псковских живописных образцах, хотя и далеки от строгой геометрической системы византийских прототипов, отнюдь не выглядят небрежными и хаотическими, так как они подчинены воле художника, глубоко чувствующего предельные грани возможного и невозможного, допустимого и недопустимого каноном.

Трудность ответа на поставленные вопросы о смысле и значении псковской школы живописи заключена в поисках внутренних, идейных причин оригинальности местного искусства. В силу каких обстоятельств художники Пскова оставались равнодушными к творчеству талантливых мастеров иных княжеств и городов? Для того, чтобы сохранить в такой неприкосновенности художественную форму и стиль, нужно служить высочайшей идее, разделять полностью вкусы и требования своих заказчиков. Религиозные догматы должны быть переосмыслены художниками, создавшими иконы, не похожие на известные памятники. Переосмыслены и приняты за основу творчества. Кто и как руководил в поисках самостоятельного пути псковскими иконописцами, станет известно после тщательного изучения всех вновь открытых творений важнейшей школы древнерусской живописи.

Мне посчастливилось много лет работать в Пскове, разбирая музейные запасники. Там я научился понимать псковскую живопись и своеобразный характер псковского человека.

Всю жизнь буду вспоминать теплым словом Л. А. Творогова, который помог проникнуть в сущность псковского искусства. Он был очень красивым человеком. Шопеновский профиль, нос с горбинкой, растекающиеся по плечам серые длинные волосы. Нас объединили разговоры об учителе. Леонид Алексеевич был учеником профессора Сычева в первые послереволюционные годы в Петроградском университете, я – через 30 лет в Москве.

Леонид Алексеевич удивительной судьбы человек. С детства врачи предрекли ему полную неподвижность: привычный подвывих ног в районе тазобедренного сустава в то время не поддавался лечению.

Побродив по Пскову несколько часов, даже мы, студенты, уставали. Как-то, не спросив Леонида Алексеевича, я остановил такси. Он приказал отпустить машину. «Если я хоть раз в жизни сдамся и позволю себе расслабиться, то буду прикован к постели».

Л. А. Творогов занимался иконами, фресками, архитектурой, но в основном собирал богатое книжное наследие псковской земли. Он одним из первых предложил собирать библиотеку по библиотекам. Не просто книги, имеющие отношение к Пскову от XI до XX века, а библиотеки Яхонтовых, Ганнибалов, Пушкиных... Надо было видеть его радость, когда в результате долгих переговоров вернулись из Германии увезенные во время войны книги. Он смог привлечь археологов, искусствоведов и студентов художественных вузов, которые помогали сколачивать шкафы, красить стены и потолки в его древлехранилище. Мы с однокурсником делали витражи в окнах, выходивших из подвала на улицу. Настал час, и я наяву увидел покрашенные в терракотовый благородный цвет стены, зеленые занавеси, шкафы с торжественными рядами книг, слепки с бюстов Платона и Аристотеля, привезенные студентами из Ленинграда.

Он всегда говорил: «Если вы хотите в самом хорошем смысле слова прославиться, то приезжайте в Псков. Здесь непочатый край работы». Многие из работавших в древлехранилище Творогова впоследствии написали интересные статьи и книги, сделали открытия на материалах, собранных этим удивительным человеком.

Он сам был сродни псковским художникам, зодчим и миниатюристам. В нем жил дух неукротимого псковского жизнелюбия, проявлявшийся в любви и внимании ко всему живому и нуждающемуся в помощи. Леонид Алексеевич каждый день кормил голубей, и не было в пскове бездомной собаки, которой он не уделил бы внимания. Возился с ними, выхаживал и любил всех одинаково.

Псковских мастеров нельзя обвинить в келейности. Вот сотни лет назад монах грамотно и без ошибок переписывает книгу и вдруг на полях записывает: «Ой, ой, свербит полезть в баню мыться» или «За тыном пьют, а мне не дают». Пскович! Сам Леонид Алексеевич в обеденный перерыв азартно и по-молодому вместе с помощниками

играл в мяч на волейбольной площадке. Со старым сторожем Спасо-Мирожского монастыря, рассказавшим нам, двадцатилетним, о Грабаре и Анисимове, которых видел в таком же, как и наш, возрасте: «Грабарь был малец не очень веселый, а вот Анисимов был малец более веселый». При нем известные ученые раскрывали иконы, делали первые пробные расчистки на фресках XII века в мирожском монастыре.

Если вы смотрите суздальскую икону в Суздале, а псковскую в Пскове, где вокруг стоят храмы, в которых они раньше находились, легче понять, как они выросли на этой земле. А люди, живущие там, расскажут или просто своим обликом помогут соединить все в единую систему. Тогда понимаешь, что икона была создана для этого храма, для этого города, для этих людей, и поэтому она жива.

«Не поздно ли теперь изучать архитектурный облик былого Пскова, если он разрушен и от него мало сохранилось? Нет, не поздно! И мы обязаны это сделать потому, что нельзя не использовать прошлую культуру человечества и проходить мимо того, что создал наш русский народ».

Так писал сразу после войны уроженец города Пскова, архитектор, реставратор, художник и ученый – Юрий Павлович Спегальский (1909 – 1969). Вся его жизнь была посвящена борьбе за спасение наследия древнейшего центра отечественной культуры. Многое удалось ему сделать, несмотря на сопротивление и непонимание чиновников от искусства. Сейчас, когда так остро стоит перед нами вопрос, быть или не быть старому Пскову, когда «туристская застройка», ведущаяся часто без согласования со специалистами, готова растворить в себе драгоценные остатки архитектуры прошлого, дела и мысли Ю. П. Спегальского особенно актуальны.

Псковичи первыми в России почтили память реставратора. В честь Ю. П. Спегальского названа одна из улиц древнего города. В квартире, где жил и работал исследователь, открыт мемориальный музей, созданный по инициативе его вдовы, архитектора О. К. Аршакуни. Совсем недавно стену дома, где находится музей, украсила мемориальная доска со скульптурным портретом подвижника.

Псков был не просто местом рождения Ю. П. Спегальского – он был его судьбой. Его отец был лепщиком. Теперь это анахроническая профессия, потому что лепнина перешла в ведение музеев и реставрационных мастерских. Тогда же, в 10-х годах нашего века, она еще сочетала в себе обыденность и праздничность, была живою, – и это очень важно для понимания направления таланта Спегальского и основного принципа его мышления.

Отец умер рано, но главное он успел сделать. Он пробудил внимание к красоте мира, которая постигается не умозрительно, а реальным осязательным усилием, и потому мальчик, едва выучившись владеть карандашом и кистью, копирует в цвете обломки

изразцов, которые находил в «доме Печенко», и часами простаивает перед каменщиками, чтобы потом самому встать рядом с мастерами. Последующая безошибочность вкуса определялась именно этой детской пристальностью к возможностям человеческой руки, к цвету и форме.

К 1929 году, ко времени поступления в Ленинградский инженерно-строительный институт, он уже знал, чем будет заниматься не только в ближайшие годы, но в течении всей своей жизни. Каждое лето он торопился домой в Псков, и каникулы становились великолепной практикой, полной труда, первых дорогих открытий и веры в то, что биографию можно прочертить с безупречностью чистой прямой.

Поначалу все и складывалось как будто именно этим желанным образом. После института Юрий Павлович работает в отделе охраны памятников Леноблисполкома и архитектурно-художественных мастерских (Псков тогда принадлежал Ленинградской области) и почти не выезжает из Пскова, занимаясь Гремячей башней и «домом Яковлева». Он приступает к их реставрации, и сам готов не уходить с лесов вместе с мужиками, чьи руки он знает и у кого не устает учиться. Эти веселые бородатые псковские мужики, жившие в пригородных деревнях и каждый день ходившие на стройку в город, работали таким же инструментом, что и их собратья XIV – XVII веков. Для кладки из известковой плиты им служил все тот же большой «плитный» молоток, которым при необходимости отесывались плиты, и мастерок с длинной изогнутой ручкой, позволяющий размешивать «золиво» в шайке.

Особенно его занимает «дом Яковлева» (вторые палаты Меньшиковых). Памятник оказался на грани гибели. Дело было не в уничтоженном декоре, не в стесанных наличниках и утраченных этажах – погибало и оставшееся. От произвола нанимателей, обращавшихся со зданием по своему хозяйственному разумению, стены дали трещины, и штукатуркой их было не укрепить. Нужно было искать новые способы консервации здания, не перекладывая стен. Большое количество любительских фотографий и профессиональных чертежей напоминают сейчас о той трудной и счастливой работе, о днях воскрешения дома, который после реставрации декора окон словно прозрел. Псковичи поразились первоначальности облика, как новизне, – так неожиданно изящны оказались забытые формы, такой праздничный характер приоткрывался в этих, прежде считавшихся угрюмыми сооружениях.

Эта же работа дала росток предположению, которое впоследствии обрело плоть, подтвердилось и стало важнейшим открытием Ю. П. Спегальского, состоявшим в том, что все гражданские сооружения XVII века, даже и наиболее сохранившиеся «Поганкины палаты», по которым историки архитектуры судили о принципах псковского гражданского строительства, дошли до нас без жилых

деревянных этажей.

Мысль была неожиданной. Мнение историков к этому времени уже устоялось: Пскову надлежало быть городом-крепостью, где и частные дома строятся с оглядкой на милитаризм соседей – гладкие мощные стены и крошечные окна-бойницы, рассчитанные на осадное сидение. Не избежал этого романтического взгляда и И. Э. Грабарь, писавший, к примеру, о тех же «Поганкиных палатах»: «Если мысленно добавить не существующий ныне ров с водой вокруг здания и подъемные мосты, ведшие к нему через эти рвы, то суровое впечатление еще более усилится». Между тем для этих картинных рвов при тогдашней ширине улицы просто не находилось места.

В этом взгляде больше европейского, чем русского, а Спегальский именно опытом каменщика и плотника и просто старого псковича и живого человека знал, что в таких каменных цитаделях жить нельзя. Находки для безусловного суждения были еще не очень значительны, но они были, и он уже думал об этих этажах неотступно. Наверное, он скоро подтвердил бы догадку основательнее, но началась война, город был взят немцами, а архитектор голодал в осажденном Ленинграде и на скверной бумаге плохонькими цветными карандашами и замерзающей акварелью рисовал свой ненаглядный Псков и торопил воображение, вернее, уступал ему и в своих торжественных и мужественных рисунках ставил деревянные этажи на все громоздкие постройки. Мужественно тут не лишнее слово: в книге отзывов посмертной выставки Спегальского есть запись инженера-химика В. Иванова, которому «светлые тона сюиты «Псков XVII века» (как впоследствии была названа серия) напомнили блокадную симфонию Шостаковича». Это так. Среди холода, войны, недоедания рисовать прошедшее и будущее своего города (а это и была разминка для будущего, основы грядущих реконструкций) значило утверждать победу.

Тотчас после того, как Псков был освобожден от немцев, Юрий Павлович приезжает домой в качестве начальника Инспекции по охране памятников и целыми днями обмеряет развалины (триста листов этих драгоценных обмеров существующих и уже утраченных памятников хранятся сейчас в архиве покойного архитектора и, к сожалению, еще мало используются местными реставраторами, хотя для них это обязательный материал).

Он ставил на охрану все, что хоть в каком-то виде уцелело от средневекового Пскова и что прежде не охранялось государством, надеясь на скорую консервацию, а там и реставрацию лучших зданий и ансамблей. Эта надежда укреплялась тем, что Псков был включен в число 15 старинных городов, подлежащих первоначальному восстановлению. Начал разрабатываться и проект этого восстановления. Юрий Павлович выступил с идеей архитектурных заповедников, куда входили бы целые улицы, сохраняющие старин-

ное направление и конфигурацию.

«Весь город в целом представлял своего рода произведение искусства, которое создавалось на протяжении сотен лет, но все же – единое целое, где каждая деталь не только жила самостоятельной жизнью, но и входила своеобразной нотой, мелодией в общее звучание целого» – это было его убеждением и правилом, это было сутью его проекта.

Теперь комплексная реставрация не кажется особенной новостью – есть великие примеры Варшавы и Праги. Но тогда это был один из первых и сугубо самостоятельных проектов, что подтверждает высокую мысль эстетики о неделимости мира в отношении искусства. В одно время в различных странах разным людям приходят в голову родственные идеи, потому что в основе этих идей лежит объединяющее чувство – глубокая любовь к отечественной истории и высокое уважение к художественному гению своего народа.

«Не поздно ли теперь, – писал тогда Спегальский, – изучать архитектурный облик былого Пскова, если он разрушен и от него мало сохранилось? Нет, не поздно! И мы обязаны сделать это, потому что нельзя не использовать прошлую культуру человечества и проходить мимо того, что создал наш русский народ, необходимо извлечь все материалы, которые до сих пор не были использованы, – писцовые книги, годовые сметы, описание Пскова, изображение его на иконах, все, что известно об остатках древних зданий Пскова».

Пока чертежи, планы, пояснительные записки обсуждались, Юрий Павлович, ставший начальником образованной в 1946 году реставрационной мастерской, спешил расставить необходимые опорные точки и хоть на небольшом разрешенном примере практически показать эстетическую и этическую выгоду заповедных зон. Собственно, эти работы совмещались. Днем – на лесах, вечером и ночью – за столом. «Дом Яковлева», над которым он начал работать до войны, должен был стать первым из наиболее полно воскрешенных зданий, вокруг которого потом собрался бы весь комплекс гражданских построек Романовой Горки. Архитектор искал материалы, квалифицированных рабочих, готовил тесаный камень и железные связи для крыльца. Была большая напряженная работа. Была и радость: тогда, в 1946 году, вышла книжка Юрия Павловича «Псков», которая укрепляла идею тем, что прослеживала логику строительства и художественно-исторического формирования города. Это было напоминание о прошлом и призыв к будущему. Город еще был в развалинах, но по рисункам книги уже можно было представить его воскресший вид и ободрить уставшее от разрушений сердце.

Ему хотелось сделать все сразу. Он отводил себе пять лет,

чтобы по возможности полно реставрировать Романову Горку, а параллельно еще работал над церковью Николы со Усохи, в которой он открыл единственный тогда, не имевший еще аналогов образец часовни-усыпальницы XVI века, конечно, тотчас с любовью восстановленной.

Нет, перечислением работ тут ничего не объяснишь. Это были годы высокого взлета мысли архитектора; годы окончательного формирования его духа, его судьбы. Он был молод и ставил себе гордые и еще теперь кажущиеся неразрешимыми задачи. Они не были кардинально новыми. Он хорошо помнил уроки истории русской архитектуры и реставрации. Он знал, что устойчивое европейское мнение, будто допетровская русская архитектура была лишь провинцией Византии, как послепетровская – провинцией Парижа и Амстердама, можно опровергнуть только по возможности полной реставрацией хотя бы одного города, в его случае – Пскова. Для этого нужно было не мумифицировать памятники, а сохранять их живыми со всей естественностью и пропорциональностью их окружения. Он помнил точное суждение Грабаря: «Прекрасное старинное сооружение играет ту же роль в облике города, что и фигура в картине великого мастера: старый город в своем целом представляет такое же произведение искусства, и вырвать из него отдельный памятник – то же, что вырезать из картины фигуру». Потому Юрий Павлович и думал не только о диагностике больных памятников, но и об их согласии в общей картине, о взаимной поддержке, о связной и внятной речи. Реставрационная наука и прежде думала об этой важнейшей проблеме. А. Н. Бенуа, например, уже в первые послереволюционные годы писал: «Надо понять раз навсегда, что все выдающиеся, наиболее типичные примеры каждой эпохи должны быть сохранены не в качестве разрозненных вещей, но в виде целых совокупностей. Только соседствование известных предметов между собой, только включение их в то архитектурное окружение, которое было дня них создано, может оказаться для истории подлинным документом».

В слове «памятник» Юрий Павлович искал именно эту подлинность документа. Для него старые здания были не только и не столько украшением города, сколько свидетельством устойчивости бытия, свидетельством благородной историчности человека, помнящего свое родство, свои корни в ушедших временах. При этом подходе важно все, и каждое строение призвано сказать свое слово, не соперничая друг перед другом в значимости, ибо искусство не сравнивает. Он искал не на бумаге, а на реальном пространстве, открывал ритмы города в прямом процессе работы. Тут есть урок и нынешней архитектуре, которая строит проекты в макетах и в изящном уменьшении находит гармоничные соотношения, а потом с земли человек видит хаос и чувствует себя в ловушке.

Спегальский шел от человека, прохожего, горожанина, а не от тщеславия картинных проектов. Он знал, что такой подход потребует много больше сил, что на полное решение своих задач ему может не хватить жизни, но он глядел вперед радостно, потому что делал то, чему посвятил себя с первых сознательных лет.

Но обстоятельства оказались против него. Достаточно было одной обдуманной ложной фразы, что Спегальский хочет вместо социалистического города восстановить Псков XV – XVII веков, чтобы идея оказалась под сомнением и архитектор был принужден прекратить работы.

И спустя десять лет он будет остро переживать не обиду даже, а беду и в одном из писем выскажет те мысли, которые, очевидно, были на все лады передуманы тогда, в 1947 году: «Я не раз в воображении своем гулял по этим улицам, дворам, палатам и храмам. Ну, это не удивительно, ведь некоторые из этих дворов у меня уже были нарисованы (тогда, в блокаду, – С. Я.). Я ходил мысленно по дворам, каждый из которых представлял собой законченный архитектурный комплекс, поднимался по крыльцам, входил в обширные светлые палаты, в просторные хоромы... Но, заметьте, я никогда при этом не встречал в своем воображении купцов XVII века или членов их семей, или их дворовую челядь. Мне всегда казалось, что дворы эти должны быть не завалены дровами, товарами и припасами, не быть грязными, а должны быть вымощены плитами, обсажены кустами роз, кустами сирени, что в палатах я встречу не пьяных купчиков, а выставку псковских художников или вновь открытый отдел музея.

И вот всему этому теперь надлежало так и остаться предметом воображения. Легко было от обиды отступиться и успокоиться за решением других важных задач, которых хватало всегда. Легко было отдать себя целиком ленинградским памятникам, над которыми он в эти годы много работал. Но с собою-то что сделать, если ты все-таки призван только к одному месту на земле? Мы легко и часто говорим это слово «призвание» и вот-вот совсем утратим его высокий и обязывающий смысл. А ведь в этом слове слышен голос властной силы, которая требует, призывает всего человека, и следовать этому зову чаще более трудно, чем от него отказаться.

Темой будущей диссертации Юрий Павлович избирает псковскую гражданскую архитектуру. Догадки, начавшиеся с детских игр в «доме Печенко» и обретавшие плоть подлинности в работах над «домом Яковлева» и в обмерах и обследованиях других построек XVII века, ждали окончательного подтверждения. Несколько лет поисков, тщательного анализа археологического и исторического материала, внимательной работы с псковскими летописями и обширной иконографией позволили Юрию Павловичу сделать ряд прекрасных реконструкций, глубоко обосновать их, проследить историческую ло-

гику развития тех или иных строительных принципов в разные периоды XVII столетия и в 1951 году защитить диссертацию, которая впоследствии, через многие годы, вышла отдельной книгой и вызвала огромный интерес ученых. Она была неожиданной и в 1963 году, когда появилась книга. Можно представить, какою она казалась в период защиты. На месте смутного пятна в истории гражданской архитектуры русского средневековья явилась картина талантливого и функционально безупречного зодчества. И это касалось не только Пскова – подобные постройки были обнаружены и в других русских городах. Без ясной методики Спегальского эти памятники еще долго могли ждать своего часа.

Исследование было драгоценно не только этим. Ученый не одно лишь существование деревянных этажей доказывал и не один их внешний вид реконструировал. Привыкший мыслить комплексами, он и в отдельном памятнике не изменял этому принципу. Глубоко зная культуру русского средневекового интерьера, Ю. П. Спегальский оставил серию великолепных рисунков повалуш и залов для пиров, галерей и сеней. По следам врезанных в старые полы ножек он восстанавливал расположение столов и лавок, а по остаткам изразцов, которые прошли через его руки перед войной (он тогда передавал их музею в огромном количестве), он реконструировал печи. Открытием были и керамические киоты с домашними покровительными иконами, украшавшие старые интерьеры наравне с печами. Собственно, это были главные постоянные украшения – драгоценное блистание икон в пышном рельефе керамики и изумрудное мерцание глазури на печных изразцах. И если интерьер на рисунках кажется суровым и аскетичным, то потому, что нам не всегда достает воображения постелить тяжелые шитые скатерти, расставить поливную глиняную и кованую посуду, расцветить дом праздником одежд и озвучить многоголосием пиров и бесед. Сам архитектор считал это именно нашим делом, давал нашему воображению помещение, архитектурную раму.

Гоголь когда-то, размышляя о зодчестве XIX века, писал: «Архитектор-творец должен иметь глубокое познание во всех родах зодчества... но самое главное должен изучить все в идее, а не в мелочной наружной форме и частях». Для архитектора-реставратора тоже необычайно важна идея, но ему отказано в праве забывать о мелочной наружной форме и частях, потому что эта идея реализуется именно бережностью памяти и внимательностью к частности – и только тогда она зовется подлинной. И еще Гоголь добавлял, что для такого изучения (в идее) необходимо быть поэтом. Ю. П. Спегальский им был – поэтом мировосприятия, знающим тайну света, хранящегося в старой архитектуре, быте, письменности. Он умел аккумулировать этот свет и возвращать его новой реальности. Он умел читать документы и извлекать из них сущность. Он умел быть

современником этих документов и вернейшим образом передразнивал их в письмах к друзьям, описывая свои будни языком Епифания Премудрого, отчего и трудные дни выглядели переодетым праздником.

Он умел быть благодарным безымянным псковским зодчим, их ремесленным и художественным принципам, без знания которых невозможно целостное представление об архитектуре времени, а значит, и обоснованная реставрация. Юрий Павлович настойчиво повторял как будто известную, но всегда забываемую мысль о том, что к псковским памятникам, как вообще к старой каменной провинциальной архитектуре, неприменима шкала классических образцов, ибо она не чертилась, как грациозные фантазии Растрелли или дорические объемы Старова, а выводилась камнем, кельмой, мастерком, потому что не было деления на сочинителей и исполнителей, а было совмещение обеих функций, что сказывалось в негорделивых подписях псковских храмов («Ставил Ивашка Ширяй с товарищи»). Юрий Павлович справедливо писал в 1944 году: «Рисовать архитектуру и вычерчивать архитектуру – еще не значит ее изучать. Изучать архитектуру – значит постигать все те основы деятельности зодчих, которые заставляют ее принимать те или иные формы, ту или иную пропорциональность».

С 1959 года, став сотрудником группы славянско-русской археологии в Ленинградском отделении Института археологии, Ю. П. Спегальский несколько лет посвятил изучению материалов раскопок старых северо-западных поселений. Результатом этого изучения стала работа «Русское жилище IX – XIII веков в Северо-Западной Руси», снова вызвавшая оживленное столкновение мнений. Вышла она, к сожалению, уже после смерти исследователя, и он не смог принять участия в ее публичном обсуждении. Специалисты снова говорили о «совершенно невероятных реконструкциях», потому что не знали им аналогий в русских крестьянских постройках XIX века, от которых отталкивались при анализе традиций деревянного строительства наиболее авторитетные к тому времени ученые. Главным при оценке работы было не сомнение, а восхищение смелостью мышления и неожиданностью выводов Спегальского, искавшего новых путей приближения истины.

Он пробивался сквозь лес архаического словаря к таящимся за переменой названия конструктивным изменениям построек, потому что когда одрины становились горницами, вежи – повалушами, а стреты покровные – галереями, то эволюция словаря не могла не быть связана с эволюцией ремесла. Верный принципам синтетического анализа, Спегальский писал об интерьере, способах декорирования зданий и способах отопления, потому что всегда помнил, что «на жилище, на его устройстве, компоновке, оборудовании и убранстве сказываются не только природная среда, развитие производительных сил и общественный строй, но и его этические и националь-

ные черты, его духовные свойства, его верование, его таланты и наклонности, отражается социальная структура, особенности жизни различных слоев народа, их нравы, привычки, вкусы, понятия». Ни одно из этих условий он при реконструировании в работе не забыл, и в результате сейчас она, по признанию специалистов, «относится к ряду выдающихся явлений» и уже не может быть обойдена новыми исследователями этой сложной темы.

Он и в этой работе, напрямую с Псковом не связанной, при удобных случаях припоминал подходящие параллели из прежних псковских исследований, потому что вообще о городе думал постоянно, а вечерами возвращался к замыслам, которым не было числа: «Теперь уже о лени нет и речи – неделями, месяцами и годами (долгими ли?) приходится корпеть над тем, что надо сделать в жизни (и все равно не успеть!). Изразцы, печки, киоты, интерьеры псковских палат, книги о псковских каменщиках, о древнем русском жилище, виды древнего Пскова, картины его жизни – все это требует: сделай меня скорее... неужели ты так и уйдешь, не породив нас, не дав нам жизни? И я чувствую, что не сделать что-либо из этого – предательство с моей стороны, смертное предательство по отношению к тому, что я любил. И спешу. Но какой темп исполнения моих замыслов? Чтобы сделать все, нужны десятилетия!»

Он писал это в конце 1965 года. А через три года осуществится, может быть, самая дорогая мечта во все послевоенное время – его пригласят в Псков главным архитектором реставрационных мастерских и он встанет не пороге осуществления замыслов, подлинно выстраданных всей жизнью. К нему как будто вернется молодость. Первое, что он сделает, он составит перспективный план реставрации на ближайшие годы и, как в юности, поставит перед собой почти неохватные по величине задачи, прибавив к тому, что намеревался начать в 1946 году, все, что понял, что изучил, что воскресил на листах в 20 последующих лет.

В десятилетие он решается реставрировать важнейшие памятники и целые комплексы, которые были восстановлены только частично или не восстановлены вовсе. Это задачи на те годы, которые он отводил себе для жизни, и о промедлении не могло быть и речи: он должен был увидеть свою мечту воплощенной. Он обязан был убедить город в реальности предлагаемых им планов и делал это с мягкой настойчивостью, с глубокой и вдохновенной уверенностью. В этом официальном документе билось живое взволнованное сердце и видны большие силы, которые ждут применения. Это документ, не сулящий отдыха и успокоения, обещавший соратникам только подвижнический труд, который окупится радостью воплощенной художественной идеи. От требовал всех сил и всего сердца, и нужны были мужество и такая же сила веры в значительность архитектурной истории города, чтобы принять сроки этого плана и утвердить объем его работ.

Но он прожил в Пскове только 150 дней, и смерть унесла его не самом пороге нового периода.

Высокая последовательность этой души стала зеркалом вдохновляющей силы эстетической истории России. Человеческая жизнь оборвалась смертью, но жизнь наследия сделалась еще интенсивнее, потому что в искусстве не бывает утрат. Если однажды достигнуты известные пределы, общество и эстетическая история не смогут миновать их бездумно – небрежение тут же оплачивается годами и десятилетиями повторительной работы, которая неизбежно приводит к уже найденному предшественниками результату. Именно поэтому наследие Спегальского активно включается в сегодняшний реставрационный процесс.

Это была трудная жизнь, но она была мужественной и веселой. Он исходил из радости и потому открыл Псков, исполненный спокойствия и ясного жизнелюбия, и потому его дома стали домами, а не оборонительными сооружениями, и его старые мастера – оригинальными мыслителями, а не послушными копиистами. Он сам был мастером, возвращающим вещамутраченное временем имя. Не напрасно в архиве Юрия Павловича есть нарисованная им азбука, использующая псковские орнаменты, как начало жизни духа, и проект своего, так и не построенного дома, как начала жизни тела. На расписанных им шкафах в его доме скачут псковские всадники, утверждая, что «мужу лепо быть храбрым», и пируют за столом добрые люди, потому что «дому красно быти гостеприимну». На расписанных им занавесях гордо поднимают шеи кони счастливых снов, «а мне бы снилось приволье былое, земля родная псковская, Пскова-река, по камешкам журчащая», и хозяин с хозяйкой гуляют в этих снах по Пскову XVII века, поминая «мужей-псковичей, мастеров, делателей церковных, и палатных, и хоромных, и воинов псковских – их же слава велика во всех странах есть», и расписные столешницы, и сундуки, и короба – все ярко, празднично, все полно Псковом, «иже бе велик зело, преизобилен и преславен».

Это был художник, архитектор, плотник, каменщик истинно русской многосторонности и щедрости таланта, ученый, открывший новые плодотворные области истории архитектуры и реставрации, человек, все творчество которого было прекрасно, ибо учило и учит мудрости, отваге и благодетельной радости.

Раньше, подъезжая к Пскову, я высматривал издалека очертания Троицкого собора – своеобразного символа древнего города. Теперь же ищу глазами стройный силуэт современного завода, ставший для меня зримой памятью о друге, гражданине города Пскова Анатолии Викторовиче Лукине...

Мысль, посещавшая меня всякий раз, когда приходилось

сталкиваться с болями нашей культуры, ее разором, с вечными нехватками средств на ее восстановление, сводятся к одному: сколько можно уповать на «центр»? Ведь если бы те, в чьих руках производственные мощности, деньги, влияние и авторитет, на своей «малой родине» хоть малую толику от своих богатств отдали бы на спасение памятников старины, приведение в божеский вид нашей земли и за пределами собственных заводских территорий, если бы помогли нескудным рублем и действенным вниманием талантам, прозябающим рядом, все давно бы было по-другому! Мы бы двинулись вперед в деле восстановления обескровленной нашей культуры куда более быстрыми шагами...

Эту истину мне никогда не приходилось доказывать Лукину. В нем было природное уважение к своей земле и непоколебимое понимание, что, если не спасем остатки нашего наследия, индустриальные гиганты нас не осчастливят. Этот человек, так не вписывающийся в рамки наших обычных представлений о «хозяевах» многотысячных производственных комплексов, считал себя причастным и лично ответственным за каждый камень его любимого Пскова. Быть может, Лукину надо было родиться поэтом или художником, но в глубине души я считаю, что он таким и был. А еще – великолепным инженером, ученым-практиком, создателем одного из самых современных предприятий нашей индустрии. И теперь, когда его нет, я отчетливо понял, какого редкого закала личность мне удалось встретить на своем пути. У Лукина, казалось, было все: удачно складывающаяся карьера, высокие правительственные награды, полученные за конкретный и очень важный вклад в нашу промышленность, авторитет и влияние в городе. Но как решительно все это поставил Анатолий на службу духовного возрождения своих сограждан, на службу Пскову, который олицетворял для него всю Россию, ее порушенную культуру, и сегодня продолжающую быть вечной падчерицей, привыкшей довольствоваться жалкими грошами!

Это благодаря деятельному вмешательству, активной помощи Лукина как главы крупного предприятия стало возможным создание одного из лучших монументов, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, так хорошо вписавшегося в средневековый ансамбль Пскова. Не надо объяснять, чего стоило поставить этот памятник в условиях беспредельного дефицита на все, в том числе и на личную заинтересованность ответственных лиц в увековечении памяти наших отцов и дедов.

Сегодня я думаю: где брал Лукин время и силы в своей вечной «замотке» заводскими делами, чтобы помочь воскрешению уже полузабытого на Руси кузнечного дела? Его надо считать лично причастным к тому, что это воскрешение все-таки состоялось. Уникальное железное кружево, в которое оделись псковские терема и храмы, главный собор Данилова монастыря в Москве – это тоже теперь

напоминание для меня об Анатолии. А ведь сколько было препятствий, изматывающей борьбы с вечно запрещающими инструкциями, куцыми сметами! Лукин не был более свободен в своих действиях, чем другие, и для любой помощи позабытому чиновниками миру бессребренников – реставраторов, музейщиков, хранителей нашего наследия – безусловно, нужны были «напряг», трата энергии и определенный риск. Причем риск немалый. Известно, что в те совсем недавние времена столь добровольное радение о культуре не только не поощрялось, но и порой бывало наказуемым. И все же, постоянно выбирая между долгом сиюминутным, хозяйственным, и долгом перед отечественной культурой, памятью, историей, а значит, перед народом, Лукин, как истинный русский интеллигент и патриот, всегда выбирал последнее.

Разве кузнец-художник Всеволод Смирнов и его мастерская, псковские подвижники, направившие все свои силы на восстановление древних памятников и создание самобытных творений из металла, могли бы выйти на широкий «оперативный» простор, не участвуй в их судьбе директор псковского завода ТЭСО?

Да и я сам, приезжая в Псков с реставрационными заданиями, знал, куда надо идти за помощью. На Лукина я мог рассчитывать.

Задумали мы с молодыми московскими художниками сделать росписи в здании Псковской областной детской библиотеки. Энтузиазма занимать не приходилось. Только не он у нас все решает. Где, например, брать материалы? Лукин все понял с полуслова. И сегодня псковская детвора, придя в библиотеку, попадает в мир не только книжной мудрости, но и высокого искусства. Не было бы этого без Лукина.

Над его безвременной могилой стоит памятник, у которого невольно замедляешь шаг. Так увековечивают память человека, уважение к которому беспредельно. Автор надгробия – тот самый художник, кузнечных дел мастер, реставратор Всеволод Смирнов. У него в кузнице мне и суждено было впервые увидеть Анатолия Лукина. Знакомясь со мной, он утопил мою неслабую руку в настоящем мужском пожатии, а глаза его своей прозрачной глубиной заставили вспомнить просветленность взглядов персонажей картин Васнецова, Нестерова и Сурикова.

Шли год за годом нашей дружбы, а я не переставал удивляться, как невероятная сила характера, непреодолимое упорство духа и хватка прирожденного лидера сочетались в этом человеке, напоминавшем русского богатыря, с почти женственной мягкостью и тонким лиризмом души. Руководить такой махиной, как ТЭСО, ни на минуту не забывая о нелегких заводских проблемах, и одновременно писать проникновенные стихи, с мальчишеским азартом «доводить до ума» скромный деревенский домик на берегу Псковского озера, словно отрешась от своего высокого положения, самозаб-

венно копаться здесь в черноземе с ощущением полного счастья мог только человек, по-хорошему отмеченный Богом.

Помню, как, возвращаясь из зарубежных поездок, Анатолий, словно нехотя, вскользь рассказывал о впечатлениях и тамошних коллегах и тут же торопил нас ехать на любимый Крупп, где по его инициативе построили заводской профилакторий, или звал нас в Печеры, Изборск, Малы, туда, где псковский дух особенно зрим и осязаем. Он словно стремился заразить своим обостренным ощущением России, вечности, которой веет от ее земли. Им я глубоко уверен, что между моим другом и «его» Псковом существовала незримая, не подвластная никаким объяснениям связь. Они поддерживали друг друга: Лукин – город, город – Лукина. Анатолий относился к Пскову с пылкостью влюбленного юноши.

Я помню, как навещал Лукина в больнице, когда врачи едва могли сохранять ему жизнь. Ошеломленный их безрадостными прогнозами на будущее, я вошел в палату. Свидание – минимальное... Но через десяток минут тайком вызванная машина уже несла нас по улицам Пскова. Впереди во всей своей красе показался Мирожский монастырь. «Вот оно главное лечение», – Анатолий обернулся, и я увидел, какой радостью сияют его глаза.

Анатолий Викторович Лукин умер на исходе 1987 года за рабочим столом в своем заводском кабинете. С тех пор, приезжая в Псков, я не могу отлучить себя от мысли, что могучий, словно поднявшийся из самых недр Руси город осиротел. Ведь он – словно живое существо, и кому-то надо думать о нем, беречь его старость, врачевать раны, заботиться о завтрашнем дне. Анатолий Лукин умел это делать радостно и бескорыстно, во всю ширь своего преданного русского сердца.

Уважаемый главный редактор!

Поэтам у нас принято предъявлять тот или иной счет. Сколько пришлось выслушать Пушкину от верноподданного Булгарина, заговорщика Рылеева, митрополита Филарета! А посмертный «приговор» Писарева! От поэта требуют служения сверх его собственного призвания. Нам мало того, что поэт – поэт. Он обязан быть гражданином, христианином... Иначе – отступник.

С Есениным боролся Маяковский, от имени компартии – Бухарин, лет двадцать после гибели Есенина не издавали, никак он не укладывался в ту правоверную «поэзию», в которой благоденствовали Демьян Бедный, Безыменский да Лебедев-Кумач. Высоцкого же при жизни не издавали вовсе...

Гласность освободила нас от идейных запретов в литературе. Но не успел «легализоваться» Высоцкий, как на него обрушил свой гнев Куняев, уж не помню за что – кажется, за хриплый голос и распущенность. Но вот перед нами куда более серьезная инвектива – статья умной и талантливой Марины Кудимовой «Ученик отступника» («Континент» № 72). «Ученик» – это Высоцкий, а «отступник» – Есенин. Я не собираюсь ограждать поэтов от критики – все они не без греха, а Есенин с Высоцким тем паче. Я – против жестко обозначенной идейной установки вышеназванной статьи. Против любого партийного суда над поэтами: с точки зрения царизма ли, марксизма-ленинизма, национал-патриотизма или любого вероисповедания. Я за то понятие, которое не случайно игнорируется в статье «Ученик отступника»: за свободу творчества. Автор статьи судит поэтов не как поэт, а как христианин. И судит с такой непримиримостью, которая никак не вяжется с христианским заветом – «не судите да не судимы будете». Виноват, для меня учение Христа предстает не в облике обличения, разоблачения, отлучения (всего этого и так предостаточно в нашей мирской юдоли), а видится в той области, где сострадание, смирение, понимание, прощение и любовь, обязательно любовь (основной дефицит в нашем ожесточенном мире!). По моему грешному разумению, поэт не бывает праведником, в нем ярче

всего выражено «человеческое, слишком человеческое» (то есть именно то, что в себе старается изжить праведник). А вот мучениками поэты ох как часто бывают! Как их не любить и не жалеть? Любить за талант, жалеть за боль (сказано же: поэт – не врач, а сама боль и не только своя!). Любить и жалеть – за раннюю гибель Пушкина и Лермонтова, Есенина и Маяковского, Мандельштама и Цветаеву... Поэты не бывают праведниками, а потому не бывают и отступниками. Проповедники и праведники должны быть всегда на высоте – таков их, извините, имидж. Столпник не может позволить себе кратковременного сошествия в кабак ради встречи со старым другом. А у поэта и «всемирный запой» случается. Поэт бывает малодушно погружен в заботы суетного света и среди детей ничтожных мира бывает – всех ничтожней он. Уж вы простите бедному гению, он порой не отвечает за себя – трещина мира прошла через его сердце. Поэт столь же мучительно противоречив, как сама жизнь, даже не столь, а более – в нем жизнь многократно усилена, увеличена, его подъемы выше среднечеловеческих, а спады тоже «не как у людей». Поэт не исповедник, а сама исповедь. Святой, обращаясь к нам, начинает сразу с небесной истины, а поэт – с земной правды. Каждому свое. В небесной системе координат все заранее определено – как в любой законченной, завершенной и совершенной догме. С точки зрения догмы все выглядит убедительно и строго выстроено (любой идейный подход всегда страдает железной логикой), но идеальная палка не совместима с земной кривизной. Если уж быть последовательным, то надобно судить не только «учителя» Есенина. Почему не Маяковского, у него богохульства – хоть отбавляй. А сколько грехов (вплоть до «отступничества») мы без труда найдем у Блока, Брюсова, Бальмонта, у Некрасова, Лермонтова и самого Пушкина. Не говоря уж о Гейне, Байроне, Шекспире, Вкрлене (каждый может подобрать соответствующие цитаты). Если уж быть последовательным, то следует дойти до выводов, которые уже сделал в старости Лев Толстой, осудивший искусство вообще и свое в частности. Он резюмировал: «На место религиозного искусства поставлено пустое и часто развратное искусство и этим скрыта от людей потребность в том истинном религиозном искусстве, которое должно быть в жизни для того, чтобы улучшать ее». Улучшать жизнь? Это мы уже проходили, не так ли? Замените «религиозное» на «социалистическое» и прочтите снова. Знакомая формула. С ее помощью А. Жданов «разоблачил» Ахматову. Увы, точно так же (формула обязывает!) поступил и Толстой, установивший, что миросозерцание Верлена «состоит из дряблой распущенности, признания своего нравственного бессилия, и ... самого грубого католического идолопоклонства».

Следуя тем же внелитературным критериям священник

Михаил Ардов обрушился на роман «Мастер и Маргарита»: «Всю ту богохульную часть вещи, где отвратительным образом искажаются евангельские события, я с возмущением и негодованием отвергаю, как нечто оскорбляющее и унижающее божественное достоинство Спасителя». Христианские критики, слава Богу, ни о каких карах не помышляют, но способ обвинения не напоминает ли о «преступлении» Салмана Рушди?

Лев Толстой говорит: «Ничтожные и безнравственные произведения Шекспира и его подражателей... никак не могут быть учителями жизни...» Учителями жизни? Инженерами человеческих душ? В том-то и дело, что писатели – не учителя и не инженеры. И не идеологи, как полагали наши «революционные» литературоведы. В двадцатых годах В. Фриче объявил Шекспира злейшим реакционером, идеологом феодально-помещичьей аристократии, а некий А. Смирнов, споря с ним, утверждал, что «Шекспир – гуманистический идеолог буржуазии» (Есенин тоже побывал в кулацких идеологах!) А Пушкин знал, что поэт – «сам свой высший суд» и что

...ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Гордись: таков и ты, поэт
И для тебя условий нет.

В тайне творчества, к счастью, не все разгадано, оно не по зубам любому компьютеру. У гениального писателя есть еще какой-то незримый соавтор. Взять хотя бы Достоевского. Через него сказалось гораздо больше, чем он предполагал. Вспомните, как читались «Бесы» сто лет назад и как – теперь!

Весьма прискорбно, кода искренние люди с самыми благими намерениями впадают в соблазн – сурово судить (и осуждать) искусство не по его законам. Что тогда говорить о злонамеренных, вроде А. Жданова, и М. Суслова, которые пользовались той же формулой, подставляя иные значения в ее переменные!

Следует почитать за благо отделение церкви от государства, партий от государства и отделение искусства от партий, церкви и государственной власти. Каждому свое.

Несколько конкретных замечаний.

В статье упоминается «известный эстрадный певец» (Малинин), который «путается» в тексте Есенина. Не путается, а сознательно искажает, вместо «Стыдно мне, что я в Бога верил» поет «Стыдно мне, что я в Бога НЕ верил»! Так сказать, врет «для пользы» самого Есенина, образ которого в определенных кругах положено всячески лакировать. Другая крайность.

Автор статьи утверждает, что Высоцкий «не предполагал...сколь серьезно с него будет спрошено». Кем? М. Кудимова

опасается, что ее заметки «могут быть восприняты, как осуждение двух замечательных русских поэтов», которых она душевно любит, «но которым пора предъявить духовный счет. И вот выясняется, что по нему поэты заплатить не в состоянии». Вот так. Когда М. Кудимова пишет стихи, она прекрасно чувствует, что такое поэзия. А когда подходит к ней с мерками из другой области, то получается нехорошо и несправедливо. Не надо «замечательным поэтам» предъявлять «духовный счет». Оставьте их в покое, они нам уже неподсудны (один покарал себя сам страшной карой, другой немало способствовал своей погибели). Они нам оставили плоды своего творчества. И вовсе не для того, чтобы они стали уликами против них. Что сказать об адресате, который получил трагическое письмо от близкого человека и вместо того, чтобы откликнуться на зов, на боль, на слова, обращенные к нему, занялся бы, как следователь, графологической экспертизой почерка отправителя?

Конечно, для любого прокурора и у Есенина, и у Высоцкого найдется компромат. Но зачем прибегать к натяжкам, придумывать лишку? Вот какую, например, «разоблачительную» строку приводит Кудимова из песни «Аисты» Высоцкого: «Что нужнее сейчас? Ненависть!» Но такой строки нигде нет! В указанной песне читаем совсем другое: «Что нужнее сейчас – ненависть?» Вопрос превращен в лозунг! Лучше уж было обратиться к любому из настоящих певцов ненависти, например, к Александру Прокофьеву: «Стучи в наше сердце, ненависть! Всяк ненависть ощетинь!» А как он писал о расстреле в Екатеринбурге, о несчастных царевнах: «А они-то вертятся сатаной на блюдце, слезы собирают в кулачок. Скидывайте шапочки перед Революцией, чтобы пуля видела мозжечок!» Прикажете предъявлять духовный счет? Да не духовный, а скорее уголовный, ибо это такая же «поэзия», как и ликование Демьяна Бедного по поводу сноса храма Христа Спасителя: «Под ломами рабочих превращается в сор безобразнейший храм, нестерпимый позор православно-российской архитектуры». Тут и об отступничестве не может быть речи – отказавшись от своего призвания, изменив ему, эти люди перестали быть поэтами,, их поделки мертвы.

Что до Есенина, то в статье читаем: «Есенин еще в 15-м году предсказал свое отступничество («В том краю, где желтая крапива»):

Я одну мечту, скрывая, нежу,
Что я сердцем чист,
Но и я кого-нибудь зарежу
Под осенний свист.»

Цитата на сей раз точная, но, вычлененная из целого, звучит иначе. На самом деле молодой поэт видит каторжников, бредущих по дороге «до сибирских гор», преступников с точки зрения закона, но несчастных с точки зрения тех русских баб, которые, как известно, их жалели, совали им ломти хлеба. Поэт тоже чувствует эту «нелогичную» жалость, истинно православную «милость к падшим», даже любовь:

Все они убийцы или воры,
Как судил им рок.
Полюбил я грустные их взоры
С впадинами щек.

Вспомните «Записки из Мертвого дома» Достоевского. Неужто их содержание исчерпывается словом «уголовники», которое так часто употребляет М. Кудимова? Надо ли упоминать о кротости и буйстве, многотерпимости и пугачевщине в характере русского народа? Поэт, который «сердцем чист», угадывает свою трагическую кровную связь с этим народом, с этими грешниками, отверженными и изгоями общества. Осуждение поэтом тех несчастных как раз было бы отступничеством от христианства! Дальше – хуже: автор статьи не очень-то верит Есенину, когда он клянется, что «не расстреливал несчастных по темницам», потому что «уже было записано бестрепетной рукой мемуариста (В. Ходасевич) – или самой истории, нежный лирик приглашает барышню поглядеть, как тех несчастных расстреливает комиссар Блюмкин». Какой конфуз! Разве не ясно, что Есенин дурачил, эпатировал какую-то барышню, бравировал знакомством с «легендарным» Блюмкиным, убийцей Мирбаха, а перепуганная барышня передала Ходасевичу, а тот, ненавидящий Есенина, охотно подхватил этот треп. Еще охотней автор статьи препарирует сей «факт» таким образом, словно демонстрация расстрела имела место, – рука мемуариста мало того что названа бестрепетной – она уподобляется руке «самой истории». Каково! Есенин сказал барышне, барышня сказала Ходасевичу, Ходасевич «сказал» Кудимовой. а та занесла этот «испорченный телефон» в скрижали самой истории.

Автор статьи устанавливает, что стихи Есенина нравились уголовникам, которые вообще стихов не признают, и заключает, что он, как и его «ученик» Высоцкий, чем-то близки уголовному сознанию. Но, во-первых, если поэзия через Высоцкого и Есенина пробилась и до этих «падших», то – слава Богу! Глядишь, капля человечности прибавится в их ожесточенных душах. А во-вторых, искусством интересовались и грешники помасштабней: Гитлер, например, любил Вагнера. Каковы будут выводы относительно Вагнера?

Можно шаг за шагом проверять аргументацию автора статьи. Но, думаю, достаточно. Отмечу лишь напоследок, что автор статьи сообщает: «Христианином Высоцкий стать не мог». Какое это имеет отношение к поэзии? Отныне «поэтом можешь ты не быть, христианином быть обязан»? Как быть тогда с Омаром Хайямом, Низами, Ду Фу? Как быть с Горацием, Овидием? С Гомером, наконец?

Не так давно, в 1980 году, при другой системе идеологических координат, П. Шлапак из Омска прислал в «Юность» статью, в которой не случайно утверждалось:

«Только интернациональная любовь к Родине... является непобедимой силой во всем революционном коммунистическом переустройстве жизни. Была ли такая любовь к Родине в поэзии Есенина? ...Есенин так и не понял сущности Октябрьской социалистической революции, и в его поэзии не было твердой революционной любви к Родине».

Вот так, не иначе. Все, кроме поэта, знают, как надо Родину любить, революцию понимать и от Бога не отступаться...

Кирилл КОВАЛЬДЖИ

Дорогие соотечественники!

Пришло благодатное время возвращать долги нашей общей Родине – России, возрождать православную веру, возвращать в Россию русскую культуру, разбросанную по всему миру. Эти думы и боль наша, с которыми мы обращаемся к вам, русским, волею судьбы оказавшимися за пределами Родины.

В городе Краснодаре (бывшем Екатеринодаре) недавно открылся Литературный музей. Нам удалось собрать интересные материалы о духовной культуре Кубани. Но мы хорошо понимаем, что это малая толика из того, что должно быть представлено. Поэтому мы и решили собрать библиотеку русской зарубежной литературы. Всем нам хорошо известно, как велик интерес и ограничены возможности наших соотечественников, жаждущих познакомиться с этим пластом неизвестной нам русской культуры.

Уже сегодня мы располагаем небольшим количеством книг, собранных с большим трудом, которые передаются из рук в руки. Но их так мало! Мы хотим собрать литературу о деятельности русской эмиграции, о ее высоком крестном пути; прозу, поэзию,

философские и исторические исследования, мемуары наших соотечественников, русскую зарубежную периодическую печать, книги зарубежных авторов по истории Русского государства.

Мы обращаемся ко всем русским, живущим в эмиграции: «Откликнитесь!» Ваши воспоминания, фотографии, книги, которые вы сохранили, документы и другие материалы, связанные с историей Кубани, помогут более полному и близкому к истине пониманию нашей жизни.

Кроме того, хотелось бы иметь в этой библиотеке книги по православию (богословию, литургике, экзегетике, истории церкви, жития святых и мучеников).

Мы надеемся, что вы услышите и поймете нас. И мы вместе сделаем все, что в наших силах, для праведного дела возрождения истинной истории.

Любой ваш отклик мы примем с большой благодарностью.

С пожеланиями доброго здоровья и надеждой на лучшее.

Сотрудники Литературного музея Кубани,
Заведующая Литературным музеем
ГАРАНИНА Валерия Алексеевна.

Наш адрес:
Россия, г. Краснодар – 350063
ул. Тельмана, 39/1.
Дом атамана Кухаренко, Литературный музей Кубани.
Тел. 52–78–78

К ЧИТАТЕЛЯМ «КОНТИНЕНТА»

В 72-м номере журнала (первом номере нового, «русского» КОНТИНЕНТА) главный редактор журнала от имени редакции уже познакомил читателей в общих чертах с тем, каким видится нам «русский» КОНТИНЕНТ, каким будет его главное направление. Ныне, когда мы объявляем подписку на КОНТИНЕНТ на 1993 год, мы хотели бы более подробно познакомить читателя с нашими планами, а также проинформировать его об условиях и формах подписки на журнал.

Новый «русский» КОНТИНЕНТ задуман его редакцией как журнал нового типа и со стороны его структуры. Мы исходим из того, что, наследуя лучшие традиции русских «толстых» журналов, которые всегда были главными посредниками между читательской аудиторией и живой культурой страны, журнал должен сочетать их с принципиально новыми формами общения с читателем, обусловленными резкой новизной существующей сегодня в стране информационной ситуации.

Так, читатель по-прежнему найдет в журнале традиционный художественно-литературный отдел, на страницах которого он встретит имена ведущих русских прозаиков и поэтов. Кроме того, в каждом номере журнала он найдет и раздел Литературный дебют, где КОНТИНЕНТ будет представлять своим читателям новые имена наиболее талантливых молодых или никогда до этого не печатавшихся отечественных и зарубежных литераторов.

В своей интеллектуальной «тетрадке» журнал, не будучи ежемесячником, не будет ставить перед собой задачу угнаться за быстротекущим потоком экономических, политических и социальных событий. Он намерен обращаться к наиболее крупным, фундаментальным проблемам нашего духовного и культурного становления, привлекая к их обстоятельному и глубокому обсуждению лучшие интеллектуальные силы России и других стран.

В чем может и должна развиваться сегодня «русская идея»?

В каком смысле можно и должно говорить сегодня об «особом» пути России?

Что нам обещает и чем грозит так называемая «конвергенция» России и Запада?

Какова роль русской интеллигенции в становлении новой России?

Какова возможная роль России в завтрашней геополитической ситуации?

Что представляет сегодня собою Русская Православная Церковь как духовная сила общества? Каковы перспективы взаимоотношений православия, католичества и протестантизма?

Нужна ли «реформация» в нынешней русской Церкви и в чем она может заключаться?

Какие основные содержательные и формальные течения сложились со времен так называемой хрущевской оттепели в русской литературе и в русском искусстве и каковы их сегодняшние взаимоотношения между собой?

Чем отличается сегодняшняя творческая ситуация в нашей литературе? в кино? в музыке? в театре? в изобразительном искусстве?

Что такое христианская культура и каковы могут быть критерии такой культуры?

Как в свете этих критериев можем мы оценить сегодня творчество ведущих русских прозаиков и поэтов 60 – 90-х годов – таких, как Солженицын и Шаламов, Трифонов и Битов, Распутин и Аксенов, Войнович и Белов, Астафьев и Высоцкий, Искандер и Рубцов, Бродский и Чухонцев, Гроссман и Домбровский, Вознесенский и Коржавин, Тендряков и Твардовский и т.д.

Каким – в свете этих же критериев – предстает перед нами облик ведущих сегодняшних русских журналов и газет?..

На эти, как и на многие другие центральные вопросы нашего сегодняшнего духовного и культурного бытия попытаются предложить свои ответы и размышления авторы КОНТИНЕНТА в рубриках РОССИЯ, РЕЛИГИЯ, ГНОЗИС, ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ, ИСКУССТВО. А в регулярной рубрике ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ журнал будет печатать представляющие сегодня наиболее острый общественный интерес архивные документы, воспоминания и другие материалы, связанные с восстановлением исторической истины.

Третья большая «тетрадка» журнала появится в нем, начиная с первого номера 1993 года. Она будет называться БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОНТИНЕНТА или ПУТЕВОДИТЕЛЬ КОНТИНЕНТА, ибо идея ее и состоит в том, чтобы стать для читателя КОНТИНЕНТА своего рода ПУТЕВОДИТЕЛЕМ по современной культурной жизни России. Открывая очередной номер КОНТИНЕНТА, читатель будет иметь возможность познакомиться с кратким, но весьма обширным аннотационным обзором всего, что появилось примечательного в русской и зарубежной периодике, а также на нашем и зарубежном русскоязычном книжном рынке за предыдущий квартал в области прозы и поэзии, литературной критики и критики художественной по проблемам кино, театра, музыки и изобразительного искусства, в религиозной и философской мысли, в

историософии и в проблемной политической и социальной публицистике, в области публикации архивных материалов, мемуаров и культурного наследия прошлого. По всем этим разделам читатель КОНТИНЕНТА будет иметь предельно полную и объективную профессиональную информацию, которая поможет ему ориентироваться в современном культурном потоке, что в условиях современного изобилия периодических и книжных изданий – задача индивидуальными силами почти неразрешимая.

Совместно со своим издательством редакция журнала намерена предложить читателям и целый ряд специальных приложений к КОНТИНЕНТУ, о которых журнал будет объявлять особо, по мере подготовки их к изданию.

Важнейшие среди них:

ПАНОРАМА КОНТИНЕНТА. Русская мысль в отечественной периодике за полгода. – Дайджест объемом около 25 авт. листов, в котором будут собраны под одной обложкой – в некотором сокращении при перепечатке – наиболее значительные публицистические, философские, религиеведческие, богословские, литературно-критические, искусствоведческие и культурологические работы, появившиеся за истекшие полгода в русской прессе и представляющие общезначимый культурный интерес. Два выпуска в год. Первый выпуск – начало 1993 года; материал – пресса второго полугодия 1992 года.

ИЗБРАННОЕ КОНТИНЕНТА – лучшее, что было напечатано в КОНТИНЕНТЕ за 1974 – 1991 годы. Четыре выпуска – по два выпуска в год (1993 и 1994):

Первый выпуск – проза и поэзия КОНТИНЕНТА в 1974 – 1982 гг.

Второй выпуск – публицистика КОНТИНЕНТА в 1974 – 1982 гг.

Третий выпуск – проза и поэзия КОНТИНЕНТА в 1982 – 1991 гг.

Четвертый выпуск – публицистика КОНТИНЕНТА в 1982 – 1991 гг.

ГАЛЕРЕЯ КОНТИНЕНТА. Два выпуска в год. Готовятся к выпуску в 1993 г.:

Альбом-справочник «Русские святые» – иконописные изображения (в цвете) и краткие биографии всех русских святых.

Альбом-справочник «Чудотворные иконы Божьей Матери» – цветные репродукции всех признанных церковью чудотворных богородичных икон и краткие к ним справки.

Планируется и ряд других *Приложений* – следите за нашими объявлениями.

Телефон редакции (095) 928-97-42.

Редакция журнала «КОНТИНЕНТ»
благодарит за содействие
Бориса Лаврентьевича Бессонова
(Биографический институт «Studia biographica», СПб.)

**Редакция журнала «Континент»
благодарит за содействие
Гуманитарный фонд им. А. С. Пушкина
Председатель Правления фонда – Михаил РОММ
Генеральный директор фонда – Леонид ЖУКОВ**

В № 73 «Континента» опубликована статья Т. Грум-Гржимайло «Штрихи к портрету Мстислава Ростроповича». После сдачи номера в производство редакции стало известно, что в № 69 альманаха «Стрелец», который вышел в свет ранее нашего журнала, опубликована та же статья того же автора под названием «Революция с лицом Ростроповича», отличающаяся от нашей публикации – помимо названия – лишь отсутствием редакторской правки «Континента».

Мы приносим извинения читателям «Континента» за автора, не посчитавшего обязательным поставить нас в известность о своем желании напечатать статью сразу в двух периодических изданиях.

КОНТИНЕНТ

Для зарубежных подписчиков
Условия подписки на КОНТИНЕНТ
в 1993 году –
прежние, обозначенные в прилагаемом талоне

КОНТИНЕНТ – CONTINENT
Годовая подписка (4 номера)
Abonnement pour 1 an (4 numeros)

Фамилия (Название учреждения) (Non ou etablissement)
.....
.....
Адрес (Addresse) .....

.....
.....

Оплату произвожу (Je fais le payement):
приложенным чеком во франках (par cheque en francs)
почтовым переводом (par mandat postal)
банковским переводом (par ordre bancaire)

Стоимость годовой подписки (Prix d'abonnement annuel):
200 francs fr. – 60 DM – 40 $ USA

Заполненный талон просим направить по адресу
(Veuillez envoyer votre talon rempli a l'adresse):
Association des Amis de la revue «Continent»,
16bis rue Lauriston, 75116 Paris, France
Платеж по тому же адресу или в банк
(Payement a la meme adresse ou a la banque):
Les Amis de la revue «Continent», compte 3.726130.8,
Societe Generale, Agence Kleber, 45 av. Kleber,
75116 Paris, France

Для подписчиков в США и Канаде
(For the subscripters in USA and Canada):
Kontinent-USA, Edward D. Lozansky
3001 Veazey Terrace, N. W., Washington, D.C. 20008,
USA

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»

Художник М. Кудрявцева

Сдано в набор 27.11.92. Подписано к печати 01.03.93. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага офсетная № 2. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 18,90. Уч.-изд. л. 28,29. Тираж 10 000 экз. Заказ 3576. Цена договорная. С-28.
Издательство «Московский рабочий».
101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

Компьютерный оригинал-макет изготовлен
в издательстве «Литература и политика»

Адрес редакции журнала «Континент»:
101854, ГСП, Москва, Центр. Чистопрудный бульвар, 8.
Телефон 928-97-42

Отпечатано с готовых диапозитивов в Российском государственном
информационно-издательском центре «Республика»
Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

F 60.00